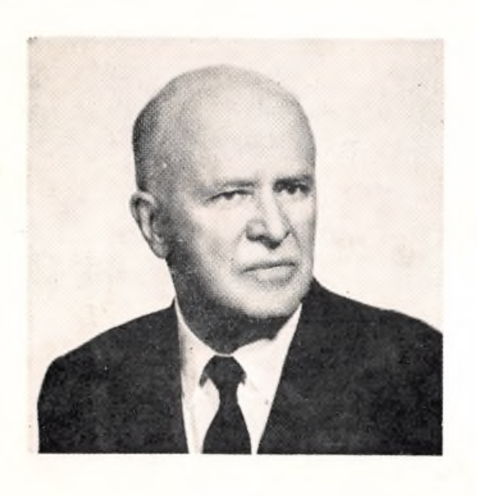
КОНЬ РЫЖИЙ ◊ РОМАН ГУЛЬ

РОМАН ГУЛЬ

КОНЬ РЫЖИЙ



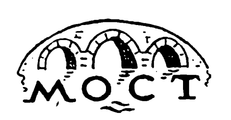
КОНЬ РЫЖИЙ

РОМАН ГУЛЬ

КОНЬ РЫЖИЙ

АВТОБИОГРАФИЯ

Издание второе



ИЗД-ВО «МОСТ» • НЬЮ ИОРК. 1975

Printed by Waldon Press, Inc., 216 West 18th Street, New York, N.Y. 10011

ИЗ ПИСЬМА И. А. БУНИНА К Р. Б. ГУЛЮ

«...Все еще вспоминаю порой Ваш роман — столько в нем совершенно прекрасных страниц! Особенно — приезд зимой в Пензу, потом какое-то место в Германии, потом как шла Ваша матушка из России, потом ее смерть и картины той местности, где она умерла, — эта последняя часть романа просто превосходна. А в его начале кое-что меня раздражало — именно вздохи о «братоубийственной войне». Что же, надо покорно подставлять голову Каину? Я вздыхаю о другом — о том, что Авель не захотел или не успел проломить ему башку булыжником...

...Желаю Вашему Коню взять хороший приз и жму Вашу руку.

Ив. Бунин».

Моей жене, Ольге Андреевне Гуль,
спутнице нелегкого путешествия.

Мои примечания к фотографиям. На стр. 10-й — автор 9 лет, Пенза, 1905. На стр. 20 — автор 18 лет, гимназист Пензенской Первой Гимназии, Пенза, 1914 г. и студент, 19 лет, Московского Императорского У-та (юридического факультета), Москва, 1915.

На стр. 284 — вверху (слева направо) моя мать О. С. Гуль (рожд. Вышеславцева), скончалась во Франции, 1938. Моя жена О. А. Гуль (рожд. Новохацкая); внизу — мой отец Б. К. Гуль, скончался в Пензе, 1914. Моя няня — Анна Григорьевна Булдакова, вернулась из Германии в Сов. Россию в 1924 году в свое родное село Вырыпаево, погибла во время коллективизации. На стр. 285 — свадьба моего друга детства, бар. Г. С. Штейнгеля и Н. А. Новохацкой (сестры моей жены). Шафера — друзья-пензяки: стоят (слева направо): Вл. Орлов (филолог), Мих. Демме (юрист), Бор. Карпов (медик); сидят (слева направо): Р. Гуль, бар. Н. Штейнгель (рожд. Новохацкая), погибла в 1920 г., бар. Г. Штейнгель, погиб в 1922 г. Снято в Москве в 1916 г. На стр. 286 — офицеры и сестры милосердия Корниловского Ударного полка, снято в 1918 г. сразу же после возвращения из знаменитого Ледяного похода в Ростов н/Д. Слева направо стоят: Борис Иванов (живет в США), Ник. Крылов (жил во Франции), Таня Кунделекова (убита под Орлом). Сидят (слева направо): Варя Левитова (рожд. Васильева, живет во Франции), Сергей Гуль (скончался во Франции в 1945 г.), Роман Гуль (живет в США). На последней стр. обложки — Р. Гуль во Франции, на ферме в Гаскони в 1938 г. На 1-й стр. обложки — автор, Нью Йорк, 1970.

Р. Г.

«Невозвратимо. Непоправимо.
Не смоем водой. Огнем не выжжем.
Нас затоптал, — не проехал мимо!
Тяжелый всадник на коне рыжем».

Зинаида Гиппиус

«И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли...».

Откровение Иоанна Богослова, гл. 6-ая

«События, наполнившие мою жизнь были так разнообразны, я пережил столько увлечений, видел столько разных людей, прошел через столько общественных положений, что за свою жизнь мог бы пережить столетия. У меня налицо всё, чтобы сделать мой рассказ интересным. Может быть, несмотря на это он интересен не будет, но тогда виноват уже будет не сюжет, а писатель. Даже в жизни самой замечательной не исключена возможность подобного недостатка».

Жан-Жак Руссо

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Вот он маленький, седенький сидит у окна в руках с биноклем и глядит на площадь своего города. Перед ним собор с синими куполами, обнесенный высокой стеной острог с полосатой будкой часового и красный трактир Веденяпина с палисадником в пестрых циниях. Дальше, на крутосклоне белостенный монастырь, а там поля, леса, ветер, грустно-темнеющее небо, вся чудесная Россия. Здесь в недрах ее дед вырос, работал, жил, здесь и умрет.

Глядеть на свою керенскую площадь, это всегдашний любимый отдых деда. Всё-то он разглядывает и всё ругает. На вороной кляче в ветхозаветной казанке с Почтовой улицы на площадь выехали помещики, отец и сын Лахтины; они славятся небывалым враньем своих охотничьих рассказов, ничегонеделаньем и богатырской способностью съесть и выпить. Обглоданная кобыла подобием рыси еле движет по площади Лахтиных, одетых в доморощенные поддевки и дворянские картузы. И не отрывая глаз от бинокля, дед с сердитой издёвкой бормочет: «Ах, сукины сыны, вот они, едут российские дворяне, вот уж, поистине, прохиндерцы!»

Под невидимым биноклем своего предводителя керенские дворяне Лахтины скрываются за острогом. Но дед доругивает их до тех пор, пока какой-нибудь иной предмет на площади не займет его вниманья.

По площади уездного города Керенска бродят ин-

дюшки, поросята, гуси, пробежит исправников рыжий сетер. На чалом мерине медленно проедет с плещущейся бочкой соседский водовоз. Очень редко на допотопной «гитаре» протарахтит Емельян, единственный керенский извозчик. Тишина. Солнце. Слышно, как зевает на своем крыльце, дремлющий за газетой, купец Засадилов, как у ветеринара рубят тяпками капусту, как у протопопа бренчит цепью злой волкодав.

Но вот из-за собора вышла керенская щеголиха, купчиха Крикова и вдруг, сведя мохнатые брови, дед добродушно смеется: «Вот, вырядилась, подумаешь, фу-ты-нуты! Ах, ты скнипа ты эдакая!», и долго смеется дед, провожая в бинокль керенскую модницу.

В тишине Керенска дед — самодержавная власть. Больше тридцати лет — бессменный председатель керенской уездной управы, часто и предводитель дворянства, хоть этого и не любит дед. Проезжающий в облаке пыли мимо дедова дома исправник всегда долго и почтительно отдает честь видимому на балконе чесучевому пиджаку деда; все торопящиеся обыватели низко кланяются; а немногочисленные городовые, идя мимо дома, до тех пор держат под козырек, пока кто-нибудь не заметит их и не кивнет им с балкона.

Но в деде Сергее Петровиче ничего властного нет. Правда, он неистовый ругатель, горячка, крикун, но это по дворянской наследственности. Щуплый, кареглазый, лопатобородый, с очень русским лицом, Сергей Петрович мягкий, а дома с детьми нежный человек; тут по самым пустякам он может расстроиться и даже прослезиться. В его повадке, манерах, говоре много старины и я люблю его, особенно когда, приехав из управы, в кремовом пиджачке, дожидаясь обеда, он берет бинокль и садится у окна глядеть на свою площадь.

II

Солнечная тишина, дед, балкон, керенская площадь, это и есть мое детство. Иногда через площадь куда-то медленно шли «волчки», небритые, с палками, с мешками за спинами. Все тогда бросались к окнам, на балкон, с любопытством и жалостью глядя на беспаспортников, кто-то выносил им еду, деньги. Иногда по площади шел чернобородый, в грязнорозовых портках, в рубахе на одной медной пуговице, мужик с волосами по плечи, с острым волчьим взглядом, в мороз и распутицу шлепавший босиком. Все керенцы звали его «проповедник». Голосом пронзительным, с повелительным жестом, он начинал всегда одну и ту же проповедь: «Мир кончается, кончина приближается, Антихрист нарождается, страшный суд надвигается...». И в его короткопалую ладонь подавали семишники, трешники, пятаки перепуганные встречные бабы. А «проповедник» еще кочевряжится, не от всех принимает подаяние, некоторым приказывает покаяться, а порой начинает и анафематствовать до тех пор, пока тот же дед с балкона не прикажет городовым прогнать «проповедника» с площади прочь.

Иногда появлялся и юродивый Юдка, полуголый, заросший волосом, он бесцельно начинал шляться по площади, выкрикивая нечленораздельные звуки. Все Юдку знали. Из калиток божьему человеку выносили кто одежду, кто поесть. Пробродив так день, Юдка куда-то пропадал и если очень долго не показывался, то дед говаривал: «Что-то Юдку давно не видно, не помер ли?».

Гораздо реже нарушал сонность керенской площади дурачек Ваня Приезжев. Трезвый это был тихий и жалкий человек, но когда кто-нибудь нарочно «для смеху» подпаивал дурака, Ваня впадал в буйство, выбегал на площадь, крича, маша кулаками, и никто не понимал, что дураку надо? Кончалось же это тем, что

двое городовых хватали здоровенного Ваню, таща через площадь в узилище, а дурак, вырываясь, оглашал Керенск таким животным воем, что обыватели в отчаяньи высовывались из окон. И наконец дед, не выдержав, быстрыми шагами выходил на балкон, сердито крича: «Да, оставьте вы его, дурака! Куда его тащите!». Городовые отпускали Ваню и вой замирал к всеобщему облегчению.

Тихо жил Керенск. Вокруг города гнулись поля ржи, овса, проса. А когда ветер тянул с реки Чангара, Керенск наполнялся пряным запахом конопли.

III

Только два путешествия нарушали мирную тишину жизни в дедовом доме: поездка в монастырь и в родовое именье Сапеловку. О поездке в Сапеловку говорили задолго, но собраться поехать всё никак не решались: то небо ненадежное, как бы дождя не было, то очень уж марит, быть грозе. Но всё-таки, раз в лето, наконец собирались.

В монастырь же ездили чаще.

Покрытая синей подушкой линейка стоит у крыльца. Лоснящийся жеребец похрапывает, переминается. Тети, дядя, я, брат рассаживаемся; дядя предупреждает, чтоб не раскрывали зонтиков, а то жеребец испугается, понесет. И линейка трогается из ворот через площадь, через город на крутосклон к лесу, где белеют монастырские стены.

Страдающая одышкой, бледно-одутловатая мать-игуменья Олимпиада, в прошлом малограмотная крестьянка, а теперь «министр-баба», как называет ее дед, сердечно встречает нас на монастырском дворе и ведет в монастырскую гостиницу. Мы идем чугунными, истертыми плитами коридоров, по переходам с слюдяными оконцами в железно-узористых переплетах. И наконец

входим в светлую гостиницу, где пахнет просвирами и яблонным цветом из раскрытых окон.

Низко кланяющиеся, розовые послушницы, неслышно скользя, уж накрывают в саду длинный стол. Несут краснеющий углями самовар и начинается чаепитие с знаменитым монастырским малиновым, вишневым, крыжовенным вареньем, с липовым медом, с свежими просвирами, с анисовыми яблоками, которые мать-садовница Анна колупает ложечкой в чашку. Меж яблонь мелькают склоненные очертанья послушниц-работниц, поют кругом какие-то невидимые птицы и солнце золотом наполняет многодесятинный душистый сад.

Перед отъездом мать-садовница Анна ведет меня и брата в келью столетней схимницы получить благословение. В келье могильная тишина, распятие, киот с образами в серебряных окладах, перед ним молится крохотная восковая старушка. В лампадном сумраке меня пугает стоящий у нее вместо постели открытый гроб. Из сада еле долетает пенье птиц, сухонькая схимница с трудом поднялась с колен и благословляет нас, оробевших, полумертвой сквозной рукой. Идя назад сводчатыми темными коридорами я, стараясь не показать этого матери-садовнице, тороплюсь и в солнечный аромат сада, на ветер, выхожу с облегчением.

Поездка в Сапеловку обсуждалась всегда еще дольше, потому что двенадцать верст всем казались страшным расстоянием. Чтоб не мучить своих лошадей, брали ямскую тройку. Ехали через Каменку, где забросивший хозяйство жил друг деда помещик Малинин, всю жизнь писавший неведомый философский труд. Дальше — через пленительную Нагорную Лаку, куда в июльский зной сходились толпы молиться чудотворной иконе. Об иконе существовало преданье, будто в давние времена купец, родом из Лаки, стал тонуть в Дону и уж захлебывался, как заметил доску, ухватился за нее и доплыл с ней до берега. На берегу ж увидал на доске стертый лик Богоматери и поняв это, как знаменье, вправил его в

драгоценную ризу и привез в родное село. Молиться этой иконе в престольный праздник и сходились из соседних сел.

Когда по косо-освещенной аллее мы подъезжали к Сапеловке, меня всегда охватывало волненье стариной. Сапеловка — старая усадьба мелкопоместных дворян. Илистый, сроду нечищенный пруд, с которого, подойдя, всегда спугнешь диких уток; фруктовый сад с сочистой знаменитой родительской вишней; уродливые старухи-яблони, накренившиеся до земли под пестрыми пудами яблок; березовая аллея со стволами, изрезанными порыжелыми инициалами, и на солнечной поляне покосившийся дом с двумя колоннами и тремя подгнившими ступеньками.

Заслышав бубенцы, нас встречает у въезда в усадьбу, снявший шапку, однорукий, чернявый Алексей, на конной молотилке по пьяному делу потерявший руку. От него вкусно пахнет хлебом, навозом, кумачем. Босая солдатка с грудями, уродливо перетянутыми передником, несет нам из людской ситника и молока. Мы походим по саду, пособираем яблок, раек, дуль. Дядя Михаил Сергеевич обойдет с Алексеем поля, переговорит обо всем немудреном хозяйстве, и отдохнувшие лошади, с тем же перезвоном бубенцов, везут нас обратно в Керенск.

Вся Сапеловка — в одну улицу, в тридцать дворов. Линейку уже ждут ребятишки, кричат: «Барыня, дай яблочков!». Им летят яблоки, райки, дули; ребятишки давкой подхватывают их, пока в завившейся пыли линейка не исчезнет. Чтоб не захватить темноты, ямщик трогает всё резвей. И когда въезжаем на керенскую площадь, я уже вижу на балконе беспокойное очертание деда, вглядывающегося в дорогу, и знаю, что как только мы войдем в дом, бабушка взволнованно проговорит: «И что это вы до темного довели, мы уж думали, что случилось...».

IV

День, когда я уезжал из Керенска почти навсегда, был теплый, августовский. Как обычно за минуту до отъезда в зале все сели и тут же, как всегда, первым поднялся дед, перекрестился на образа, и началось прощанье с наказами, объятьями, слезами теток, бабушки, деда; после родных прощанье перешло на прислугу. И наконец, ямская тройка, запряженная в дедушкин тарантас, подъезжает к крыльцу, громыхая по булыжникам большими колесами. Осаживая лошадей, ямщик дребезжит особенным «тпррррру» и, изогнувшись, откидывает потрескавшийся от солнца, старый кожаный фартук.

Последние слова, слезы, и тройка тронулась из ворот.

Ехать из Керенска до железно-дорожной станции Пачелма долго, почтовым трактом пятьдесят семь верст, с двумя перепряжками. Тройка уж звенит среди желтой ржи. Ямщик не то дремлет, не то правит: иногда он вскрикивает на непонятном ямском языке, стегает прыгающие крупы пристяжных; а когда идущие шагом лошади сами остановятся и, напружив задние ноги, вспотевший, носящий боками коренник начинает мочиться, ямщик долго ему подсвистывает; и опять вскрикивает и трогает тройку рысью.

Когда тарантас въезжает в село, под ноги тройке кидаются худые, шерстистые собаки, еще злей скачут лошади, туже пристяжные натягивают вальки и быстрей качаются под шлеями их потные зады с хвостами, подвязанными витушкой. С заваленок у изб медленно поднимаются мужики, низко, в пояс, кланяются тройке; мужики кланяются всякой тройке, потому что тройка это барин, но тут по ездящему этой дорогой сорок лет тарантасу узнают, что едут внучата Сергея Петровича. Выкрикивая непонятное, еле долетающее до уносящегося в пыльных облаках тарантаса, вприпрыжку бегут

светлоголовые ребятишки. Но рытвистая сельская гать кончилась, колеса сорвались в пыль полевой дороги, умерли крики, грохот, умерло всё, остался только уносящийся по ржи звон бубенцов, да под дугой, как захлебнулся на всю дорогу, так и качается, бьется колокольчик.

Са́женые еще при Екатерине Великой, дуплистые березы обступили по обочинам многоколейный травянистый большой тракт. Из ржи встает, маша крылом, словно хочет улететь из поля злаков, дальняя ветрянка; везде рожь и солнце, это и есть Россия. Встретится едущий шагом, задремавший обратный ямщик; пройдут конвойные с арестантами; протрясется верховой урядник в стареньком казачьем седле; и опять везде только рожь и солнце.

Тридцатую версту по выбоинам, муча душу, прыгает дедушкин тарантас. А мимо проплывают Козловка с красным под зеленой крышей дворянским гнездом; широкое Шеино с задремавшим на горе среди темного парка, белым ампирным домом с колоннами; татарское Никольское, в нем полусгнившая мечеть; Архангельское с васильковым церковным куполом-луковицей и мелькнувшим куском господского дома Ранцевых. Но наконец из ржи всё-таки вырисовывается Черкасское с выстроенным на подобие замка, пестрокрасным домом барона Штенгеля. Здесь тройка вскачь мчит тарантас по зеленым от травы улицам села, потому что лошади знают, что в Черкасском им перепряжка.

На широкий двор почтовой станции въезжает взмыленная тройка. Почесываясь, покряхтывая, перекрикиваясь к нам идут в засаленных фартуках, в разноцветных рубахах ямщики, распрягать позванивающих, пофыркивающих лошадей.

Я люблю эту пушкинскую почтовую станцию с разнокалиберными телегами, бричками, тарантасами, дрожками, линейками, с множеством запрягаемых, отпрягаемых пар, одиночек, троек. На двор выходит сам

Фарафон, степенный старик с курчавой бородой, в лоснящейся поддевке нараспашку, богатей издавно гоняющий земскую ямщину. Я знаю всех его ямщиков, чернобородого Семена, кривого Федьку, старика Клима, но хочется, чтоб запрягли буланых, в легких яблоках, длинногривых степняков Гаврилы. Гаврила кривоногий запьянцовский ямщик с носом луковицей и рыжей бороденкой; никто, как он, не пронесет так вплоть до самой Пачелмы.

Задравшего желтый хвост коренника с опоенными ногами ямщики, подхлестывая, вводят в оглобли; пристегивают пристяжных; и в заплатном кафтанишке, туго подтянутом красным слинялым кушаком, Гаврила с колеса прыгает на козлы. Ямщицким невыразимым движеньем он разбирает возжи, концы подсунул под зад и с гиком, в котором различимо только последнее «с Богом!», тройка выносит тарантас на мягкую площадь, мча его за село, в даль екатерининской дороги, где в небесном зное плавают ястреба, а линия телеграфных проводов изуродована воробьями, и в полевой тишине их спугивает только приближающийся звон тройки.

Справа от тарантаса мелькают чахлые дубки, березняк, чащоба осинника, это урочище Побитое, оно так зовется потому, что давным давно на этапном привале перегонявшиеся из Керенска в губернский острог колодники тут убили своих конвоиров.

Гаврила посвистывает. Пристяжные скачут в карьер, только коренник плывет стремительной иноходью. Скоро уж Пачелма. Перетрясая кишки, тарантас впрыгивает на гать и по камням далеко несется грохот колес, смешанный с звоном бубенцов и колокольцев. Из тарантаса мне уже виден открытый семафор и ушедший вдаль железнодорожный путь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Юность прошла в городе Пензе и в своем именьи Инсарского уезда. Кончилась юность смертью отца. Отец умер молодым. Это была первая смерть, которую я увидел.

Я проснулся тогда от шагов матери, шаги были особенно-торопящиеся и уже в их необычном звуке я словно почувствовал случившееся. В поспешно раскрывшихся дверях лицо матери было бледное, полное сдерживаемого страданья.

Я помню текшую по спине холодную дрожь, когда я одевался; хотелось бежать в спальню к лежавшему в сердечном припадке отцу и в то же время хотелось одеваться как можно дольше и даже не идти туда вовсе, из-за какого-то сложного клубка чувств, в котором был и страх увидеть его умирающим.

Комната внезапно осветилась никогда ранее незамечаемым светом. Все предметы в ней — умывальник, стулья, стакан, зеркало — стали вдруг не вещами, а словно странными, впервые увиденными существами. Ими наполнялся весь дом; в столовой на накрытом скатертью столе — томпаковый самовар, серебряная сухарница, золочёная сахарница на шариках-ножках, какие-то вазы, всё стало безобразно и уродливо.

Из спальни послышался испуганно-сдержанный шепот матери, уговаривающей отца не двигаться. Неся в тазу мокрые белые компрессы, оттуда вышла горнич-

ная Саша и вдруг, увидев меня, заплакала, заспешила, побежала по коридору.

Сердце леденело и падало, когда я и брат входили к отцу. В бурдовом халате, с распахнутым воротом рубахи отец полулежал в большом кресле, крупный, лысоватый; правильное лицо было подернуто мертвенной желтизной, лишившей его уже жизни; светлосерые глаза, словно расколотые, отсутствовали из мира; когда-то в детстве, играя на коленях отца, в этих глазах я «смотрел мальчиков».

Прощаясь, он с придыханьем произнес: «благословляю... берегите мать... будьте честны...». Мать умоляюще зашептала, чтоб он не напрягался; отец слабо улыбнулся, сказав: «ничего, Ольгунюшка...». Я не знал, что мне делать? Мне хотелось уйти из спальни и было стыдно этого чувства, потому что я отца любил.

В дверь, торопясь, вошли врачи, потирающий с холода руки, насупленный, седой и другой, быстрый, маленький, рыжий. В столовой суетились горничная и няня, Анна Григорьевна: варили кофе, откупоривали шампанское; на столе валялись какие-то лекарства, разбитые ампулы. Но в этой общей торопливости я ощущал, что спасенья нет, что отец умирает, что рушится всё, и завтрашнего дня уже не будет.

Я встал у окна глядя на двор. На дворе в овчинном полушубке и серых валеных с узорной каймой, кучер Никанор прометал дорожки от навалившего за ночь снега; мордва-дроворубы в зипунах и заячьих шапках беззвучно пилили длинной пилой; из кухни вышел повар и по его жестам я понял, что он кричит кучеру что-то смешное, вот он нагнулся, захватил снегу и припрыгивая, кидается снежками в Никанора. Я гляжу на двор, но — кучер, повар, мордва, двор, снег, — кажутся мне необычайно несуществующими.

Отцу хуже. Красивые и сейчас какие-то разверстые глаза матери напряжены отчаяньем, она посылает меня в аптеку за кислородными подушками. Я тороп-

люсь, я рад, что сейчас уеду из дома, где умирает отец, поеду по морозу, буду дышать ветреным воздухом. Но и на улице всё — люди, извозчики, лошади, дома — также сдвинуты с мест и также куда-то отошли. Вот мимо нашего дома идут пешеходы, а мне кажется, что они передвигаются в такой удаленности, что если я им сейчас закричу, то они меня не услышат; пешеходы куда-то идут и уходят от меня...

По усиливающейся тревоге в доме я понимаю, что страшная минута, о которой все боятся говорить, приходит. Вошли старые знакомые с совершенно новыми лицами, кто-то неловко взял из сухарницы печенье. По слезам вышедших друзей-докторов, по тому, как на кухне навзрыд плачет Анна Григорьевна, я чувствую, что приближение этой минуты ускоряется. И вдруг из спальни — полукрик матери и в доме всё страшно остановилось. И тут же всё как бы обрушилось, завертелось; внезапно все заходили, зашумели, заплакали. Во мне, — камень тяжелиной в семнадцать лет моей жизни оторвался и стал куда-то бездонно падать.

Торжественную предсмертную тишину, в которой будто жило чье-то присутствие, запрещавшее и громко говорить и шумно двигаться, сменила теперь всеоскорбляющая суета. Только остававшаяся в спальной мать не видала изменившегося дома; лицо ее было и незнакомо и странно непримиримым отчаяньем, а у лежащего отца лицо было, будто он спал.

В доме же теперь все говорили и ходили шумно. Я не понимал, по чьему распоряжению всё происходит? Но начавшаяся суета разросталась всё страшнее и кто-то, казалось, ею управляет. Уложив трубки, шприцы, лекарства, уехали доктора. Прислуга понесла на почту телеграммы. Парадные двери раскрылись и, стелясь по ковру, поднимаясь в комнаты, в кабинет отца, к креслам, с мороза повалил круглый холод. В натоптанную снегом переднюю стали вносить живые, дышащие морозом цветы. Пришли знакомые отца по судебному

ведомству, незнакомые, в шубах; мелькнули быстрые черные монашки Троицкого монастыря, зашептавшиеся с Анной Григорьевной о священнике, диаконе, хоре, и наконец, шлёпая и скрипя калошами, появились здоровенные, запорошенные снегом человеки из бюро похоронных процессий; это: гроб и катафалк.

А назавтра среди нежно зеленых пальм и зеленой мебели, там, где всегда блистал лаковым крылом черный рояль, теперь стоял обитый глазетом гроб. Рваными космами по дому плавал ладан, мешаясь с запахом цветов и морозом. На панихиду с улицы входили любопытные, какие-то мещаночки в косынках, крестясь, перешептывались: «Где жена-то?» — «Да, вон, у гроба». — «Молодая, поди-убивается». И толкаясь, лезли посмотреть на покойника, на гроб, на цветы, на картины, на мебель, на пальмы, на лицо матери. Но вдруг всех раздавил громоподобный бас диакона; сморкаясь, откашливаясь и находу пуская октаву погуще, он шел служить, возглашать. Суета становилась нестерпима. И только когда в запах морозных цветов и в дым ладана влилось откуда-то слетевшее пенье, показалось, что в дом возвращается та прежняя тишина с страдальческим прислушиваньем к чему-то пролетевшему и задевшему наш дом темно-большим крылом.

Рыдающе-торжественное пенье разливалось сильней, им излечивалось всё и таинственно связывались порванные концы бытия и смерти.

Заколыхавшись, поднятый гроб, в цветах, уже движется в космах ладана, в пеньи...

На улице с непокрытыми головами, с развевающимися волосами, за катафалком пошли люди, поехали рысаки, извозчики...

На кладбище ветер гудел в безо́бразно голых сучьях над смерзшимися зимними могилами...

Последняя сотрясающая «Вечная память», гуд мерзлой земли и метнувшаяся над черной ямой, под руки подхваченная мать...

И всё. И мы возвращаемся с кладбища...

А дома на матово-узорчатой, накрахмаленной скатерти уже пришепетывает, горячится, юмористически отражая весь стол, начищенный томпаковый самовар. Рядом изогнулась серебряная сухарница, с разрумянившимися калачами, масленка с желтоватым маслом и веселым мужичком на крышке, вызолоченная сахарница блещет сахаром и хрустальные вазы предлагают вишневое и яблочное варенье. Вещи все уже встали на всегдашние свои места, выполняя все свои обязанности, и предлагая начинать жизнь сызнова. Даже массивное кресло с выгнутой спинкой, в котором умер отец, отошло на обычное место и на него теперь может сесть кто хочет.

Парадные двери уже заперты. Комнаты проветрены, подметены, прибраны, паркет янтарно натерт, но именно *войдя в такой дом, моя мать лишилась чувств.*

II

Именье отца Конопать раскидывалось по холмам. К усадьбе шла малоезжая дорога, на лесной опушке стоял бревенчатый дом с резными карнизами и коньками и с широченным балконом, с которого виднелось лоскутное одеяло полей, а всем своим тылом дом выходил в шум березового леса.

Летний день в именьи шел, как обычно.

Брат крутится возле ломящих рожь лобогреек, две четверки лошадей с шумом волочат красные, машущие крыльями машины.

По двору в телятник проходит суровая старуха, моя чудесная няня Анна Григорьевна Булдакова; за свою жизнь где она только ни постранствовала, ходила апостольским хождением на Соловки, в Оптину пустынь, в Саров, к Троице-Сергию, в Киевскую лавру, обошла все святые русские места и дважды носила свою веру в

Иерусалим. Но сейчас она в заботах о телятах, сепараторах, маслобойках.

В саду с садовником и подсадчиком меж яблонь ходит в легком платье мать, осматривает, удались ли весенние прививки; перед балконом цветут ее любимые чайные розы и пестротой цветов рябят клумбы и рабатки.

В кузнице равномерно ударяет молот кузнеца нижегородца Павла. На каурой кобыле, нахрячив воз сена до небес, с тихим скрипом везет его к конюшне старик Антон, бродяга и запойный пьяница. С почты на беговых дрожках въезжает в усадьбу Степка, с отторбучившейся от журналов и газет кожаной сумкой.

А в розоватых сумерках, когда малиновой тарелкой солнце закатывается за наш березовый лес и небо начинает медлительно гаснуть, на потемневший луг, крыть кобылу, конюха выводят на длинных розвязях звонко ржущего, белого, почти голубого, взвивающегося на дыбы жеребца.

Вечером в людской рябая стряпка Степанида тащит на стол дымящиеся щи. А из нашего дома вырывается «rondo» Моцарта «alla turca», это, зажегши у пианино свечи, играет мать.

Но деревенская ночь падает быстро и скоро жизнь на усадьбе затихает. Усадьба спит, охраняемая лаем десятка собак; а вдалеке, за черным горизонтом, полыхают еле видимые зарницы.

III

В воскресенье могут приехать гости, соседи: Марья Владимировна Лукина с дочерью или Никита Федорович Сбитнёв. Лукина, по-мужичьи Лукиньша, басистая глухая старуха-помещица с мужским лицом и заметными усами на верхней полной губе. Она родилась, выросла, прожила всю жизнь в соседнем Евлашеве; уже

давно хозяйство ползет из рук старухи, родовое гнездо разваливается, но ничего изменить не хочет нравная барыня, живет так, как жили деды и прадеды. Однажды маклаку, приехавшему покупать телок, с крыльца так и отрезала низким басом.

— Телок продаю, да тебе дураку не продам, потому что стоишь передо мной в шапке.

— Да что вы, барыня, Богородица что ль, чтоб перед вами без шапки-то стоять? — засмеялся маклак и отругиваясь поехал со двора умирающей дворянской усадьбы.

Никита Федорович Сбитнёв, это — другое. Это евлашевский мужик, глава богатой неделеной семьи. В воскресенье он приходит попить чайку. В черном полуперденчике-полуподдевочке, остриженный по-крестьянски в кружала, с пегой рыже-седой бородой, Никита Федорович, на седьмом десятке занимается уж только пчельником, хоть старик еще кряжист. Он захватит обязательно рамку меду и за чаем, пия его до седьмого поту, не внакладку, а вприкуску, рассказывает, какой у него в этом году первый гречишный взяток, как работают его «пчелки». Часто он начинает вспоминать старину, об окружных помещиках, о том, что уцелело в памяти еще от рассказов деда. Помню, как одно такое воспоминанье Никита Федорович рассказал с сурово потемневшим лицом: будто его крепостной бабке барин Лукин, дед Марии Владимировны, приказал попробовать выкормить грудями кутят от околевшей любимой лягавой собаки.

— До того, значит, эту свою суку барин любил, — сказал помрачнев, неловко закашлявшись Никита Федорович. — Да-с, покорно благодарю, чаек-то у вас нечто императорское! Не чай, а бархат! — и Никита Федорович перевертывает чашку вверх дном, кладя на нее оставшийся обкусок сахару. — Лукиньша-то вот еще держится, а многие тут вовсе попропадали от разных своих дворянских фантазиев, — поглаживая ико-

нописной рукой пегую бороду, говорит Никита Федорович, — вот Алехин, Олферьевы, опять же Новохацкие.

И словоохотливый старик вкусно рассказывает, кто и как из помещиков пропадал, как прожигали, прокучивали поместья, кой-у-кого Никита Федорович и землю купил. Соседнее Смольково помещик Новохацкий промотал на смольковских же девок. В богатом Лопатине отставной ротмистр Олферьев, с привезенной из Парижа француженкой, фейерверками и кутежами до тех пор удивлял весь уезд, пока именье не пошло с торгов, а барина не вывезли на единственном оставшемся ему шарабане. На торгах, глядя на распродажу своего добра, Олферьев лежал на диване и когда торг дошел до бархатной подушки под его головой, ее за рубль купил саранский прасол Постнов и подойдя к Олферьеву проговорил: «Подушка-то нам без надобности, только вот из-под барина-то ее вытащить!». И вытащил ее из-под Олферьева. Теперь от олферьевской усадьбы остались только развалины дома в сорок комнат, заросли жасмина, сирени, да кусок недорубленного еще липового парка.

К вечеру, порасспросив о газетных новостях, о том, что «слыхать в столицах», Никита Федорович уходит домой, опираясь на вишневый подожок. А я седлаю белоногую кобылу и еду вглубь притихших ржаных полей по меже, заросшей повиликой, кашкой, медком. Воздух сух с запахом полыни. В ржаном пространстве перекликаются перепела.Вот она передо мной хлебная, полевая Россия и в ее тишине мне хорошо оттого, что в поскрипывающем седле я дома, это мое счастье, моя страна, ей я и буду служить. Едучи верхом я пою отрывки стихов Пушкина, Некрасова, Алексея Толстого; дав кобыле шенкеля, пускаю ее в карьер и слушаю, как южжит в ушах ветер и как дробно ударяются по земле подковы.

И здесь же, в полях, несколько позже, — теперь это очень трудно представить — меня измучивала христи-

анская философия Толстого. Согласно с Толстым я чувствовал, что живу грешно и стыдно, что вся окружающая жизнь с поваром, прислугами, тройками, отдыхающими бездельными родственниками, дурна и во зле. Как русский мальчик, я был душевно бескраен, а напор Толстого был так силен, что помещичья жизнь стала оборачиваться во мне душевным стыдом. На глупого работника, бродягу Антона, на вороватого кучера Андрея я глядел с завистью, только потому, что они «живут трудами своих рук». И я помню ночь, когда я, помещичий мальчик, плакал, не зная, что же мне делать и как мне выйти из этой дурной нетрудовой жизни? Ночью я решал бросить именье, ученье, семью и ехать в Ясную Поляну к Толстому, чтобы он указал как же мне жить? По зеленой юности я думал, что у Толстого это знанье есть.

Трудно мне было вырваться от Толстого, но произошло это как-то помимо моей воли, когда на закате я лежал в березовом лесу и вдруг исключительно остро почувствовал всю непередаваемую прелесть и этого леса, и этого закатного вечера, и, подумав о Толстом, я вдруг понял, куда манит меня этот богатырский старик. От любимых полей, лесов, от верховых лошадей, от ярмарок, песен, плясок, от деревенских прегрешений любви, от музыки, от всей России, мне ощутилось, что Толстой манил меня только к смерти. И тогда, в лесу, я внутренно оттолкнулся от него; слишком сильно я любил эту нашу цветущую землю.

IV

Когда умер дед, я поехал в Керенск на похороны. Суеверный, он боялся разбитого зеркала, трех огней, тринадцатого обедающего, не позволял при себе говорить о смерти, а умер кротко и примиренно. Когда дед уже задыхался, его, легонького, перенесли к балкону, с которого он всегда глядел в бинокль на свою площадь.

За окнами в голых сучьях лип гудел ветер, несла метель. Возле деда внуки, дети, жена, с которой любовно прожил пятьдесят лет; уездное хозяйство в порядке; круг жизни завершон. Теперь дети и внуки похоронят его в любимом монастыре и с балкона в обтертый бинокль им будет видна его могила на монастырском кладбище.

Только на несколько месяцев пережила деда бабушка Марья Петровна; она умерла в июле, когда из раскрытых балконных дверей тянуло уже левкоями и метиолой. Но даже больная, в постели, бабушка попривычке всё еще отдавала распоряжения по хозяйству. Кухарке, пришедшей спросить, отправлять ли в Сапеловку на откорм индюшек, с тяжелым усильем сказала: «Ох, нет, Марфа, оставь, может на мои похороны пригодятся...»; и ночью умерла.

А еще через ночь в керенскую почтовую контору пришла весть о неожиданной войне. Перед дедовым домом площадь запружена крестьянскими лошадьми всех мастей и отмастков; телеги отпряжены, меж ними гурьбой ходят парни с гармоньями, отчаянно кричат песни. Это всеобщая мобилизация. Над площадью разрастается звериный, неистовый бабий плач. У балкона морщинистая, будто глиняная старуха припала к молчаливому парню, причитает «Ой, Петенька, на кого ж ты меня оставляешь!». А неподалеку, всхлестывая руками перед ополченцем с запрокинувшимся набекрень картузом голосит остающаяся солдатка, он же ошарашенный водкой, не слушая ее, растягивает гармонью, играет. Трактиры облиты мужиками, толпы их то вваливаются, то вываливаются оттуда. Лысый, с выжелтевшей бородищей какой-то старик то матерится, то вскрикивает: «Сынок, сынок, ах, ты, Господи...». У парней тилиликают с звоночками ливенки. Жалобные вскрики солдаток, плач детей, вой гармоний, всё стоит душу ломящим гомоном. Даже чуждые горю какие-то старенькие мещаночки всхлипывают у окон, украшенных бальзаминами; в Керенске никто не хочет и не понимает войны.

Но вот вся площадь закопошилась и плач смертельно удесятерился. Это отругивающиеся от баб мужики стали запрягать лошадей, чтоб везти призывных на чугунку, на Пачелму. И когда длиннопестрым шествием — сарафаны, рубахи, черные пиджаки призывных — тронулись со скрипом подводы, тут уж понесся всё покрывающий, щемящий бабий визг. И долго еще издали долетал он до опустевшей площади; и только в сумерках Керенск затих, как наплакавшийся ребенок.

V

У нас в Конопати за год войны сельская тишина стала еще тише, но и тревожней. Белоглазый немец Франц Зонтаг в Косом Враге конными граблями сгребает сено, убирает конюшни, по вечерам с бабами доит коров. Озорная скотница Марья в людской заигрывает с этим вестфальцем-металлистом, но он отмалчивается и, поужинав, садится каждый вечер учить русский язык, всё что-то занося в записную книжку, а по субботам пишет письма матери, описывая русскую деревню, нашу усадьбу, работу, еду; один раз в конце письма приписал: «пишу тебе, а в русском господском доме играют немецкую музыку». Верно. Это был Моцарт.

За этот год из Конопати, Евлашева, Смолькова ушло много рекрутов, ратников, ополченцев. Письма приходят из-под Риги, с Карпат, из Польши, с Черного и Балтийского морей, с границ Турции. Но хоть и далеко ушли русские мужики, а к своей земле как приросли; в письмах всё беспокоятся о хозяйствах, о пахоте, о лошадях, об оставшихся солдатках, о том, как они справляются? Их письма волнуют села, а ответные бабьи волнуют русские окопы.

Пришли тяжелые известья: старшему Сбитнёву оторвало ногу, он лежит в Царском Селе в лазарете, а в евлашевской ночной избе потихоньку плачет его баба. Конопатский Крушинин убит далеко от Конопати, под

Танненбергом, на селе даже не знают, где это? Весельчак, балагур мирской пастух Кротков попал в плен к австрийцам, смольковский Воробьев уплыл с войсками во Францию, а поповская старая стряпка Дарья получила от сына из окопов Галиции письмо, кончавшееся «ны...ды...ты...», и сразу догадавшись, что это «наше дело труба», с какой-то даже странной радостью долго всем об этом рассказывала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Я тогда еще не знал, что человек может быть переделываем жизнью. Мы — студенты, но идя строем к каптенармусу, уже даем ногу, и в мерном ударе общей ноги есть даже какое-то удовольствие.

В цейхгаузе, заваленном штанами, гимнастерками, сапогами, в беспорядочном наброске которых чудится что-то трупное, мы переодеваемся во всё защитное; все наголо острижены. И, выстроившись в две шеренги, стоим перед рослым, жилистым полковником, украшенным боевыми орденами; на его скуластом лице загар войны, фронта, боев; мужественным голосом он обращается к нам:

— Господа юнкера! До сих пор вы учились в университетах, но сейчас вы мобилизованы и пришли учиться совершенно другой науке. Вы пришли учиться, — говорит полковник, — науке убивать, это трудная наука и вы преуспеете в ней тем лучше, чем скорее забудете то, чему до сих пор учились...

С шумно-приятным ударом общей ноги мы выходим на военный плац, радующий глаз своей ровностью. Отделенный командир, по-осиному в талии перетянутый юнкер, бывший студент-математик, даже в выражении лица которого не осталось ничего математического, учит нас становиться во фронт перед генералом.

Полковник прав. Чтобы ловко маршировать, лихо делать фронт, проворно действовать пулеметом и по

движущимся мишеням метко стрелять из винтовки, надо забыть «Пир» Платона и «Пролегомены» Канта; это мешает так же, как и то аристократическое чувство надмирности, которым дарила философия.

Я иду на отделенного командира. Он, как генерал, идет на меня. Не доходя до него, я отрывисто выношу вперед левую ногу и со счетом «два» становлюсь во фронт. Он проходит. Я провожаю его напряженным взглядом вращающейся головы и, отчетливо повернувшись, с левой же ноги продолжаю путь, пока не становлюсь второй, третий, десятый, сотый раз. В общем, это приятно, как всякое упражнение, развивающее ловкость тела.

На глазомерные съемки, учебную стрельбу, на тактические занятия, с песнями во взводной колонне, мы маршируем за Москву. Мы занимаемся этим в лесу, у Канатчиковой дачи, где помещены, привезенные с фронта, сошедшие с ума офицеры. И когда мы с песней уходим с ученья, из-за решетки сада сумасшедшие глядят на нас тихими, скучающими взглядами, явно не понимая, кто мы такие.

А у Даниловской заставы в этот час окна уже начинают светиться теплыми керосиновыми огнями. К воротам, посмотреть на юнкеров, цепляясь друг за дружку, бегут хорошенькие портнижки, прачки, горняжки. Из строя мы подмигиваем им, нас ведь держат взаперти. Рота, как машина, отбивает по снежной улице шаг. Мы для девочек поем:

«Вспоили нас всех и вскормили
России могучей поля...»

После ужина всех нас клонит ко сну, ибо за день мы утомлены маршем, гимнастикой, морозным воздухом; мы крепко спим на своих койках, чтобы на рассвете медная труба того же, смешно вздувшего щеки, горниста подняла нас на те же занятия.

В отпуск по Москве, где еще так недавно я пере-

двигался в бесконечности кантовских пространства и времени, я теперь иду, взволнованно ища генерала. Какого угодно, пусть даже отставного, я его озабоченно выискиваю. И вот, наконец, золотом и кровью блеснул артиллерийский генерал. Он делает вид, что не замечает моего бьющегося сердца, но кого-то оттолкнув, я уже становлюсь на снегу Арбата во фронт именно так, как меня учили.

Генерал подтверждающе чуть приподнял белую перчатку и проходит под моим вертящимся взглядом. Но на извозчике приближается второй, бородатый, с девочкой в голубом капоре, и я тороплюсь свернуть в Старо-Конюшенный, скрыться от красных подкладок, золотых и серебряных зигзагов генеральских погон.

В богатом истово-московском доме в Старо-Конюшенном те же знаменитые адвокаты, умные политики в очках с бородами, известные инженеры, певцы, музыканты, актеры с именами. Гостиная полна говором, остротами, смехом. Студентом я засиживался тут до рассвета, а теперь в десять вечера юнкерское тело уже не в силах преодолеть сонности; и несмотря на веселье и музыку оно засыпает в желтом шелковом кресле. Я с трудом слышу спор знаменитого адвоката с социалистом-инженером о проливах. Невпопад улыбаюсь актеру, острящему о футуристах. От сонности я вижу всё словно в уродливо искажающем зеркале, во мне даже вырастает неясное раздражение против седой гривы адвоката, безмускульных рук известного скрипача, брызжущих брильянтами розовых ушей актрисы и всей этой желтой гостиной стиля директории. Даже романс, вырывающийся звоном из темноты широко разъятого рта певицы, кажется бессмыслицей и дребеденью. Среди шелковой и, в сущности, уродливой мебели, с неестественными улыбками и движениями, певица поет о том, что мы пойдем в лес, нарвем цветов и будем счастливы, как дети. На рябящем рисунке желтоватого ковра я гляжу на свои солдатские сапоги, силюсь не зевнуть и,

под раздавшиеся после романса аплодисменты, на цыпочках выхожу в дальний кабинет, где мне постелена кровать.

Наслаждаясь, я сбрасываю «лакеем» сапоги, протяжно зевая, с приятной ломотой в спине медленно скидываю одежду, ложусь на холодноватые простыни и накидываю теплое одеяло. Сразу же я впадаю в темно влекущее бессознанье, но всё-таки еще разбираю, что в гостиной придушенно тенор поет о том, что он растворил окно, потому что ему стало душно невмочь и он поэтому упал на колени; но тенор умирает. Я сплю и в сотый раз мне снится тот же юнкерский сон, как наш курсовой офицер поздравляет меня с производством, а мы все двадцатилетние новенькие прапорщики, в золотых погонах, в зеленых бекешах, затянутых новыми ремнями, с новенькими наганами и шашками, толпимся на какой-то бесконечной, снежной равнине и, обнимаясь, прощаемся друг с другом и все куда-то расходимся по снегу с подмерзшей проламывающейся коркой.

II

Сероватый рассвет. Морозная тишина. В улицах ни души. Деревянные тротуары заснежены. На крышах греются у труб галки. Все еще спят. А я прапорщик 140 пехотного запасного полка иду в полк на занятия и слушаю, как круто скрипят мои подметки по обледенелым тротуарным половицам.

Идти мне далеко, за Пензу, где в поле в бараках расквартирован полк. Находу я думаю о том, о сем, высчитываю очередь, когда поеду с маршевой ротой на фронт, вспоминаю, как играл Станиславский Вершинина в «Трех сестрах», как чудесно барабанил Маше «трам-там-там», а за сценой под сурдинку слышался марш. На Сенной площади мелькают рассветные очертания съезжающихся базарных мужиков в раскатывающихся розвальнях. Мужики в полушубках, чапанах, в галицах, в

меховых собачьих шапках кажутся таинственными, неподвижными тумбами; лиц не видно, торчат только заиндевевшие куски аршинных бород.

Идя по наезженному снегу Сенной Площади, я ощущаю трогательность того чеховского спектакля, вспоминаю и себя, студента, где-то высоко у галерки. Площадь остается позади. Я припоминаю, как три года тому назад приехал в Москву в университет и с Рязанского вокзала, в обнимку с чемоданом, ехал на извозчике всё чему-то улыбаясь, и никак не мог подавить эту от счастья выходившую на губы улыбку, хоть и стеснялся, что ее заметят прохожие. В университете, в светлооконных коридорах — гудящая толчея зеленых, черных курток, сюртуков, пиджаков, русских рубах, великороссы, украинцы, сибиряки, грузины, евреи, армяне. Вся Россия. И это ощущение с шестой части земли столкнувшейся молодежи — прекрасно.

У Старого Вокзала я перехожу оснеженные рельсы, всё еще полный воспоминаниями моей Москвы. Я словно даже чувствую тишину университетского читального зала; ощущаю и нашу гаудеамусовскую жизнь на Малой Бронной с попойками в ночной чайной «Калоше», с вечеринками землячества; воскрешаю в себе то чувство беззаботной приподнятости от всей этой студенческой свободы жизни, которая кажется теперь потонувшей.

Закутанный башлыком унтер-офицер ведет мне навстречу взвод мерно мнущих снег солдат и хрипловато командует: «Смирно!..». Отдавая честь, я говорю: «Вольно...». Передо мной снеговая равнина, на ней ряды бараков, в них — полк; за годы войны Пензу затопил шестидесятитысячный гарнизон и былой моей Пензы тоже давно нет. Я отворяю дверь барака, под ноги мне вырывается пар, крутясь низкими клубами; взводный истошно подает команду.

Шумя негнущимися подметками солдаты строятся. Это всё пожилые ратники. Я вывожу их в снежное поле и там начинаю учить стрельбе по движущимся мише-

ням, рассыпаю в цепь, гоняю перебежками, заставляю окапываться, залегать, готовлю к фронту так, как приготовлен и я. А в перерывах, когда солдаты вольно толпятся, курят и, согреваясь, наотмашь машут крест-накрест руками, я толкую с ними о войне и знаю, вижу, что этим бородачам-мужикам военная служба тяжка, что думают они не о ней, а о своих деревнях, хозяйствах, о бабах. Но этого я стараюсь как бы не замечать. Когда же во взводной колонне мы уходим с ученья и я приказываю песню, и песенники запевают уныло-тревожную «Вы послушайте стрелочки», не останавливая ее, я совершаю, в сущности, служебный проступок, ибо песня эта запрещена приказом командующего округом, как не возбуждающая воинских чувств.

Но в поле, в желтых снегах я один только и иду с ротой и я молчаливо разрешаю песню потому, что она единственная, которую солдаты любят петь. А любят потому, что выливают в ней свои подлинные чувства. Я же ее люблю оттого, что слушая подхватывающие, дробные крестьянские голоса заражаюсь их заунывным вдохновением.

«Вы послушайте, стрелочки,
Я вам песенку спою.
Я вам песенку спою,
Про службицу про свою.
Три мы года прослужили,
Ни о чем мы не тужили,
Стал четвертый наступать,
Стали думать и гадать.
Стали думать и гадать
Как бы дома побывать.
Как бы дома побывать,
Отца, матерь повидать.
Отца, матерь повидать,
С молодой женой поспать...».
....

За обедом в офицерском собрании все мы молоденькие офицеры всегда говорим об одном: когда и

чья уходит на фронт маршевая рота? Конечно, мы читаем газеты, следим за Государственной Думой, волновались речью Милюкова о «глупости или измене», статьей Маклакова о «сумасшедшем шофере», толковали об угрожающих правительству речах Керенского и Родичева; правительство «петербургских старичков» у нас непопулярно, но всё же всех нас это уже мало касается; мы почти уже в окопах, наши чувства только военные, мы видим только войну; и всё думаем, что Бог даст, вопреки всему Россия дойдет и до победы.

Отъезжающий на позиции прапорщик играет на рояле и поет:

«У меня блестят погоны,
У тебя дрожит рука.
Эти пыльные вагоны
Ждут последнего звонка...».

III

И в этот вечер из полка я шел, как всегда, усталый, закутанный в обмерзавший от дыханья башлык. Пенза вся в синей темноте; от мороза быстро бегут редкие очертания пешеходов; от режущего ветра ломит переносицу. Зато дома, в жарко натопленных комнатах я рад отдыху. Освещенная сквозь желтый абажур, у темнокрасного стола в гостиной, сидит за вышиваньем мать, в ее пальцах игла делает цветные стежки на суровом, смятом ее рукой полотне. Я снял холодноватые сапоги, в туфлях, позевывая, шелещу длиннейшей широченной газетой «Русское Слово».

Вдруг в передней позвонили. Разношеными валенками няня Анна Григорьевна прошуршала к парадной двери. И вдруг чьи-то чересчур быстрые шаги, и еще путаясь в рукавах скидываемой шинели, приятель, прапорщик Арзубьев из передней закричал: «Потрясающее известие! В Петербурге переворот! Самая настоящая революция!».

На полных щеках, в круглых темных глазах Ар-

зубьева сияющая радость. Может быть потому, что тяготили неудачи на фронте, затянувшаяся война, немощность правительства, распутинские скандалы, но нет, нет, вовсе не поэтому, *а почему-то совсем другому* и я вдруг ощутил ту же странно обжегшую меня радость. Эту радость я увидел и в матери и даже в спервоначалу обомлевшей няньке Анне Григорьевне.

Явно ощущая приятность, что он первый в городе узнал такую историческую новость, Арзубьев, хоть и торопясь, но со вкусом рассказал, что его отец, инженер Рязано-Уральской железной дороги, только сию минуту получил телеграмму за подписью члена Государственной Думы Бубликова, что правительство свергнуто и власть уже в руках членов комитета Государственной Думы.

— Теперь скорая победа и конец войне! — сиял Арзубьев.

— Надо Ладыгиным сказать, — и Анна Григорьевна зашелестела валенками к двери.

Вскоре, торопясь, вошел плоскогрудый, желтолицый присяжный поверенный Ладыгин с круглощекой женой и застенчиво улыбающейся дочерью-курсисткой. С ними, извиняясь и шурша длинной юбкой, пришла даже их гостья, спесивая дама с прищуренными прохладными глазами. Арзубьев еще раз рассказал о телеграмме Бубликова и я видел, как все обрадованно заволновались. Даже незнакомая спесивая дама, оказавшаяся вдовой полицмейстера, проговорила:

— И я скажу поделом! Всеми этими скандалами нельзя губить страну! Уж если Пуришкевич назвал наше правительство забывшим родину, то и поделом!

IV

А на рассвете я бежал в полк. Я, конечно, за республику, за Думу, за Милюкова-Гучкова и за победу, которая теперь приблизилась! Перерезая Базарную пло-

щадь с редкими, на морозе жавшимися, жалкими прохожими, пробегая мимо мертвых домов и унылых улиц, мимо рыбных рядов, где сусеки полны торчащей мороженой рыбой, я чувствовал захватывающее душу возбуждение и всё вокруг, казалось мне, перерождается.

Но в полку никто еще ничего не знает. В бараках тихий гул солдатских голосов; в поле на занятия их не вывели и солдаты чувствуют, что, кажется, произошло для них что-то важное. Но что? Не знают. Они переговариваются, перешептываются, но как только подходят офицеры, хмуро расходятся.

В бильярдной офицерского собрания толпятся офицеры. Капитан Васильченко с отчаянным лицом, молча, ходит из угла в угол. Молодые возбуждены, как и я. Большинство же мнется, покашливает, словно поперхнулись. Говорят, что командир полка заперся в кабинете, в ожидании телеграфного ответа командующего округом на запрос: что делать? Но телеграф бездействует.

В роте я вызываю взводного Каркунова, мелкого бакалейщика до войны. По его смеющимся глазкам я вижу, что он уже знает и ему нравится. Я беспокоюсь: а вдруг солдаты пойдут усмирять город, усмирять революцию, если будет отдан приказ? Каркунов пугливо глянул на дверь, заперта ли? «А кто ж их знает, ваше благородие, народ темный, слухают, а что к чему не понимают». Но после раздумья дружеским шепотком бросает: «Да нет, навряд ли выйдут, война надоела, домой хотят, вот что».

Меж бараками по снегу пробегают серые шинели, нагоняют друг друга, толпятся, о чем-то говорят, узнать бы о чем? Везде полуголоса, шепоты, все чего-то напряженно ждут. И вдруг в роту вбегает побледневший прапорщик Крылов: потрясающее известие: царь отрекся! Он рассказывает, что командир полка в кабинете упал в обморок. В собрании офицеры смяты. А в бараке я не могу даже узнать своих солдат. Со стены сорвали

портрет царя, в клочья топчат его сапогами, будто никаких царей никогда в России и не бывало. Солдаты ругаются, приплясывают, поют, словно накатило на них веселое сумасшествие, словно начинается всеобщее счастливое землетрясение. Еще вчера они даже не знали это трудное для мужицких губ слово, а сейчас кричат: «Ура, революция!!!». И я, двадцатилетний республиканец, чувствую, как спадает моя радость, убитая совсем другой радостью солдат. Из офицеров я в бараке один, кругом меня хаос криков. «Урррраааа!!!». «Да здрааавствуеееет!!!». И крики эти будто вылетают не из глоток, а из каких-то таких опьяняющих глубин, что того и гляди эта обезумевшая радость перехлестнет берега и всё затопит. Это радость какой-то всеобщей распутицы, в которой тонут люди, лошади, телеги, и хоть все, может быть, и утонут, но сегодня всем почему-то очень радостно. У солдат сразу всё стало иным; изменились лица, жесты, движения, голоса. *Это другие люди.* И это зрелище и захватывающе и страшно. Это, вероятно, то мгновение, которое называет революции великими. Может быть оно одно и есть революция, а назавтра его уже не будет? Но сегодня всё закачалось, затанцовало. Так почему же с чувством тревоги ощущаю я взрыв этих сил? Он мне чужд. Я ему даже супротивен, ибо я не хочу этой всеопрокидывающей, всеразрушающей, всему угрожающей стихии.

— Долой отделённых! — хохочет на нарах танцующий мордвин; он подбрасывает к потолку сапог с взвивающейся из него ржавой портянкой; мордвин уверен, что теперь он свободен от власти отделённого, которого вчера еще боялся.

— Войну долой! — пронзительно летят простуженные басы и тенора из соседнего барака. Мужики нюхом учуяли, что теперь без начальства война повалится под откос и они уже ближе к своей земле, к избам, к бабам и их общая радость так могуча, что ей не удержаться в бараках. Гогочущей, мускулистой толпой полк выва-

ливается на желтый снег, меж бараками колышится океан шинелей. Приветствуя революцию, революционные войска маршем хотят пройти по городу.

V

На Московской улице красные банты, красные знамена, полотнища кумача; и откуда достали столько кровавой материи? Пензяки, без различия состояний, все улыбаются, как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, в войлочных шапочках, в казенных котах едут освобожденные из острога уголовники. С извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь всё будет даром! «Отречемся от старого мира!». Тюрьмы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода! Жизнь народа началась только сегодня, а всё, что было вчера, выброшено из народной памяти. Только с сегодня, с этого мгновения, как бы сызнова пошла история России всеми своими полыми водами. Это ледоход, ледолом. И чтобы это чувствовать, видеть, ощущать, стоит жить.

Освобожденный народ не нуждается в полиции и полиции нет, она бежала от народного землетрясения. Везде песни, приветствия, давка опьяненной толпы, обладательницы ничем теперь неограниченной свободы. Губернатор Евреинов арестован, но беззлобно, просто выброшен, как ненужный предмет. По указу революционного Временного Правительства власть перешла к председателю губернской управы князю Кугушеву, хорошему знакомому и постоянному партнёру губернатора в винт.

Невыдающийся, безобидный князь, ставший, против воли, революционной властью, от имени революции обязан принять парад народа и войска на Соборной Пло-

щади, где в склепе хранится гробница особочтимого у пензяков архиерея Иннокентия. В каракулевой шапке, в пальто на кенгуровом меху князь стоит на увитой кумачем трибуне, рядом с усатым адвокатом, своим помощником. Обоих окружают мешковатые, милые члены управы и гласные думы. Но с трибуны будут говорить теперь не они, их оттеснили, на кровавый кумач лезут совсем новые, из подполья вымахнувшие ораторы.

Тощий юноша с лиловым, несвежим лицом, пропагатор Шадрин произносит перед толпой невообразимую речь; его не интересует Пенза, отцы города, он незанят даже Россией. Махая над толпой голодными кулачками, он кричит о человечестве, о том, что через все окопы, через все проволочные заграждения, через границы всех государств, эта свобода русской революции полетит ко всем, ко всем, ко всем! Толпа гудит, рукоплещет трогательной всечеловеческой речи Шадрина, полощет в февральском воздухе кровавыми полотнищами. Толпа хочет того же, чего и он, вот такого же веселого и обязательного всеобщего и радостного мирового танца.

Но революционные крики обращаются всё-таки и к комиссару Временного Правительства, к перепуганному князю Кугушеву. Толпа не видит его испуганного лица. Неподалеку от Кугушева, у трибуны стоит седоусый бригадный генерал Бем, начальник гарнизона, в петлице его касторовой шинели тоже есть, хоть и небольшой, красный бант. С окраин в центр идут шестьдесят тысяч войска, это сверхчеловеческий парад, сотрясающий воздух над Пензой; такого парада генерал никогда еще не принимал; блесткий снег весь изранен солдатскими сапогами.

Я иду впереди роты, слышу сзади: «Нет теперь командеров! Идем как хотим!». Солдаты пьяны и свободой и водкой, всё течет самотеком, под давлением нечеловеческих сил.

Перед полком на коне едет наш седенький командир. На груди, рядом с орденом св. Владимира, у пол-

ковника приколот красный бант и на побледневшем лице старика вся необычайность его ощущений. Сквозь марш долетают пьяные крики солдат. Оркестр играет Старо-Егерский марш. Конь полковника танцует, выбрасывая серый хвост; это спокойный конь, но по службе он знает, что под марш надо всегда чуть-чуть играть и шалить.

Перед нашей ротой идет вёрткий ефрейтор с портретом великого князя Николая Николаевича. В бараке, только что вырвавшись из карцера и поэтому опоздав к самому началу революции, ефрейтор долго не знал, что б ему сделать; он папахой сбил икону, ударил ее ногой, отшвырнув под нары, орал о «Гришке и Сашке», топтал обрывки уже растоптанного портрета царя, но вдруг увидав великого князя, подпрыгнул, сорвал портрет и теперь, заломив вязанковую папаху, идет с этим портретом перед ротой. Ефрейтор обязательно желает театральности, он крепко заложил за воротник, он покачивается, месит снег пьяными ногами и с кому-то угрожающим лицом, то и дело, сипло вскрикивает: «Дддда зддддрррравствует Ррррадзянка!».

Трубачи устали. На морозе пристывают к трубам губы. Как только обрывается марш, сразу же шелестят по снегу тысячи солдатских сапог. Отдохнув, трубачи ударили снова, раздувают щеки маршем «Москва». Под эту плавкую русскую мелодию, по этому снегу с алеющими кровью бантами, ноги сами подламываются, сами идут; солдаты подтягивают: «Масква, Масква златые главы!» и шелестят их сапоги.

— Братцы, долой войну! — кричат высыпавшие из мастерских, замасленные железнодорожные рабочие. — Долой! — ревут ответно солдаты. Под бледным полковником боченится от этих криков конь. На Московской мы столкнулись с желтыми бескозырками драгунского полка, едущего под полувальс, под полумарш. И пока стоим, пропуская конницу, в строй вбегают пьяные от счастья интеллигенты в пальто с каракулевыми

воротниками, жмут солдатам и офицерам руки, кричат: «Да здравствует армия! Да здравствуют офицеры!»; ревом «ура» солдаты отвечают и им.

Под это немолчно стонущее «ура» мы подходим к Соборной Площади. Головная колонна с командиром на коне поровнялась уже с трибуной комиссара Временного Правительства. Изредка князь Кугушев помахивает каракулевой шапкой в знак приветствия. С странно сведенным лицом стоит и генерал Бем, держа под козырек. Его белую перчатку я вижу на кровавых полотнищах кумача. А вокруг взлетают папахи, гремят марши, туши. Вместо губернатора с балкона губернаторского дома взвизгивают его несколько горничных: «Урра, да здравствует революция!».

Но вдруг всё прорезали сиплые выкрики: «Бема бьют!». И все кинулись к трибуне комиссара, а с тротуара, ничего не поняв, дамы машут сумочками, платками, кричат: «Ура!». Я и прапорщик Быстров сдерживаем наших солдат. Я кричу: «В строй!»; я остервенел, я лезу на солдат, я знаю, что если сейчас мы их не сдержим, они, может быть, разнесут всё.

— Музыка, музыка! — странно кричит командир полка. Это он хочет хоть музыкой увести бесстройную разламывающуюся полковую колонну. Гулко бухнул большой барабан, но с разных сторон мешаются с музыкой те же хриплые крики: «бьют, бьют!».

В воротах какого-то дома мы, пять прапорщиков, не впускаем наседающую на нас толпу. Сзади на снегу валяется голый, пятнистый от кровоподтеков, растоптанный солдатскими сапогами труп полного человека и в этом трупе, странно раскинувшем руки и ноги, есть что-то совершенно несообразное с только что виденным командиром бригады и начальником гарнизона.

— Товарищи! Где же свобода?! Товариииииищщщиии! Это же позор революции! — надрывается ломкий, умоляющий юношеский голос прапорщика Быстрова. Я уперся кулаком в грудь лезущему на меня сол-

дату, его глаза бессмысленно остеклянели, ряд желтых, словно собачьих, зубов ощерился, изо рта тянет самогоном. «Да, что ты осатанел, чорт!», кричу я. А солдат только разгоряченней дышит, прет, давит, он только и видит что валяющийся сзади меня окровавленный труп. С площади долетает марш, это командир всё еще хочет увести солдат музыкой.

И вдруг из-под солдата на меня вывернулся розовенький гимназистик с голубыми кантами эвакуированной из Польши гимназии; ему жарко от давки, но даже среди одичалых солдатских лиц, это хорошенькое лицо ошеломляет меня своей искаженностью. Мальчик бьет локтями, протискивается. «Пустите!» с визгом кричит кудрявенький, хорошенький буржуазный херувимчик.

Упав, я еле выпростался из-под сбивших меня тел; они прорвались; я только вижу их бегущие к трупу подметки с налипшим на них снегом и меж серых шинелей маленькую, черненькую, гимназическую, опережающую всех. Возле трупа, размахивая, как мясом, вырванным куском красной генеральской подкладки, хохочет бородатый солдат. «Вот она увольнительная записка-то!». И теребя полуоторванную руку трупа, двое солдат перочинными ножами срезают с генеральского пальца затекшее обручальное кольцо.

А революционные шествия мимо князя Кугушева всё идут, там всё кричат, «ура» и играет музыка. И только в сумерках солдаты и народ расходятся с площади кто куда хочет.

В темноте Пензы вздрогнули фонари и погасли. В этих завываниях ветра их некому зажечь. Горожане крепче запираются на замки, засовы, крючки, боятся грабежей. Но это совершенно напрасно, восставший народ благодушен. В снежной тьме всё тонет в песнях, в лузганьи семячек. На базаре кабатчики попытались запереть трактиры, потому что солдаты не хотят платить за водку, но солдаты не дали запереть, хватит, поплатили и задарма пьют за здоровье Революции Ивановны.

Этим то и хороша февральская свобода, что она полная свобода! В ней осуществлена *совершеннейшая свобода человека!*

Посередь снежной улицы, в темноте, мимо нашего дома идут солдатские толпы; сквозь нежно-лапчатую ткань морозного окна видно, как, качаясь, идут в обнимку, в шинелях нараспашку и всё поют в разнобой, с жгучим удовольствием. А у нас в комнате, указывая на них, присяжный поверенный Ладыгин, в молодости за дело народа знававший каземат Шлиссельбурга, говорит с отвращением:

— Теперь мы все в их руках, — и помолчав, добавляет с какой-то трещиной боли в голосе, — ухнула Россия... там, — указывает он куда-то, вероятно, на Петербург, — всё упустили... а теперь уж не подхватишь... всё пропало...

VI

В неурочное время в сторожком мраке пустой Никольской церкви, у иконы Богородицы, в высоких, серебряных, закапанных воском подсвечниках горят желтые свечи. В церкви нас двое: мать и я. Дряхлый отец Никодим в зеленоватой епитрахили служит напутственный молебен; в церкви пахнет и ладаном и какой-то милой затхлостью. Я уезжаю с маршевым батальоном на юго-западный фронт, где началось наступление русской армии.

В чем-то легком, черно-кружевном, на коленях перед сурово темнеющей Богородицей молится мать; в ее моляще поднятых на икону карих, сияющих глазах дрожат слезы, губы осиливая рыдания шепчут; крепко вжимая крестное знаменье в лоб, в плечи, мать невольно смежает веки и вдруг, не в силах сдержаться, рыдает. От старческого голоса отца Никодима, читающего Евангелие, от музыкально-меркнущей темноты, мать

плачет всё безудержней. И после молебна мне с трудом удается настоять, чтобы она не ехала провожать меня еще и на вокзал.

Маршевый батальон выстроен на площади с оркестром музыки впереди. Я член полкового комитета, говорю солдатам краткую речь о начатом наступлении. Я говорю искренно, но мне мешает говорить то, что я всё-таки понимаю, что «разумная дисциплина» и «свободная армия» это нечто вроде балета хромых и оперы немых. Солдаты стоят недовольные, изредка, как бы из вежливости, откашливаются. Маршевые роты не доходят до фронта, с дороги разбегаются по домам, до того не хочется им войны, до того не терпится им дорваться теперь уж не только до своей, но и до чужой, помещичьей земли.

После отслуженного на ветру молебна архиерей Владимир, блеща черными лаковыми глазами, дает нам всем приложиться к прохладе золотого креста и приятно кропит обнаженные головы мокрой метёлкой.

Команда: «Становись!». И вот оно первое движение к окопам: погрузка в вагоны. Ах, как хорошо идти под музыку этого легкого веселого марша, под нее бы и умереть пустяки. У вокзала раздается отчетливый шум снятых к ноге винтовок и солдаты давкой врываются на перрон. Возле длинного красного эшелона стоят матери, отцы, сестры, дети. Матери всё пытаются еще хоть раз обнять сыновей. А в теплушках с взвизгами затеререңькала гармонья: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает!».

У головы поезда горнист играет сигнал к посадке. От этих тревожных звуков даже крепившиеся женщины заплакали. А в вагоне всё разухабистей, всё хулиганистей наяривает ливенка. В ответ горнисту свистит паровоз. И эшелон медленно и плавно поплыл от пензенского вокзала. Крича что-то безумное, вырываясь из рук дочерей, мать прапорщика Быстрова, протянув к нему руки, бежит за поездом.

А поезд дымит, ускоряет ход, поезду ее не жалко. Она упала, ее поднимают какие-то темные люди. В поезде с звоночками перебирает гармонья; солдаты поют: «вышли мы все из народа, дети семьи трудовой». У окна вагона Быстров стоит с затуманенными глазами. На верхней полке весельчак прапорщик Кирилл Ивановский, задрав вверх ошпоренную ногу, напевает: «Завтра может в эту пору нас на ружьях понесут...». А внизу между лавок, сидя на фибровом чемодане, похохатывает банкомет поручик Нижегородцев, тасуя карты, уже начиная «железку».

Река Сура, красный мост, мужской монастырь, холмистая зелень часовни Живоносная Источница (откуда, по преданию, при осаде Пензы кумыками, из городских ворот вынесся Светлый Всадник, обративший в бегство кумыкского Аюку-хана), театр, белый собор, всё мелькнуло и моя Пенза уходит на повороте; только с железно-дорожной насыпи метнулась худая стреноженная лошадь и уродливо запрыгала по лугу, трепыхая гривой. Паровоз протяжно свистит. «Прощай, моя Пенза, прощай всё, что я в тебе так любил!».

VII

Эта в желтых обрывистых берегах река называется Днестр. Земля эта — Буковина. А чужой поселок, куда мы ночью входили со звоном сцепляющихся штыков, называется Залещики. Квартирьеры отвели мне ночлег в заваленной барахлом еврейской халупе; перепуганная кудрявая еврейка умоляет уйти, поискать другую квартиру, у нее болен муж, много детей, много вещей. В зоне военных действий ее ломаные шкафы, комоды, шифоньерки, продавленные чемоданы, бронзовые шандалы и кенкеты кажутся мне какими-то потусторонними предметами. Но куда ж деваться в темноте неизвестной ночи? И я успокаиваю хозяйку, что на утро мы уходим дальше на фронт.

Но на утро у Днестра, в солнечном местечке Залещики, солдаты замитинговали. Мы довезли из Пензы только половину батальона, другая повыпрыгивала на станциях в темноте ночей. Но вот и привезенные, почувствовав, что потянуло сыростью окопов, боями, смертной тоской, сошлись на митинг в местном театре и отказываются идти дальше.

Контуженный, бессильный капитан Грач, командир батальона, уговаривает солдат подчиниться приказу, выступить, спасать начатое наступление. Но на сцену театра выбежал загорелый солдат, в шинели внакидку, с космами выбившихся волос, с затравленными глазами и ременным поясом почему-то на шее. Этот солдат-кликуша закричал:

— Вот ты говоришь о Расее и мы, конешно, с тобой силидарны, а говоришь ты сё-таки неправильно! И вот я спросю тебя по-своему, пачему ты затростил об ей, о Расее?! У тебя фабрики, да заводы, да именья, вот у тебя и Расея, ты и голосишь, чтоб воевать. А у меня, к примеру, где они мои именьи-то? Где?! — с остервененьем закричал солдат. — Кады они у меня были?! У меня и земли-то всей, что вот под ногтями... вот она моя Расея! Да чем я ей, Расее, виноват, раз я всю жизнь на господов работал, раз у меня в ей ничего не имеется! А по-нашему, по-неученому, раз слободно для всех, то кому надо, поди да воюй, а меня не трожь, повоевали и будя!

— Довольно обдуряли нашего брата... замудровали... — зашумели солдаты.

Грач беспомощно смотрит на офицеров. Просит выступить меня. Но что я скажу? Ведь кликуша-солдат в чем-то и прав? Конечно, для меня дело не в именьи «оплаканном» еще в отрочестве. У меня есть за что идти, у меня есть Россия. А у них? Это страшно сказать, но я знаю, что *у них нет ничего*. Стиснутый толпой, я лезу на сцену и, отвечая «предыдущему оратору», начинаю речь о том, что Россия такая же родина моя,

как и его, но я, конечно, знаю всю лживость и неподлинность таких уверений.

— Ты сперва землю отдай, а тады на хронт! — кричит солдат с черной развороченной бородищей.

Я понимаю, что веревка, на которой триста лет водили русскую армию, сгнила, что петровскую палку в Петербурге кто-то выронил. И всё же я, свыше меры взволнованный двадцатилетний прапорщик, кричу, уговаривая солдат идти на смерть и без веревки и без палки.

Закрывшись загорелой рукой, в первом ряду плачет боевой пулеметчик, подпоручик Кислов. А я всё кричу, всё уговариваю землей, свободой, легендой о России. За мной выступают такие же прапорщики-студенты, Дукат, Ягодин. И, наконец, двадцатилетние мальчики, в театре Залещиков, мы совершаем чудо. Мы осиливаем солдат: без палки, без дисциплины они соглашаются идти умирать с остатками развеянного чувства о родной стороне. Конечно, я знаю всю хрупкость этой нашей победы, ибо с первого пензенского дня революции чувствую всю неминуемость еще неясной, но надвигающейся гибели.

Но сегодня на площади Залещиков уже играет военный оркестр. Нам приказано влиться в 117-ю пехотную дивизию, находящуюся в боях. У солдат в подсумках полный комплект боевых патронов, а под рубахой нательный крест иль медный образок, у каждого холодит на груди жестяной личный знак с нумерком, чтобы по нем опознать убитого. У меня — надетая матерью ладанка с молитвой-псалмом, из прекрасных слов которого я запомнил: «...перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен; щит и огражденье — истина его; не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящей во мраке, заразы опустошающей в полдень; падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся, ибо ангелам своим заповедую о тебе — охранять тебя на всех путях

твоих; на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать льва и дракона будешь...».

Под Преображенский марш двинулась голова колонны.

Подтрунивая над моей любовью к маршам, друг прапорщик Кирилл Ивановский, улыбаясь, подмигивает:

— Но каждый марш звучит печально, в нем что-то уходит и вот, быть может, ушло бесповоротно.

— В маршах всегда есть движенье, они на сухожилья, на кожу, на мускулы действуют, в марше — физиологическое удовольствие, к тому ж на ходу только и думается по-настоящему, — отвечаю я.

В окне халупы я вижу довольное лицо освободившейся от постояльцев еврейки. В душащих облаках поднимаемой нами пыли мы проходим мимо обрывистых берегов желтого Днестра и выходим на шоссе, за годы войны истоптанное и избитое солдатскими сапогами и подковами конницы.

VIII

Над нами высокое беспощадное небо с нестерпимым жидкорасплавленным солнцем. Вороты рубах расстегнуты, лица матовы-пыльны, на губах соль, пот, песок, и нет краю этому ползущему галицийскому шоссе с копошащимися на нем игрушками-солдатиками, конями, орудиями, передками, зарядными ящиками, обозными повозками, двуколками, верховыми, мотоциклетами. Всё движется сплошной лавой, конница, пехота, артиллерия; движенье то и дело закупоривается живой пробкой; с треском сцепляются колеса орудий, друг на друга наезжают упряжки; над шоссе повисла матерная брань ездовых, храпят под хлещущими нагайками, бьются лошади. А надо всем темным облаком подни-

мается пыль, и под сумасшедшим солнцем мы задыхаемся в этой пылающей пыли. Губы ссохлись, пересмякли; усталость, голод, жажда; на остановках люди мгновенно засыпают тут же в пыли, в канавах, у дороги, но это не сон, это тяжкое забытье. На деревенских улицах у одиноких колодцев солдаты сгруживаются пить, сюда же с ведрами бегут кавалеристы поить лошадей; но на походе от питья только тяжелее.

Сколько дней мы идем? То ночуем в развороченных гранатами халупах, то на дворах под нежно шелестящими ветлами. В походном снаряжении люди спят в странных вывернутых позах; если б они не вскрикивали, не стонали во сне, можно было бы подумать, что это забытые на дороге трупы. А то мы идем ночь напролет под звездами и задремываем на ходу, в усталости не разбирая, сон ли это, явь ли, и всё движемся вперед, ступая отяжелевшими ногами в темноте черного ночного шоссе. И чем глубже мы вклиняемся в Галицию, тем шоссе взволнованней и бесповоротней втягивает нас в то дикое пространство, где нет уже ничего, кроме войны.

Левый сапог трёт, я плохо подвернул портянку, но переобуться боюсь, отстану. «Ну, вот, это и есть война», прицапывая по шоссе, думаю я, «всё это оказывается совсем просто, еще переход и за Коломыей мы «войдем в соприкосновение с противником», как обычно пишется в военных реляциях. Как мы войдем, я еще не совсем себе представляю, но это там будет видно. Сейчас в Пензе, Тифлисе, Омске, Архангельске люди читают в газетах о юго-западном фронте, как когда-то читал и я, и этот *юго-западный фронт* представляется им в виде какой-то идеальной военной линии. На самом деле, это мы, копошащиеся игрушки-солдатики, лошади, пушки; мне кажется, что в нас есть даже какая-то беспомощность; из Пензы всё казалось гораздо величественнее.

Мы оставляем за собой виднеющиеся ломанные из-

гибы старых русских окопов; проходим мимо обращенных к ним бывших австрийских; в канаве валяется уйма какого-то снаряжения.

— Эй, где теперь 117 дивизия?! — кричит Кирилл Ивановский скачущему по полю казаку-ординарцу.

— А хрен ё знает, — чуть приостановился и поскакал дальше казак.

У кого ни пытаемся узнать местонахождение 117-й дивизии, никто не знает: в боях. И мы наобум движемся по этому живому шоссе к Коломые.

На вытянувшем шею и просительно ржущем жеребце, по полю, рысью обгоняет общее движение обозов бородатый полковник, вероятно, отец большой семьи, оставшейся где-то в Калуге. В вооруженной давке люди злы, оттого, что не знают почему они идут, оттого, что никто идти не хочет, и все всё-таки идут под мученьем ослепительного солнца, от которого некуда скрыться, от которого, того гляди, лопнет перекалившийся череп. Лошади, люди, пулеметы, орудия, зарядные ящики, патронные двуколки, мотоциклеты, всё смешалось гремящим хаосом в этом неуправляемом движении, но я знаю, что в какой-то будущий момент, вся эта живая масса рассыпется и под солнцем начнет переезжать, перебегать, выбирать позиции, откроет огонь и тогда представится в виде совершенного порядка, в котором проявится сила, управляющая хаосом войны.

Ночью, на опустелом дворе брошенной хаты, я, засыпая, слышу, как, умащиваясь рядом со мной, прапорщик Мещеряков говорит:

— Знаете, Гуль, что на войне для меня страшнее всего? Что такая масса людей, такие чудовищные силы заняты ведь совершенно непроизводительным трудом.

Я смертельно хочу спать, не вслушиваюсь, не понимаю, что говорит Мещеряков.

— Вы, Мещеряков, экономист? — слышу голос Ивановского.

— Экономист..., а что?

— Сразу видно.

Мещеряков что-то отвечает, а я, подложив под голову скатку-шинель, сладостно проваливаюсь в бездонную тьму. С тревожного военного неба глядят большие галицийские звезды всегдашнего кантовского неба, но они кажутся мне колеблющимися, плывущими, как множество огней летящих аэропланов.

IX

— Эй, крупа, сторонись, орудия едет! — кричит загорелый артиллерист, сидя раскорякой на коренастой пушке.

На шоссе под Коломыей общее столпотворение дошло до отчаяния. Теперь уж всё движется хаосом в двух направлениях: отступая и наступая. Нам навстречу по смятому кукурузному полю лавой промчалась конница. Какие-то растерзанные, до последнего усталые, только что вышедшие из боя, как из чортова пекла, пехотные части идут прямо по полям, и колеблется на солнце неровная щётка их сверкающих штыков.

— Куда идете? — Какой части? — 117-я дивизия не знаете где?

— А... ее знает, твою 117-ю, — сплевывает на сторону солдат, запылённый, белозубый, как негр.

— Ты поди, посмотри там, под Коломыей, где какая дивизия, — смеется другой, отставший, хромающий, без пояса, без фуражки.

Обветренный, красноносый от опалившего его солнца, Ивановский, приостановившись и указывая рукой в воздух, говорит:

— Слышишь артиллерию?

Доносятся мягкие вздохи, словно пушкинская сказочная голова из «Руслана и Людмилы» надувает щеки и с шумом выпускает из них воздух.

— Эй, не отставай, не отставай, слабосильная команда! — подтягивает отстающих здоровяк, прапорщик Дукат. Солдаты порастерли ноги, ослабели; а навстречу, разрывая нас, всё идёт, грохочет отступающая артиллерия с сидящими на пушках запыленными артиллеристами, с засыпающими, склонясь к конским шеям, ездовыми. Сотрясая землю, в карьер, по полю промчалось несколько орудий, в упряжках стелятся взмыленные кони, с звоном металла унося пушки; бесстройными толпами, повеся головы, движется пехота; ординарцы на мотоциклах, квакая лягушкой, прорываются с донесениями.

В этом предсмертном хаосе, во всеобщем усталом ожиданьи боя, всё побеждает саженная матерщина, злобно несущаяся над движением армии. Но и здесь, пересиливая всё, вдруг какой-нибудь весельчак, глядя на нас, идущих в Коломые, заорет истерическим голосом:

— Эй, торопись, торопись, браток, а то не успеешь австрийских лепёшек поесть! Их там задарма раздают!

— Дорогу кавалерии, — покрикивает богатырский красавец ротмистр на белоногом походном гунтере, продираясь сквозь поднятую пехотой пылищу.

Близость огня чувствуется во всем, в усталости ругающихся людей, в выражении лиц, в оттуда, с полей сражений, словно из доменных печей тянущем зное, в котором плавится всё: тела, воля, отчаяние, мужество, трусость, храбрость, безразличие. Сейчас солдаты уже не замитингуют, они уже *на театре войны,* уж захвачены в эту чортову воронку, крутящуюся с всё ускоряющейся стремительностью; пусть в зное, в пыли, в голоде, но теперь они пойдут в бой так, как мы им прикажем, и как прикажут нам.

Идя краем шоссе, в массе тяжело дышащих, потных людей и коней, толкающих мокрыми пенистыми мордами в спину, я чувствую, что какая-то необъяснимая сила навсегда увела меня от университета, именья, Пензы, Москвы, от книг, журналов, от всех тех чувств,

которые были. *Тут всё другое и всё не то.* Тут мы все словно нагишом, наши чувства сильны, голы и просты: усталость, храбрость, голод, трусость, смелость, сон, страх. Мы дышим воздухом чужой страны, спим в опустелых домах, в сутки едим консервную банку мяса на троих, немного сухарей, немного воды, а проходим по сорок верст. Мы, конечно, не думаем о многом и в начитанности отстанем от тех, невоюющих, оставшихся в тылу, но зато каждые день и ночь на этом военном шоссе, а завтра в бою, и мы научаемся чему-то, может-быть, даже большему, во всяком случае мы узнаём здесь то, чего они никогда не узнают. И в облаке пыли идя по этому волнующемуся шоссе, я рад тому, что я здесь, а не там, что я на войне, которая лепит людскую, может-быть, грубую, но простую и в чем-то правильную душу.

— Оправиться, покурить! — сняв фуражку, кричит вспотевший, изнемогший капитан Грач; он отирает грязным комком платка лоб. Мы ложимся отдыхать на вытоптанном лугу под самой Коломыей. Сейчас нет большего удовольствия, чем вытянуться всем телом на этой пыльной траве. Из газет солдаты свертывают цыгарки, лежа, курят, сплевывая, по-цыгански, тонкой струей. Потные, утомленные они редко перебрасываются словами, да и о чем говорить? Каждый глядит в голубое небо и ничего в нем не видит. Кто задремал, кто задрал кверху ноги, чтобы отлила кровь и отдохнули ступни и икры. Я вот, лежа на спине, думаю о том, как скверно написал о войне в «Красном смехе», невидавший ее, Леонид Андреев. Мимо тропотят мелкой рысью какие-то казаки на горбоносых дончаках.

— Становись! — кричит, трудно поднимаясь, капитан Грач.

И вскоре мы вступаем в чужую австрийскую Коломыю. Ее опустошенность представляется театральной; пустые помертвелые улицы кажутся длиннее чем есть, в окнах брошенных домов ветер рвет занавеси; а

на углу какой-то круглой площади, тоже как на театре, открыта кофейня; и пока капитан Грач и прапорщик Дукат уехали искать коменданта, я в ожидании их, с невыразимым и никогда еще неиспытанным наслаждением, сажусь за беломраморный столик кофейни.

Мне подает молоденькая полячка, у нее румяные губы и пушистые ресницы. Я плохо понимаю ее польскую речь, но по улыбкам вижу, что она не прочь бы полюбить русского прапорщика. Но в этом разбитом городе время идет с такой тяжкой быстротой, что я только успеваю сказать полячке какие-то слова, как в кофейню возвращаются в конец измученный капитан Грач и пыльный, крепящийся прапорщик Дукат.

— Неутешительно, — мрачно говорит Дукат и, сняв насковь пропотевшую фуражку, опускается у столика. — Коломыю бросают, местонахождение 117-й дивизии неизвестно, предполагают, что отступая с боями, она должна быть где-то совсем близко к востоку, дан маршрут и надо немедленно двигаться.

— А общее положение? — спрашиваю я Грача, и мне ни за что не хочется подниматься, уходить из кофейни.

— Наступление лопнуло, — закуривая коломыйскую папиросу, усмехается больной капитан, — на революционном лозунге армия не дерется, не хотят товарищи. Теперь идут арьергардные бои, чтобы хоть как-нибудь выправить фронт, чтобы наступление, превратившееся в отступление, не превратилось еще и в катастрофу.

Мы встаем, трудно поднять свинцовые ноги. А пленительная полячка уже поит тем же плохим кофеем какого-то другого, такого же пыльного, обросшего щетиной, такого же усталого кавалериста и так же улыбается ему мерцающими глазами.

По тем же помертвелым, обморочным улицам мы оставляем Коломыю. Где-то на западе вздыхает артиллерия. В поле, под городом скакавший на кряхтевшем

коне ординарец указал нам дорогу на фольварк, где расположился штаб 117-й пехотной дивизии.

Это была прелестная покинутая усадьба с приземистым домом, вокруг которого еще цвели астры. На некошеном лугу перед домом мы выстраиваем батальон для приема его начальником дивизии. Статный, в блестких очках, с кирпичем плотной седой бороды, во всем защитном, генерал быстро идет к батальону. Но на команду «смирно!» солдаты не обращают внимания. Полгода назад за такую стойку генерал разнес бы батальон, а теперь он делает вид, что всё обстоит благополучно, и произносит краткую речь о борьбе за свободу, чему подучился наспех и без знания дела.

Хмурые, обгорелые от солнца солдаты пасмурно глядят на его очки, на золотые погоны, на барскую бороду. О чем думают? Да всё о том же. Полуоглянувшись, я в оцепенении вижу, что в ветвях яблони сидит мой солдат четвертого взвода Рыжов. Вспомнив босое деревенское детство, он полез за зелеными яблоками. Лицо у него наглое, смеющееся, будто он спрашивает: «а что, мол, вы со мной могёте в таком случае сделать, раз хуже окопов и смерти всё равно ничего нет?».

Генерал, слава Богу, его не видит, он продолжает говорить о том, что счастлив принять батальон в стяжавшую боевую славу в Тарнопольском прорыве 117-ю дивизию, а сзади меня солдат, которому надоела генеральская речь, бормочет сквозь зубы: «да, мать ее вдоль, эту твою дивизию...».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

С этой ночи на театре военных действий я — прапорщик 457-го пехотного Кинбурнского полка. Временно командующий полком подполковник Осипов с полевым адъютантом поручиком Никитиным, окруженные конными ординарцами, расположились в лесу: это штаб. А мы лежим в цепи, на рассветающей луговине и прислушиваемся к близящимся взрывам немецкой артиллерии.

Немцы наступают. За зеленым перевалом в нескольких верстах их головные части. Сзади нашей цепи, под летящим ветром шумит лес. Это живописное место хорошо называется: Млынские хутора. И когда не слышно взрывов артиллерии, кругом стоит лесная тишина. Я лежу на траве, немного позади солдат, ощущаю свежий запах сырой земли; пока что лежим вольно. Но вот к подполковнику Осипову на загнанной, потемневшей от пота, тяжело носящей боками лошади прискакал ординарец. И смугло-желтый брюнет, с угольными усами, батальонный командир, поручик Стоковецкий передал мне, что сегодня будет дело, ибо немцы наступают как раз на участок нашей дивизии.

Солдаты торопливо завозились на луговине; стали наскоро окапываться. А вскоре, не долетев до нашей цепи, визгнув в ровно-голубом небе, разорвалась нежно-розовым облачком впервые увиденная мной шрапнель. Если б это был фейерверк, то тающим, ботичел-

ливски-кудрявым дымком можно было бы любоваться; в сущности, я им и любуюсь, хоть знаю, что это смерть.

Взвинчивая черные воронки земли, нащупывая нас, по луговине грохнули густодымные гранаты. Недолеты. Но цепь уже вжимается в наскоро-рытые окопчики. Немцы бьют бризантными бомбами, они рвутся двойным ударом: и в голубом небе розовым дымком и черным столбом на земле. От разрывов снарядов в лесу закачались дубы и лес, как раненый, широко застонал.

«Вот и бой, — думаю я, — в общем ничего страшного пока нет, есть даже некоторая тоска азарта». В цепи отрывисто стучат затворы винтовок, зрение у всех напряжено; все лица похудели, стали серьезны, почти торжественны, все ждут, чтоб на линии горизонта показались пока еще невидимые немцы.

Сзади ухнуло и через наши головы уходят русские снаряды; они свистят, будто рвут шелковую материю. «Наша бьет», молитвенно-тихо шепчет ближний по цепи солдат.

Во мне обрывки каких-то чувств, каких-то воспоминаний. Я почему-то вспоминаю, как в Керенске, в полутемных сенях горничная Анюта подхватила меня совсем маленького подмышки и головокружительно крутит, я хватаюсь за ее развевающееся платье с красными розами и в отчаяньи пронзительно кричу. Шагах в ста на траве, так же как я, лежит Дукат. В кустах обросший черной щетиной Стоковецкий, он всё это видел-перевидел и, сплевывая в кусты, безразлично затягивается солдатской цыгаркой. Но вот Стоковецкий вскочил. Справа, с растоптанного кукурузного поля, с участка Нарымского полка сюда накатывается ружейная стрельба, словно по лесу передвигается шум ливня.

Стоковецкий смотрит в бинокль. Я понимаю, он ждет появления немецких цепей и перед нами. И вот на линии горизонта уже показываются черные точки. «Это и есть немцы? Это они». Кругом сухо тявкает лай наших винтовок. Их начавшаяся сплошная стукотня пре-

рывается только глухими, где-то из лесу, ударами нашей артиллерии и взрывами там и сям немецких гранат. Немцы нащупывают нас гранатами, как руками. Их взрывы ложатся всё точнее. Вдруг сбоку, с белоствольной березовой опушки, словно сразу же захлебнувшись, в общий концерт вступили наши пулеметы. Я вижу, как пыхая седым дымком, будто в истерике бьется тело пулемета и, плотно прижавшись к нему, трепещет человек в гимнастерке.

«Вот это и есть: бой под Млынскими хуторами», следя за всем, повторяю я про себя. «Страшно? Пока что нет. Пока что даже как-то приятно. Вероятно, потому, что о смерти этот бой еще не говорит: ни раненых, ни убитых; бой идет как бы вне меня, словно он мне представлен».

Наш артиллерийский, ружейный, пулеметный огонь непереставаем. Наступающие немцы залегли. Сколько до них? Ну, версты две, не больше. И кажется страшным и в то же время захватывающим, что между ними и нами сейчас нет ничего, кроме пуль, огня, дыма, осколков снарядов. На сырой от дождя земле мы и они первобытны; и ими и нами владеют те же чувства: убить и жить.

Наша артиллерия всё настойчивей посылает шелково свистящие снаряды, они взрываются прямо среди идущих на нас немцев. За их первой цепью показывается вторая, третья. «Это атака? Может быть сейчас пойдем и мы?». Я оборачиваюсь на Стоковецкого. Он вне себя, что-то беззвучно крича, машет револьвером. За общим шумом не разобрать его слов. Но вдруг я вижу вправо, у нарымцев, в цепях замешательство, солдаты вскакивают с земли; оттуда, ширясь, летят крики: «кавалерия! кавалерия!» и от этих криков током, молниеносно по сердцам прокатывается паника.

— Назад! Перестреляю! — кричит осипшим собачьим голосом Стоковецкий, мечась с черным наганом перед цепью. На опушку выскочил и подполковник Оси-

пов. Но под свистом пуль, уханьем взрывающих землю гранат нарымцы бегут, оголяя нас с фланга, и наши солдаты уже вскочили и отступают всё быстрей. Они набегу кричат: «кавалерия! кавалерия!», этим криком словно оправдывая и свое отступление и подогревая самих себя в охватывающем их чувстве паники.

Стоковецкий, Дукат, я бросаемся к цепям. «Куда вы, братцы! Вперед, огонь!». Но их не остановить, меня смывают бегущие солдаты. «Вот это чорт знает что, если действительно налетит кавалерия, будет не бой, а просто мясорубка... вот тебе и вся жизнь... конец... какая ерунда...», думаю я в тот момент, когда, неистово ругаясь, кричу: «Да куда ж вы... вашу мать! Куда вы, сволочи, бежите?».

Толстоплечий, приземистый Дукат, пытаясь сдержать бегущих, тоже размахивает, как Стоковецкий, наганом; я ничего не слышу, что он кричит, только вдруг вижу, как этот кремневый латыш, необычайно любящий Россию и армию, остановившись, плачет слезами злости и отчаянья перед бегущими.

— Ох, ох, — стонет бледный, остроносый солдат, сбрасывает набегу подсумок, бросает винтовку и, качаясь, подвернув ноги, тяжело рухает на землю. Через него перепрыгивают отступающие. «Кавалерия — зарубят, не оставлять же его?», и я молниеносно приказываю себе испытать свое самообладание; и с чувством восторженного удовлетворения я его проявляю. «Вставай, вставай, я тебя поведу!», кричу я, хватая тяжелодышащего, посиневшего, узколицего, похожего на птицу солдата. Я вскидываю на плечо его винтовку и, поддерживая, веду его по луговине, заливаемой немецкими пулями; он наваливается на меня, сталкивая бессильным телом в сторону.

— Сюда! Куда ж ты, сукин сын! — и только под моей извозчичьей руганью пробежавший-было бородатый солдат останавливается, подхватывая больного с другой стороны.

— Что он, ранен, господин прапорщик?

— Болен, — говорю я.

А больной всё охает, что-то невнятно гундит, пока у леса я не сдаю его фельдшеру на ротную двуколку.

Тут у березовой опушки Стоковецкий собирает батальон. Ходит взволнованный командующий полком Осипов. Кругом писком невидимых стрижей свистят тыкающиеся в стволы пули. Но сорвавшаяся устойчивость цепей уже восстановлена. Наша ураганная артиллерия залила немцев. Они в свою очередь откатились. И подполковник Осипов приказывает полку занять исходные позиции.

Смеркается. Я лежу теперь с винтовкой, взятой у больного солдата, и, когда показываются далекие точки немцев, я постреливаю по ним, «по невидимому врагу», как писал в «Трех разговорах» Владимир Соловьев; но теперь, на этом лугу, я знаю, что проживший жизнь в кабинете, знаменитый философ в войне ничего не понимал. Ветер стих, лес успокоился, в его ветвях уж не рвутся шрапнели. Луговина Млынских хуторов окутывается опаловой мглой с кровью просачивающегося сквозь деревья заката. От души отлегло и она стала свободна. После боя, тишина леса — незабываема. И всё — лес, луговина, вечер, — представляются никогда непережитым блаженством.

В полной тишине нас сменяют на позициях малмыжцы. Мы уходим на отдых. Далеко в сосновом бору, на озаренной тлеющими кострами поляне, вкусно дымятся подъехавшие кухни; стоят ружья в козлы; позвякивают котелки; какая-то оседланная лошадь норовит лечь, поваляться прямо в седле, и ее то и дело одергивает ординарец; после молчания в бою люди с особенным удовольствием разговаривают друг с другом.

— Ну что, отошло, брат? — сталкиваюсь я у кухни с больным солдатом.

Он, стоя, хлебает из котелка. Оторвавшись от супа, начинает говорить, что меня вовек не забудет, что «бес-

пременно пропал бы, потому что силов уж не оставалось»; вокруг собираются солдаты, подсмеиваются над больным.

— Вы зря его, господин прапорщик, тащили-то, — утираясь рукавом от льющегося по губам супа, говорит широкоулыбающийся солдат, — он же к немцу в плен лег, на даровой харч захотел, а вы его опять к нам притащили.

— Тоже скосоротился, в плен, зенки-то вылупил, — кричит, накреняясь в его сторону, больной.

Я смеюсь с окружающими меня солдатами и вижу — после сегодняшнего боя мы друзья. Они расспрашивают меня, какой я губернии, что слышно в тылу, что думаю о войне, когда ей конец?

До поздней ночи, сидя на выступивших из земли, как уродливые кишки, корнях, прислонившись спинами к мачтовой сосне, мы разговариваем с Дукатом, жуя черные сухари и отхлебывая чай.

— Ты даже заплакал, Данил, — говорю я ему.

Освещенный углями догорающего костра, Дукат неловко улыбается.

— Я думал, что так и покатимся, трудно с ними... а ты, я видел, какого-то раненого тащил?

— Больного.

В лесу у слаженной коновязи лошади ординарцев мерно жуют сено. На поляне замирают последние голоса, кашель. Я покрепче заворачиваюсь в шинель, укладываюсь возле ротной двуколки и, как только костры потухли, лесная темнота сразу же наполняет собой чужой и страшный австрийский лес.

II

Отходя в арьергарде, наша 117 дивизия прикрывает общее отступление армии, а я с полуротой замыкаю отступление полка. Мы идем уже по прекрасной Бесса-

рабии, которую я так полюбил. Вместе с нами движется граница России.

В предвечернем сумраке мы стоим на окраине разбитого войной села; полувыворочен сруб колодца, переломлен стебель журавля; артиллерия сорвала крыши, хаты оголились печами и всей убогой трудовой бедностью; кругом немая тишина, нет ни человека.

Бесстройно, вразброд через мертвое село идут отступающие воинские части. На белом иноходце у моста покуривает поручик Стоковецкий, а я сижу на поваленной разбитой колоде. Мы ждем, чтоб, пропустив Заамурский полк, замкнуть отступление, тогда саперы взорвут дощатый мост на заросшей осокой реке и подожгут остатки села.

На мост, дремля в высоком казачьем седле, въехал рябой капитан-заамурец, командир последнего отступающего батальона; солдаты идут за ним торопливой пылящей толпой; и один шустрый солдатик с заломленной на затылок фуражкой, под общий смех, растягивает гармонику и пританцовывает с вывертом и коленцем:

«Иэх, гармонь моя, рязуха!
Дождь идет, дорога суха!
Иэх!..».

Тонкие губы Стоковецкого кривятся, кивнув на солдатское веселье, он презрительно бросает, звеня польским акцентом:

— Войска российской республики отступают в порядке, настроение войск бодрое! — и дав шенкеля белому коньку, говорит, — прапорщик Гуль, пошлите к саперам связь, скажите, что могут взрывать.

За телеленькающей в темноте гармоньей, за хохотом солдат мы проходим последними по селу. За нами, треща, взлетает горящими щепами слабенький мост и, занимаясь желтым огнем, начинают полыхать уцелевшие хаты.

Мы движемся по кукурузному полю. За нами, как

театральным занавесом, занавешивается ночь. Кто там в ней, в этой дикой ночи, за этим оранжевым занавесом пожара? Там пока еще никого.

От арьергардных стычек, от бессонных ночей, от марша по растоптанным, изрытым полям, по лесам ломящимся и стонущим под обстрелом артиллерии, мы так устали, что, кажется, сейчас упадешь, уснешь. Но мы уже подходим к линии старых русских окопов, где нам приказано встать и держаться во что бы то ни стало.

III

День стоял прозрачно золотой, когда мы вошли в старые русские окопы. Это было под селом Клишковцы. Вокруг белых хат сливовые сады уж роняли лимонно-канареечный лист. Дальний лес краснел, лиловел, желтел. В голубой дымке утренника мы размещались в глинистых, глубоких окопах с прекрасными бойницами, проволочными заграждениями, извилистыми ходами сообщения, просторными блиндажами и землянками, и нам, утомленным походом, эти окопы показались прекрасными квартирами.

К тому ж они идут по живописной местности. На участке соседнего полка почти кавказская крутизна; а перед нами ровный луг с глубокой травой прямо вплоть до немецких окопов, упершихся в тающий бледным золотом лес.

Тишина, синева, осеннее отдохновение. Я иду пóверху, вдоль линии окопов. Приземляться не хочется, иду с удовольствием, что прекратилось шатание по неизвестным лесам, ночные походы. Небо надо мной бледно-лазурное, в нем высоко преследуют друг друга два ястреба.

Наши солдаты спешно заплетают проволочные заграждения, чистят ходы сообщения; саперы навалили уже бревна, тес, поправляют блиндажи, землянки.

Немцы уже вошли в противоположные свои окопы и сейчас, вероятно, заняты тем же.

После обеда солдаты, лежа на дне окопа, спят, а на лугу, у землянки отдыхаем мы: я, капитан Лихарь, прапорщик Дукат и пулеметчики-поручики Юрко и Фатьянов. Из землянки вылетает, землей придушенная, песня фельдшера Бешенова, он поет легким фальцетом:

«Был я маленькай, был я глупенькай.
Отец, мать меня любили,
Меня в зыбочке качали
За подцепочки, за серебряны...».

А мы, глядя то в небо, то на золотеющий и краснеющий лес, разговариваем. Я говорю о том, что война явление неоднородное, что у нее кроме тяжелого быта и страшной были есть и своя увлекательная литература. Фатьянов молча перевертывается со спины на живот и неодобрительно смеется.

— Ты не смейся, Петр, это совершенно верно, — говорит петербургский студент, поручик Юрко, на смуглом лице его играют живые угли монгольских глаз, — вот мы лежим, курим, смотрим на этот лес и никто сейчас в Москве иль Петербурге не мог бы так понять, до чего он хорош, этот лес, и до чего хорош весь этот сегодняшний пушкинский осенний день. А мы можем, потому что на войне наши восприятия гораздо резче и живем мы, так сказать, сильней, ускоренней. Только надо суметь сохранить это наше, на войне нажитое уменье остро чувствовать и остро жить, его жаль было бы потерять, его надо сберечь во что бы то ни стало, чтобы им и в мирной жизни отличать ценное от всей той бытовой дряни, которой она загромождена.

Кадровому капитану Лихарю скучно, с сладким звуком зевоты он потягивается, расправляет тонкими пальцами холеные, волнистые усы. Дукат заснул, удобно уложив голову в сгиб локтя, он существо совершенно политическое и поддерживает только соответственные разговоры.

А Юрко, подперев черноволосую голову кистью бледной руки, продолжает говорить, обращаясь к Фатьянову.

— Вот ты послушай, мы движемся по незнакомой земле, это движение само по себе приятно, а если чувствуешь природу, оно приятно вдвойне. От физического труда, от утомления мы здоровы, чувства наши уравновешены, в голове нет преизбыточного многомыслия, и это тоже слава Богу, — заливисто, по-детски смеется Юрко, показывая мальчишеские блестящие зубы, — всё это дает мужественное ощущение жизни, отчего окопавшиеся в кабинетах штатские кажутся просто какими-то ихтиозаврами. Ведь наши отцы прожили, в сущности, самую пошлую жизнь за столом в столовой, за столом в кабинете, а умерли в чересчур им известной кровати, вот и всё.

Дукат посапывает во сне. Хрупкий блондин с неприятно неподвижными, светлыми глазами и чувственным ртом, капитан Лихарь пускает из вишневой трубки дым. И только Фатьянов, презрительно смеясь, отмахивается.

— Ой, пощади, Юрко, я сегодня плохо обедал и брось ты врать, ради Бога! Лес да небо! Ну, что ж тут хорошего? У тебя война вроде какой-то африканской экспедиции на леопардов, а мы знаем, что такое война, — говорит он с неожиданным оттенком злобы.

Фатьянов сын богатого волжского купца, студент-естественник. С Юрко они друзья, хоть Фатьянов и подсмеивается над романтическим петербуржцем, который не только в окопе, но даже на походе ежедневно выбрит. Лицо у Фатьянова румяное, славянски-правильное, может быть, с легкой примесью мордвы в скулах. Приятный облик этого пулеметчика как-то не вязался с тем цинизмом, с которым он смотрел на всё в мире. Фатьянов был, конечно, нигилист, но не «писаревец», «базаровец», а бытовой ежеминутный нигилист. Ему совершенно искренно было плевать на Россию, победу, войну, революцию, на жизнь других, на так называемую, мо-

раль. В Кинбурнском полку он был единственным офицером, вступившим в партию большевиков. Хороший оратор, Фатьянов на митингах говорил солдатам о том, что Временное Правительство враждебно народу, что только большевики защищают трудящихся, что войну надо кончать немедленно, братаясь с немцами и втыкая штыки в землю. И арестовать его нельзя — взбунтуется полк, а, может, и вся дивизия, ибо солдаты считают Фатьянова «представителем интересов трудящихся».

— Война, это вот что, — продолжает говорить Фатьянов, — прежде всего это глупость, именно глупость, всегда и вовеки, хотя бы уж потому, что воюют-то ведь те, кто воевать совершенно не хочет, а те, кто говорят, что хотят воевать за родину и прочую ерунду, просто врут из трусости. Вдобавок эта глупость чрезвычайно скучная и неостроумная. Конечно, наш уважаемый верховный, генерал Корнилов, и все прочие генералы воюют с интересом, потому что это их профессиональный спорт, прекрасно оплачиваемый и, главное, довольно-таки безопасный. А посади ты самого́ скажем, императора Вильгельма на четыре года в окопы, так на первом же году он, как миленький, станет за немедленный мир. Ведь когда мы читаем в газетах, что генерал Ренненкампф разбит в Восточной Пруссии, это вовсе не зачит, что Ренненкампф разбит, это значит, что перебито превеликое множество безымянной скотинки ввиде солдат и офицеров отчасти, а Ренненкампф продолжает процветать и командовать, то-есть, заниматься тем же военным спортом и вести ту же самую, ему приятную жизнь. Мне рассказывал один полковник, что когда генерал Куропаткин приехал на фронт, он, собрав генералов, прямо будто бы сказал: «Ну, говорит, господа, для меня, в сущности, безразлично, буду ли я побежден или будут побеждать, моя военная карьера сделана, а вот вы, мол, старайтесь...». И правильно. Это и есть война генералов. Если же ты дурак, лезь для Ренненкампфа головой в печь, но знай, что заслуживаешь

только улыбку сострадания. Всё это давно известно и вполне естественно и законно, умные едут на дураках, первых меньше, вторых больше. Но вот наши солдаты почувствовали, что можно не воевать, что смертная казнь за дезертирство тю-тю, больше нет ее и теперь воевать они, конечно, не будут, и правильно, довольно дураков! Ведь Керенский ничего умного не ответил окопному солдату, который сказал, что он не хотел умирать за царя и не хочет умирать за демократию? Керенский ведь не бросится сам на немецкие штыки за демократию иль бросится? Я думаю, что всё-таки едва ли, — резко смеется Фатьянов, оголяя плотные зубы, — и солдаты это великолепно понимают, что никто с ума не сошел и на штыки не бросается, что всякий человек «немножко подловат» и прежде всего хочет прожить *свою собственную жизнь,* а остальное всё от лукавого. И вот наше с вами пребывание в окопах, поручик Юрко, — улыбается Фатьянов, — просто совершенно ничем умным неоправдываемо, кроме того, что мы с тобой быдло, бараны. И война твоя вовсе не псовая охота, это ты себя только уляякиваешь, создаешь, так сказать, вспомогательные конструкции, чтоб не убежать от страха с фронта. Помнишь, как в 15 году, в Карпатах, в отступлении, трупами так воняло, что нас с тобой рвало? Вот это и есть война! И тебе через четверть часа попадет немецкая пуля в кишки, куда-нибудь поглубже, и будешь ты, Юрко, отвратным голосом орать, просить пить, лепетать всякие нежности о маме, а потом осклабишься и под этим солнцем так засмердишь, что тебя поторопятся где-нибудь поскорей прикопать. Чего ж тут «прекрасного»? Не трепись, пожалуйста, а скажи прямо, как вот я, мол, что всему этому военному небу, осеннему лесу и мужеству резких чувств я предпочитаю просто-напросто отпуск в Каменец-Подольск к тамошним хорошеньким девочкам.

Вынув трубку изо рта, Лихарь громко смеется, развевая свои пушистые усы.

— Вот насчет этой литературы и я с превеликим удовольствием! — и нахохотавшись, капитан под солнцем сладостно жмурится и, потягиваясь, говорит: — Ох, вкусно... могу даже рекомендовать не Каменец-Подольск, а Хотин... не так далеко ездить целоваться.

Мы все знаем, что Лихарь только что вернулся из Хотина и все смеемся.

— Ты, Фатьянов, шкурник и не понимаешь, что я говорю, — сквозь смех отвечает Юрко, — я вовсе не говорю, что война веселая африканская экспедиция, я только согласился с Гулем, что у войны есть своя увлекательная литература и она есть, для меня по крайней мере. А простреленные кишки, раны, уродства, смерти, это другое, это быль войны, это мы все знаем.

От шума голосов Дукат открыл заспанные глаза, приподняв голову, не понимая, где он и что такое?

— А мы знаем и другое, — продолжает отмахиваться от Юрко Фатьянов, — наши войска с боем заняли Перемышль, при чем отличился поручик Юрко, представленный к золотому оружию! И вот поручик Юрко едет в Петербург прельщать девченок золотым оружием, потому что вся эта офицерская форма, ордена, оружие спекулированы, в сущности, на женской психологии и с золотым оружием девчонку повалить можно куда скорее, чем без оного. Брось ты мне старые калоши заливать! На войне всё грязно, скучно, неприятно, и главное, чудовищно глупо, а в тылу всё и приятнее и, конечно, умнее потому, что там ведь и есть естественно-свойственная человеку жизнь, а здесь на войне мы живем в сплошной бессмыслице и всякий солдат это понимает, а вы, баре, приходите в восторг то от тишины леса, то от прочей ерунды, но всё это, в сущности, из-за страха, потому что вашу жизнь война у вас ежеминутно может отнять.

— Так я про то и говорю, — шумно перебивает его Юрко, — что война это великолепная школа для понимания полноценности жизни, ведь люди умеют це-

нить только то, чего лишаются, чего уже почти у них нет и этим то война и хороша, что учит по-иному видеть и ценить жизнь.

— Брось, брось нести бессмыслицу, — замахал сломанной лозой Фатьянов, — ты, говорю, живешь неестественными, наживными представлениями, вот и разводишь эту несчастную ерунду, несусветное перекобыльство! Я по крайней мере честно говорю: я, поручик Фатьянов, 457-го Кинбурнского, Господа нашего Иисуса Христа, третьеочередного полка, стою за немедленный мир, — и, обращаясь к еще ничего не понимающему, сидящему на траве с заспанной щекой Дукату, Фатьянов кричит: — Да, да, Дукат, за немедленный мир! Потому, что уроженец города Риги Даниил Эдуардович Дукат очень любит Россию, а я вот, Петр Васильевич Фатьянов, уроженец города Казани, не люблю Россию, а люблю остроумие, как сказал у богопротивного Достоевского какой-то весьма неглупый персонаж!

— Не старайтесь, Фатьянов, — с легким латышским акцентом отвечает Дукат, — мы давно знаем, что для вас России не существует.

— А что такое Россия? Скажите пожалуйста? Это же миф, Дукат, несуществующее! Что вы начнете мне из учебника энциклопедии права говорить о народе, власти, территории? Но ведь всё ж это ерунда и вздор. Вот дважды два это всегда есть четыре, нерушимо и вовеки, а Россия, сегодня она есть, а завтра ее нету, чего ж лоб-то разбивать? — и Фатьянов смеется.

— Это всё, конечно, очень замечательно, что вы говорите, — сдерживая раздражение, отвечает Дукат, но дважды два четыре меня не волнует, а вот временная Россия меня волнует, я ее люблю, а раз люблю, то и воюю за нее, вот именно: за власть, за народ, за территорию.

От немецких окопов в безоблачьи неба, в блеске солнца с гудящим звоном, высоко паря серебряной мухой, на нас наплывает аэроплан. Сев по-турецки и за-

стив ладонью глаза, капитан Лихарь глядит на него.

— Фокер, — говорит он.

Все смотрят на аэроплан. Как только он залетает за наши окопы, за лесом ухает наша пушка и недалеко от аэроплана тающим цветком вспыхивает разрыв шрапнели.

— Ну, вот, разве не зрелище! — говорит Юрко.

— Для «зрелища», погоди, он сейчас бомбу сбросит, — отвечает Фатьянов.

А серебряная муха гудит в окружающих ее всё плотнее разрывах шрапнелей. Еще один меткий разрыв, словно прямо в аппарат и вдруг, вертясь и кувыркаясь, как на тяге подбитый вальдшнеп, аэроплан падает вниз, прямо за наши окопы.

— Сбил! сбил! — радостно кричат и бегут наши солдаты. Но над самой землей кувыркающийся аппарат вдруг резко выравнивается и с густым гулом проносится над окопами, над пространством ничьей земли, скрываясь за немецкой линией.

— Ушел, стерва, — говорит тихий солдат-старовер и в тоне его спортивное сожаление; так скажет промазавший стрелок или зритель о сорвавшемся на финише скакуне.

— Хороша у него печёнка, тудыть его в душу, до чего же кувыркался, а? — смеется фельдшер Бешенов.

Я смотрю в бинокль на немецкие окопы. Меж нами расстояние с версту. Так же, как мы, они лазят там по ходам сообщения, вылезают, ходят в лес за водой, возвращаются с котелками обратно. Среди дня оттуда нет-нет да свистнет пуля, а в одном колене нашего окопа нельзя пройти: какой-то немец установил стукач и как только появляется русский, он стреляет. Отличный стрелок, вероятно, часами сидит, карауля появление нашей «движущейся мишени»; он уже ранил двух; но теперь мы углубили окоп и за стукачем он просидит зря.

IV

Бой под Клишковцами начался ураганным огнем немецкой тяжелой артиллерии. Эта подготовка к атаке осталась навсегда в моей памяти. Небо в ту ночь было так черно, будто кто-то выкрасил его тушью, а звезды были так выпуклы, будто кто-то наклеил их в черном куполе. В эту чернозолотую ночь и открылся огонь.

Он начался одиночными выстрелами по участку нашего полка, но учащался, и вскоре шелестящий визг снарядов, взрывы гранат, завыванье осколков, кряканье мин, всё слилось в сплошной перекат грома, в какое-то адово светопредставленье.

Черное пространство ничьей земли то и дело прорезалось слепящими снопами наших прожекторов, искавших атакующую пехоту; в грохочущем небе взлетали там и сям ракеты; взрывами гранат клубы дыма окрашивались в багровый цвет.

Из души выключилось всё. В окопах прижались наблюдатели; солдаты набились в землянки, в блиндажи; сидя в такой набитой солдатами землянке, я не в состоянии был ни о чем думать, я только бессмысленно внутренно повторял: «скорей бы атака... пусть наступают... всё равно... лучше рукопашная, чем этот ад...».

Особо оглушающим, рвущим барабанные перепонки, крякающим треском разворачивали землю минометы. Наши окопы разворочены ими уже в трех местах. Санитары тащили стонущих, исковерканных, окровавленных раненых, а убитые оставались в темноте на сырой земле, их только оттаскивали за ноги к сторонке, чтоб не мешали.

Так прошла ночь. Перед рассветом, под немолчный ответный гул нашей артиллерии, немцы поднялись из окопов в атаку, но нашего огневого урагана не выдержали, не дошли и посредине пространства ничьей земли, бросив у нашей проволоки своих убитых и раненых, ки-

нулись назад; и снова загремела кромешная дуэль двух артиллерий, хоть уже и стихающая.

Успокоило всех только солнце, когда оно показалось над окопами. У проволочных заграждений оно осветило убитых немцев, у нас — убитых наших. И артиллерия и пулеметы стали вдруг смолкать и смолкли. В тишине тогда началась обычная окопная жизнь и у нас и у них. Пошли к роднику за водой, в ходах сообщения пошли оправиться, задымились котелки, закурились цыгарки, кухни подвезли еду.

А когда пришла новая ночь, в полной боевой готовности мы стали ждать повторной немецкой атаки. Но ее не было. Ночь прошла только в нервной ружейной перестрелке, начинавшейся всегда одиноким выстрелом караулов. Караулы стреляли зря, от взволнованности. В темноте люди всегда неспокойны. Разорвет ночную тишину выстрел, откликнется другой, вдруг коротко застрекочет пулемет и стрельба покатится по всей темной линии, перебегая с одного полкового участка на другой, дальше и дальше, и вся ночь начнет разрываться искристыми цепочками огней, пока всех не успокоют бело-желтые ослепительные светы прожекторов и взлеты и паденья разноцветных ракет.

Но всё-таки вполне людей успокаивало всегда только солнце. Поднимаясь из желтоледяного тумана над окопами, оно разогревало тела и прогоняло у всех темные, ночные душевные страхи.

V

Обжиться человек может даже в окопах, только нет календаря и поэтому мы потеряли время. Сколько недель мы здесь? И у нас, и у немцев из окопов тонкими струйками тянутся дымки. Сидя на корточках в ходах сообщения, солдаты на потрескивающих кострах варят едово, свеже-строганными палочками помешивают в ко-

телках суп; в окопе, сидя в кружок, играют в карты, в три листика. Над нами плывут кубовые осенние тучи. Где-то идет перестрелка. Моросит дождь. Я сижу у землянки и прислушиваюсь к заунывной песне, что тихо и уныло, в три голоса поют Богачев, Мамчур и Солоха. Они поют любимую окопную солдатскую песню, сочиненную русским неизвестным солдатом. У песни нет мелодии, рифмы, солдаты поют ее на мотив «Стеньки Разина», только гораздо протяжней, унывней и медлительней.

«Хорошо тому живется — слушать ласковы слова.
Посидел бы ты в окопах, испытал бы то, что я.
Мы сидим в открытых ямах, по нас дождик моросит,
А засыпят пулеметы, так поверь, что нельзя жить...».

Слушая эту песню, я думаю, что если б в немецких окопах родилась такая же (а она, может быть, могла бы родиться и там), за нее бы отдавали под суд и она бы умерла. А у нас поют и под суд за нее никто никого не отдает.

— Да, начитаешься вот его, священного писания-то, так аж прямо волосы поднимаются, — слышу я тихий разговор Бешенова и санитара-молоканина, у которого круглое безволосое лицо младенца, — вот, к примеру, как это Господь в красном костюме-то шел...

— Да, откель это?

— Откеля? Оттеля, про грешников, из Второзакония.

И не получая ответа, молоканин опять говорит:

— Думал я вот, не сказано в писании, что, к примеру, апостолы ели, чем закусывали, всё хлеб да вода и боле ничего.

— Даа, — тянет, не найдя ответа фельдшер, — и чудное, говорю, это дело, никто вот войны не хотит, а всё воюют и отчего это пошло, а?

Тонкий визг пули с немецкой стороны разрывает денную тишину. Пуля жалобно тыкается в бруствер.

Оборвав пенье, приподнявшись из окопа, с юмористической злобой Богачев кричит:

— Что ты, немец, одурел, ядрена мать, пообедать не даешь!

— Это он с тобой здоровкается, Богачев, к обеду закуску посылает.

— Хрен с ним, товарищи. Котелок кипит, седай есть, а он пущай постреляет, — говорит Богачев и солдаты садятся вокруг котелка, вытягивая из-за голенища деревянные ложки и с вкусным присвистом отхлебывают суп. — Ешь со всем, — ловя плавающие кусочки мяса, говорит Богачев и пожевав, в раздумьи добавляет, — скоро наш полковник приедет, вот рысковый... под Тарнополем, кады прорыв делали, передом шел.

— Куда его ранило?

— Сюды... в щеку, — показывает ложкой на щеку Богачев, — я от него шагах в десяти, не боле, был. Зодорово его цапнуло, аж упал.

По ходу сообщения, пригнувшись, с офицерским обедом идут наши вестовые: рябой старик, крымский татарин, вестовой Дуката и мой Горшилин, тот, которого я тащил в бою под Млынскими хуторами, нагловатый, пронырливый солдат-горожанин.

С Дукатом мы располагаемся обедать в землянке, стульями нам служат пеньки из соседнего леса. С фельдшером Бешеновым выпиваем по рюмке водки и потеплевший Бешенов говорит:

— Дда, был вот у нас раньше в роте младший офицер, убило его, и ничего был, а не любили его солдаты, ругливый больно. А вас, господин прапорщик, вчерась сильно хвалили, простой, говорят, и веселый, ты, говорит, к нему когда не подойди, у него все одна резолюция...

Брызжа рисовой кашей, подавившись, хохочет Дукат. Но фельдшер обидчиво защищает определение моего характера. Да, оно может быть и так, я дружен с солдатами, толкую с ними о войне, политике, о земле,

об Учредительном Собрании, пишу им письма. За этим они приходят ко мне в землянку и я пишу, в точности сохраняя стиль их голоса. Начинаем мы всегда «во первых строках моего письма», а кончаем «еще кланяюсь». Из землянки эти письма уходят по всей России, полные всё тем же крестьянским волненьем: как вспахали, да как убрались, да как озимя, а последняя строка у всех одна и та же: «теперь уже недолго дожидать, должно скоро свидемся».

VI

Этой ночью крупный, широкогрудый великоросс, старший унтер-офицер Богачев (в детстве у меня были такие деревянные солдатики) пополз за проволочные заграждения осмотреть трупы убитых немцев. Назад Богачев приполз с цейссовским биноклем, походной сумкой, фляжкой и письмом, вынутым из кармана убитого. Письмо Богачев принес ко мне и солдаты сошлись послушать, что пишет домой немец. Пропотевшее, закровавленное письмо сильно пахло трупом; написанное химическим карандашом, оно расплылось от ночного дождя.

— Чего ж он пишет, немец-то? Эк письмо-то смердит.

— Ничего, ребята, не пишет, разбираю только начало, да подпись. Это ему кто-то написал, жена должно-быть. Только и видно, что «милый Карл...», а подпись «твоя...», остальное, вон, всё дождь смыл.

— А Карлу-то этого мы, стало-быть, стукнули... так... — протянул весельчак, коротенький и усатый Солоха и все с ним засмеялись. Но это смех не над сгнившим у проволочных заграждений немцем, а над самими собой, над всем *театром военных действий.*

— Богачев, уступи бинокль, сколько за него хочешь? — говорю я, прикидывая к глазам крупный цейсс.

— А черт его знает, я ими сроду не торговал, — широко показывая желтые, животные зубы, смеется Богачев. — Возьмите его так, я за войну их сотни две с немцев поснимал.

В немецкий крупный цейсс, я вижу еще яснее, как из их окопов вьются синие дымы костров, вот двое в касках выпрыгнули и побежали в лес, наверное, за водой.

Но теперь и Богачев установил в окопе автоматическое ружье. Говорит, бьет без промаха, может и не врет. И сейчас, весело изругавшись, он бросился к стукачу. Богачев не жесток, он стреляет тоже не по живым людям, а по «движущимся мишеням», как его учили еще на действительной службе. Убегая по окопу он, торопясь, перепрыгивает через свернувшихся, спящих на окопном дне солдат; с подвернутыми головами, раскинутыми руками все они похожи на мертвецов.

По ночам и я вот так перешагиваю через них, идя в обход караулов, а потом иду на участок соседней роты к прапорщику Ивановскому пить чай. Тут на стыке полка, углубив окоп, и сделав какую-то замечательную бойницу с установленным автоматическим ружьем, и устроился силач Богачев. Он провоевал три года, не ранен, не контужен. Проходя, я всегда останавливаюсь поболтать с ним. Но в эту ночь я увидал, что пренебрегая всякой опасностью, Богачев спит наверху окопа, накрывшись с головой шинелью.

«Ухарствует, хулиган», бормочу я раздраженно и, подойдя, дергаю с силой за высунувшийся из-под шинели сапог. «Что ты, очумел, Богачев!», кричу я. Но Богачев так заспал, что не поднимается. Тогда я скидываю с него шинель, но спавший в окопе Солоха проснулся.

— Убит он, — пробормотал грубо, будто в этом виноват я, и снова заснул с уроненной на грудь головой.

Сдернув шинель, я это вижу и сам. Силач убит пулей в переносье и лежит с оскаленной жалкой улыб-

кой. Стало-быть, завтра в приказе по полку будет: «старшего унтер-офицера Богачева исключить с чайного, приварочного и мыльного довольствия». И вдруг эти, показавшиеся мне живыми сапоги на мгновенье становятся страшными; но я знаю, что это проходит.

— Ночью убило? — нагнулся я к Солохе.

Он еле приоткрыл закаченные белки, бормотнул что-то невнятное без всякого чинопочитанья. Я прикрыл Богачева шинелью и пошел дальше, на участок соседней роты, к Ивановскому чай пить. В голове какие-то глупые мысли о хрупкости человеческого тела, даже вот такому, из дуба рубленому тамбовскому силачу достаточно крошечного свинца — и он лежит, без дыхания. Это быль войны, скажет Юрко. А любящий красиво выражаться, живущий в обозе второго разряда, наш начальник хозяйственной части, поручик Зотов, лодырь и запивоха, по солдатской кличке «поклонник стеклянного бога», всегда встречающий нас на отдыхе прекрасным обедом и крепчайшим бессарабским вином, за вторым мутным стаканом уж непременно говорит: «Да, друзья мои, с полей войны, если и возвращаются, то не помолодевшими».

VII

Окопная тишина, темнота, ночной ветер обдувает лицо. Спящие солдаты что-то бормочут, иногда вскрикивают, они еще воюют во сне. Но наяву воевать они уже перестали. Идя по окопу назад в землянку, я думаю о том, что теперь уже ясно, что весеннее наступление было ошибкой. Оно только раскачало и без того уж разложившийся, обессилевший фронт, он еще страшней расшатался, размяк и теперь при первом боевом усилии хаос противовоенных страстей может вылиться просто в бунт. Пусть у нас теперь есть вволю снарядов, патронов, орудий, продовольствия, всё это

на войне очень важно, но еще важней солдатское нутро, а оно уже разложилось.

В жарко натопленной землянке слабо коптит фонарь. Подложив под голову сумку с медикаментами, спит фельдшер Бешенов; свернувшись барбосом, спит мальчишка, ротная связь. Остаток ночи, устроившись возле фонаря, я читаю единственную здешнюю, забытую Юрко, засаленную и залитую похлебкой книгу стихов Сергея Городецкого:

«Стоны, звоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.

....

Стены выбелены бело.
Мать-игуменья велела,
У ворот монастыря
Не болтаться зря».

....

Стихи заставляют меня вспомнить Керенск, зеленый крутосклон с белым монастырем, цветущий яблоновый сад, вкусное чаепитие у матери-садовницы Анны, а дородная задыхающаяся мать-игуменья Олимпиада, это, конечно, именно она и приказала дочке звонаря «не болтаться зря». Так я сижу, перелистывая книжку; в землянке душно, сыро, затхло от слишком многих спящих тел, отсырелая шинель топорщится; при свете фонаря я начинаю писать письма в Россию и пишу их долго, только на рассвете выхожу в окоп умываться.

Солдаты просыпаются, почесываются от вшей, протирают заспанные глаза, кряхтят, идут к отхожему месту, а к нашим проволочным заграждениям немцы за ночь уж подтащили очередные тюки «Русского Вестника», газеты, выходящей на русском языке в Берлине.

Белесый мальчишка, связь, улыбаясь, несет мне свежий номер; газета хорошо отпечатана, слегка хромает русский язык, в ней пишут не то русские немцы,

не то какие-то мерзавцы из эмигрантов, но, в сущности, это неважно: наводка правильна и в окопах газета пользуется бурным успехом.

Собираясь кучками, выспавшиеся солдаты, сидя обнявшись, слушают, как посередь окопа грамотей читает по складам: «ми-ни-стры по-ме-щи-ки и ка-пи-та-листы оже-сто-чен-но со-про-тив-ля-ют-ся зак-лю-че-нью ми-ра...». Яд газеты отравляет именно те участки солдатских мозгов и душ, какие намечены немецким генеральным штабом и вождями коммунизма. И пусть эта газетка, хвалящая Ленина и Троцкого за миролюбие и поносящая Милюкова и Керенского, как длящих войну наймитов англо-французского капитала, пусть идет из немецких окопов. Это не играет решительно никакой роли. Солдаты верят «Русскому Вестнику» потому, что хотят этому верить, а хотят верить потому, что хотят кончать войну во что бы то ни стало. Да еще потому, что какой-то искрой души они верят в то, что *совсем скоро* вся земля будет в такой же революции и всему трудовому народу станет хорошо и свободно жить.

Фельдшер Бешенов, запыхавшись, вбегает в землянку, огляделся, нет ли кого и задыхающимся полуголосом шепчет: «Господин прапорщик, на участке... братанье». Я выбегаю, выпрыгиваю наверх окопа и вижу по всему участку полка из окопов вылезают солдаты, бегут к проволочным заграждениям, лезут через них, бегут дальше по месту боев, крови, по ничьей земле, к уже стоящей возле немецких проволочных заграждений кучке наших солдат. В подаренный Богачевым цейсс я вижу ясно и их и вылезающих из окопов немцев в стальных касках.

— Назад! — кричу я в бешенстве на двух солдат, пытающихся выпрыгнуть возле меня. Ближайший, с иссохшим скопческим лицом, смущенно засмеялся, остановился, но дальше — солдаты выпрыгивают, бегут. В пространстве ничьей земли уж толпится наших человек двести; видно, как они прикуривают у немцев, разгля-

дывают друг друга, смеются и вдруг кто-то из русских что-то закричал, заговорил, размахивая руками. Это вот и есть мир по-взводно и по-ротно из «Окопной правды» и «Русского вестника».

Но в эту пронесшуюся минуту, когда я бегу назад в землянку, к телефону, чтобы вызвать артиллерию, я испытываю вовсе непростое чувство. С одной стороны самый факт, что три года воевавшие люди, считавшие жуткое пространство между собой и немцами непроходимым, сейчас прошли его без выстрела, обратив ничью землю в зеленый луг, на котором курят, смеются, дружески объясняются жестами и с любопытством разглядывают друг друга, этот факт вовсе не прост. Я и сам чувствую, что в нем есть своя правда. В том то вся бесовщина большевизма и есть, что под этим осенним солнцем, на этом порыжелом, заплетенном проволокой лугу наши солдаты искренни и бесхитростны. И в их чувствах есть та простая сказочная русская правда о том, что людям вообще никогда не надо воевать и что земли на всех хватит и вся она Божья. Но не о Божьих землях думают редакторы «Окопной правды» и «Русского Вестника».

Полевой телефон в моей землянке крякает, гудит, я уж соединился с батареей.

— На участке второй роты Кинбурнского полка братанье, прошу немедленно открыть огонь по братающимся!

В трубке заспанный голос командира батареи.

— Изменники, сволочи... — И после молчанья: — Вы думаете, это так просто, открыть по ним огонь? У меня прислуга может не согласиться, тоже господа товарищи... — Ну, всё равно, тогда попробую сам... открою...

Я выбегаю из землянки, выпрыгиваю наверх окопа, гляжу. Теперь уже всё поле покрыто безоружными солдатами. Немцев немного, но наших — толпы, тучи. В цейсс я различаю: в руках многих русских газеты, вижу

смеющиеся лица, вижу, какой-то наш, в развевающейся по-ветру шинели, схватился бороться с немцем и, закружившись с ним, под общий хохот брякнул его, повалил на земь.

Я жду: ухнут ли орудия, поплывут ли шрапнели, чтоб прервать похабный мир? От внезапного удара орудия за лесом я вздрагиваю. Плавно, шелково свистя, через меня уходит снаряд и высоким облачком шрапнель разрывается над братающимися. От нее с поля все бросаются врассыпную. Первыми кинулись в окопы немцы, по дороге раскидывая еще неразобранные русскими газеты.

За первой шрапнелью плывут еще и еще, вот уже очередь, три белых облачка рвутся над пространством ничьей земли. Видно, командир батареи уговорил, раскачал прислугу. И на соседних участках пошла артиллерийская стрельба. Нарымцы, заамурцы, все, обгоняя друг друга, бегут назад к серой, мертвой линии своих окопов.

Солдаты моей роты уж спрыгивают. Возле меня, поскользнувшись, сорвался в окоп, присланный из расформированной петербургской гвардии, преображенец, большевик, надышавшийся смердящим распутинским воздухом столицы, и привезший его на фронт; он бешено кричит солдатам, что это я вызвал артиллерию.

— Им войны хочется..., ...их мать, им никого не жалко, им бы всех перебить, — бормочет старый казанский ополченец.

— Не навоевались... они нашего брата на дурняка взять хотят, — слышу еще злобнее.

А артиллерия всё свищет, бьет. Но вот ответная немецкая. Перелетая, несутся бризантные бомбы, с бумом поднимая черную земляную пыль. Я понимаю, немцы показывают: вот-де как по вине русских офицеров немедленный мир перешел в немедленную войну; и солдаты в нашем окопе уже шумят; оказывается, мне жалко

моих «фабрик и заводов», вот я и хочу перебить простой народ.

Когда артиллерийская дуэль стихает, я собираю солдат, я говорю им простые вещи о том, что если они вылезают из окопов добровольно, то ведь немцы-то добровольно вылезти не могут, ведь у них император Вильгельм, помещики, капиталисты и если они всё-таки вылезают, то стало-быть по приказу немецких генералов, которые только и хотят своей победы. Я говорю, может-быть, и не плохо, но меня и не слушают, потому что на русском фронте война давно бесповоротно кончена; и говоря солдатам оборонческие речи, я про себя со злостью думаю: «Да чего же смотрят глава правительства, главнокомандующий, все эти министры!? Ведь чем дольше они будут томить этих вооруженных солдат, тем злей они повернут штыки на Россию, оставшуюся позади окопов, на всех, кто покажется им виновником окопной задержки, на кого натравят их большевики».

Я взволнованно кончил. Опершись о плечи товарищей, легко выпрыгнул бывший преображенец и отвечает охрипшим митинговым голосом: — «Всё нам старые песни поете, а эти песенки мы слушали три года, только я вас спрошу, за три года сколько наших товарищей их уже не слышат? Они вот в этих окопах перебиты, а за что перебиты, скажите нам? За измену генералов Мясоедова да Сухомлинова, за измену бывшей царицы да Гришки Распутина, за то, что мы все Карпаты без винтовок излазили, за то, что нашего брата, как вшу, там губили без снарядов, а теперь вот, оказывается, вы достали снаряды, чтоб разгонять нас, когда мы, как братья, идем к нашим немецким товарищам и не хотим никакой войны. И вы, пожалуйста, нам не рассказывайте про германский штаб, потому что через эти окопы мы не к штабу в гости ходим. А вот это вы видели?» — яростно вскрикивает преображенец, перевертывая свою ладонь и показывая мне свои мозоли, — «и у них в

окопах эти мозоли есть, а мозоль мозолю брат!». — И я вижу, что он верит в это и что его нельзя разуверить, что мозоль мозолю может стать и не братом. — «Что же, у них еще нет революции, что сидит еще эта самая Вильгельма? Не усидит, не беспокойтесь!» — зловеще кричит оратор, — «также полетит, как и наш Николашка, только вы его вот не поддерживайте, этого Вильгельму-то ихнего! А вы поддерживаете, вызываете против нашего же брата артиллерию, а мы этого не допустим! Да! Вам с Милюковым да с Корниловым Дранданела нужна, а я вот критически заявляю, на хрена нам эта самая Дранданела? Нам хоть похабный, хоть деревянный, а подавай мир, вот что!».

Но и я в ярости, я кричу: — «Довольно болтать, Кривцов! Сам не знаешь, что несешь... Дранданела...».

— Я-то знаю, что несу, а вот вы-то знаете ли? — спрыгнув в окоп, угрожающе бормочет впалыми губами вспотевший преображенец-большевик.

Из окопов в землянку я ухожу подавленный одиночеством и бессильем. С каждым днем в окопах, будто на вахте океанского корабля, мы видим, как покачнувшееся судно империи дает всё больший крен, как вслед за тылом угрожающе накреняется и фронт и еще один хороший ветровой удар и всё, перевернувшись, пойдет ко дну. Но самое страшное, что не видно и дна, что всё утонет в мутной кровавой бездонности.

VIII

— Смена! — кричат солдаты, торопясь, подпоясываясь, разбирая винтовки. По ходу сообщения уже идет знакомый батальонный командир Малмыжского полка с улыбкой, говорящей: «сам знаю, что ждете не дождетесь, ну, вот мы и здесь».

Малмыжцы располагаются в окопах, землянках, блиндажах, а мы с чувством предвкушаемого наслажде-

ния отдыхом, уходим по длинным, грязным ходам сообщения. Как следует выспаться, как следует вымыться, как это хорошо! А главное, проснуться завтра не в окопе, а в хате и спросонья даже не поняв, где ты, увидеть солнце, какой-то сад, какие-то деревья и косые колеблющиеся от ветра тени на белой стене. Это и есть счастье!

Под Клишковцами квартирьеры ведут нас в ночной темноте, кто-то впереди несет смоляной факел, багрово освещающий нам путь, позванивают котелки, штыки сцепившихся винтовок; на тихих сельских улицах мы расходимся по хатам спать на лавках, на кроватях, на печах.

А на завтра, в сельской школе — в офицерском собрании уже гремит полковой оркестр. За длинными столами — полковые товарищи, оркестр глушит голоса, чоканья, звон стаканов, вилок, ножей. Хорошо быть военным, обедать под полковой оркестр, пить водку и знать, что целых две недели отдыхаешь, как хочешь!

В хате капитана Лихаря, увешанной разнотонными, пестротканными бессарабскими коврами, после обеда открывается железка. Офицеры проигрывают хрустящие бумажки свежего жалованья, пьют местное вино, курят, разговаривают о приказе верховного главнокомандующего генерала Корнилова, восстанавливающем на фронте смертную казнь, о Керенском, о надвигающемся большевизме, о разложении полка, о скором возвращении раненого командира полковника Симановского.

Среди говорящих о политике больше других горячится, обычно спокойный, толстоплечий прапорщик Дукат. Раскуривая трубку, он взволнованно ходит по хате. А за железкой в игрецкой страсти бледнеет проигрывающийся капитан Лихарь. Но вот входит улыбающийся румяный Фатьянов.

— Общий поклон, господа, руки не подаю, у меня трипер.

Фатьянов неизменно в хорошем расположении духа. Он садится между Лихарем и Юрко и, играя в карты, отрывается лишь, чтобы подсмеяться над патриотическими волнениями Дуката.

— Да, бросьте, Дукат, ваши формулы: «гибель России», — морщится Фатьянов, будто он закусил лимон, — во-первых России, вероятно, не так-то уж легко погибнуть, да и вообще, что такое за штука, эта «гибель»? Может, это даже не так уж плохо? Всё-то вы, господа-демократы, жалеете, а попробуйте не жалеть и проще думать. Я вот только и жалею, что не могу сейчас опять съездить в Хотин к девочкам, ей-Богу, — посмеивается Фатьянов, скаля ровные зубы, — и в революции, Дукат, победим мы, большевики, те, кто проще думают и ничего не жалеют.

— Нет, Фатьянов, твои большевики, конечно, сволочь, — открывая перед ним девятку говорит капитан Лихарь. Капитан улыбается, мечет банк, капитан от войны устал так же, как устали солдаты, он растерял себя по окопам, он давно уже только ловчится и ему на всё плевать: большевики, так большевики!

— Но, знаешь, этим бестиям не откажешь в переживаньице, — продолжает Лихарь, — я, вот, например, на свои деньги принципиально в карты не играю, неинтересно, играю всегда на казенные. Так вот и твои большевики. Проиграют? Труба. Зато, если выигрыш, подавай сполна наличными! И что там Дукат не толкуй, а пройтись с красной тряпкой по Европе, это тоже стоющая перспектива! — и сделав полный глоток вина, Лихарь с мечтательным озорством добавляет, — а представляю я, как рассадили бы эту старую ж..., Европу, наши «товарышшши-гражданы»!

IX

Низкорослый, на кривых ногах, в солдатской шинели, украшенной беленьким Георгием, с черной повязкой

на щеке, полковник Василий Лаврович Симановский приехал в полк, не долечившись от раны. Он принимал полк на широком лугу. Все знали о близости полковника к генералу Корнилову. Именно его назначил Корнилов в весеннем наступлении командовать Кинбурнским полком при прорыве у Тарнополя. И за этот прорыв, когда Василий Лаврович шел в атаку впереди полка и был ранен в голову, он и получил беленький крестик.

Знакомясь с новыми офицерами, полковник пытливо вглядывался в лица и говорил тем теноpисто-певучим говором, какой есть только у природных украинцев. По его приказу я сдал командование второй ротой и принял назначение полевым адъютантом. Ежедневно обходя с полковником окопы, я часто слушал его рассказы о Корнилове, перед которым полковник благоговел. А в штабе по вечерам мы обдумывали меры удержания полка от дальнейшего развала. Полковник придумал: немедленный отпуск в тыл всех замеченных в большевизме. Многие уехали. Но главный противник, унтер-офицер Хохряк, от отпуска наотрез отказался.

Рябой, скуластый, рыжий, с тяжелыми узловатыми руками и бегающими буравчиками глаз, этот переметнувшийся в большевики молодой жандарм был крайне опасен. С начала революции, учуяв правильную линию восхождения, он из тыла приехал на фронт и кинулся в самые отчаянные большевики. Из полкового комитета продвинулся в дивизионный, потом в корпусной. Всё в Хохряке говорило о нечеловеческой цепкости. В развале фронта он делал большую и страшную карьеру.

Когда на отдыхе он созвал вооруженный митинг дивизии, полковник в противовес ему вызвал корпусного комиссара социалиста Суздальцева.

У голубоватой церкви, переливаясь солдатскими папахами, колышится митинг. В ветре напружились красные полотнища с самоуком выведенными лозунгами: «Смерть буржуазее», «Да здравствуе Ленин!», «Долой войну!». И на сколоченную трибуну лезут окопники,

говоря речи одна другой злее. Но всё ж, в ожидании Суздальцева, про смерть врагам народа соловьистей всех поет Хохряк, он настраивает толпу, как рояль, рассказывая про товарищей Ленина и Троцкого, кто трудовому народу предлагают, братаясь с немцами, кончать войну.

Тревожно гудя, к поляне подъехала запыленная большая машина. Из нее выпрыгнул человек в куртке-комиссарке, с нездоровым серым лицом и выпуклыми красноватыми глазами. Это Суздальцев.

— Как настроение? — бросает комиссар, идя к трибуне.

— Горячее.

— Ну, сейчас потолкую с брательниками.

И комиссар поднимается на трибуну успокоить солдатские умы и души.

— Товарищи революционные солдаты самой свободной армии в мире, — ровно бросает Суздальцев привычное вступление, протянув над толпой правую руку. И Суздальцев заговорил и чем дольше он говорил, тем сильней разжигал в себе недюжинный талант красноречия, тем горячее захватывало его самого ораторское волнение. Но когда, кончая, напрягая голос на верхних нотах, он закричал: «...и если товарищ Керенский нам прикажет идти и умереть за нашу великую свободу...» — потрясая в воздухе винтовками, митинг животно заревел и вся бешенность солдатских страстей перехлестнула берега; в солдатском реве комиссара неслышно. Изможденный солдат с взглядом каких-то надорванных глаз, размахивая винтовкой, протяжно голосит: «Заключааааййй миииир!!!.... Сволааачь!... С бантом приехал!!!».

Побледневший Суздальцев стоит на трибуне. Мы с командиром — поодаль, у церковной ограды. «Дуралей, — бормочет сквозь сжатые зубы полковник, — по этим гадам нужна пулеметная очередь, а он запел им арию о Керенском!». И потемневшими жестокими глазами он

оглядывает стонущий митинг, от своего бессилья еще злей его ненавидя.

Вечером, в штабе полка, за ужином Суздальцев ел котлеты с помидорами, пил водку и не казался даже особенно озабоченным, а когда штабные офицеры заговорили о безнадежности общего положения, он, снисходительно улыбнувшись, проговорил:

— Преувеличиваете, господа. Помните французскую революцию? Хотите, я оживлю вам некоторые сцены сопротивления санкюлотов армиям коалиции?

И комиссар заговорил опять и было ясно, что он влюблен в свое красноречие, в свою кожаную комиссарскую куртку, а главное, в бурно разворачивающуюся революционную карьеру комиссара Суздальцева.

Возвращаясь из штаба по притаившейся в тишине улице села, белевшего лунно-освещенными хатами, я как никогда чувствовал вплотную придвинувшуюся гибель, словно ее можно было нащупать, словно она была здесь, за этими плетнями, деревьями, хатами и страшно было ощущение ее полной неустранимости. Ощупью шаря по сеням, я вошел в хату, вздул огонь и в душу ударила неожиданность. Еще в штабе я знал, что в числе дезертиров скрылся мой вестовой Горшилин, а теперь в тусклом керосиновом свете я увидел, что он взломал мой чемодан и украл всё, даже какие-то ему совершенно ненужные предметы. Я вспомнил и мое «проявление самообладанья», и как я ему «беспременно спас жизнь». А может-быть, думал я, и верно, что он упал тогда под Млынскими хуторами, чтобы сдаться в плен? Тягучую, плохоспаную ночь провел я после дивизионного митинга, ужина с комиссаром, побега вестового. Я всё лежал с открытыми глазами.

А на другой день по фронтовым проводам пробежала телеграмма: Верховный Главнокомандующий генерал Корнилов восстал против Временного Правительства, с Дикой дивизией выступив из Ставки на

Петроград, и глава Правительства Керенский объявил Верховного Главнокомандующего изменником. В первую минуту во всё это нельзя было поверить. Но поверить пришлось; и стало ясно, что роковая гибель пришла...

Дни проходили один страшнее и немее другого.

И, наконец, телеграф пронес всем, всем, всем: Временное Правительство пало, Керенский бежал и в должность Верховного Главнокомандующего вступил прапорщик Крыленко, «товарищ Абрам»...

В подошедших к окопам, смерзшихся порыжелых полях еще тянется кое-где паутина. В обуглившемся лесу пахнет сыростью и гниющей листвой. Воздух по-осеннему редкий. По утрам, освещенные холодным солнцем сливовые сады начинают курчавиться легким инеем. На широкоспинном жеребце я в последний раз еду к окопам. Неровность мерзлой дороги подведена инеем, скованная земля гулко отдает удары подков. Теперь к нашим окопам можно подъехать вплотную. Война кончена. Наши солдаты бегут из этих глинистых ям, подаваясь вглубь России на черный передел помещичьих земель.

У нашей былой землянки мне встретился Фатьянов. Кивнув на уходящих солдат, весело улыбаясь, проговорил: «Это перевертываемая рукой Ленина заключительная страница участия России в мировой войне». Фатьянов доволен, он тоже бросает фронт, уезжает в Казань.

Сидя на бруствере, в шинели внакидку, держа в левой руке пестро-красочную палитру, кудрявый художник, прапорщик Бондаренко пишет линию наших окопов, дальний лес, лиловатое небо. Он словно торопится, ибо скоро этой линии уже не будет. Вокруг стоят несколько еще не убежавших солдат, с любопытством глядя, как художник покрывает картон коричнево-лиловыми мазками.

По лесной дороге я возвращаюсь в штаб; на тугих

поводьях жеребец несет меня машистой рысью, приятно поддавая хребтом под седло. Вдыхая прелесть этого осеннего леса, я чувствую себя *потерянным в охватившем всё октябре.*

X

Лохмами белой шерсти летит мокрый снег, облепляет краснобурые нетопленые вагоны. Я лежу в углу верхних нар, в раскрытую дверь вижу бушующую бурю солдат возле поезда. Обивая с сапог налипший снег, в теплушках устраиваются фронтовики, сбрасывают вещевые мешки, отстегивают подсумки, смеются, теснятся на нарах. Винтовок, как хотели, в землю воткнуть, не воткнули, взяли с собой, пригодятся.

Наша теплушка набита свыше божеской меры. В дверях, свесив наружу ноги, плотно сжавшись, сидят окопники, крича: «Нет местов, товарищи, нет, куды на людей прешь!».

Но солдат в сбившейся на строну папахе, с винтовкой за плечом, с глазами пустыми и остановившимися, встал перед вагонами, зверски закричав: «Тебе есть, а мне нету?! Я в окопах вшей меньше твово кормил?! Кады сюды везли, находились, а теперь местов нету?!»; и он так стоверстно заматерился, что в вагоне все расхохотались: «вот эт-тык занозил!». Он лезет на людей, через тела, через головы и все понимают, что раз «слободно для всех», то и он «должон получить место».

Снег кружится крупными хлопьями, занес обледенелые рельсы, облепил теплушки, тяжелые колеса вагонов. Фронтовикам не терпится, они залезли не только на вагонные крыши, но и на тормоза, сидят даже верхом на единственной в составе нефтяной цистерне. С крыш, с цистерны, с тормазов хрипло, простуженно

угрожают машинисту: «Крутиии, Гаврилааа!», «Наварачиваааай!». Им хочется скорей вглубь взорванной распадающейся России и оттого, что поезд всё еще стоит, они срамословят, поминая Бога, душу, доску, гроб, мать; во всех них живет отчаянье дикого безудержа, которое они везут в города и деревни, с которым растекутся по всем просторам России.

Наконец, против косо несущего снег ветра, этот перегруженный, в белом снегу поезд трогается. И сидящие у раскрытых дверей сразу разноголосо запевают всё ту же любимую песню русского неизвестного солдата:

«Хорошо тому живется — слушать ласковы слова,
Посидел бы ты в окопах, испытал бы то, что я...».

Я еду в Пензу. Солдат, мой сосед, с прожелтевшим больным лицом, тронутым оспой, спит, тяжело навалившись на меня, от него пахнет самогоном. Вагоны мучительно качаются, дергаются; паровик свистит куда-то в снеговые пространства, словно зовя на помощь. Так весь день прорывается он сквозь стылые бело-полотняные снега, туда, вглубь России. А когда падает темнота, в устало мотающихся вагонах люди тяжело засыпают. И в ночной темноте поезд идет черный, невидимый, кроме озаренных паровозной топкой кочегара и машиниста.

Лежа в углу верхних нар, я не могу заснуть, думаю о том, о сем, почему то вспоминаю довоенную Пензу, как после обеда в четыре часа ежедневно гуляли пензяки по левой стороне Московской улицы. Гуляли именно по левой, а не по правой, в этом была какая-то тайна движения гуляющих пензяков. Здесь обязательно промоционивается засидевшийся губернатор, бритый балтийский немец фон-Лилиенфельдт-Тоаль, идет с палкой, находу развевая красную подкладку шинели. Тепло одетый, с квадратной бородой, в пенсне, гуляет безобидный председатель управы князь Кугу-

шев. Степенно и отдыхающе движутся дамы в каракулевых шубах, опираясь на руку мужей. Тротуар затоплен зелеными, коричневыми, синими форменными юбками гимназисток; с папками «Musique» топочат по снегу опушенными ботиками, спешат в музыкальную школу. Похулиганивают гимназисты, реалисты. Гимназисток нагоняют офицеры-драгуны в ослепительных канареечных фуражках, в длинных до пят шинелях с разрезами до талии, идут с бормотанием шпор, с громом сабель по обледенелому тротуару. Им невольно дают дорогу скромные зеленые канты землемеров, садоводов и техников; за обилие учебных заведений шутники называли Пензу «мордовскими Афинами».

С криками «Ай берегись!», гулко ударяясь передками саней о глубокие ухабы, по порыжелому иссеченному подковами снегу несутся лихачи. И шурша и колыхаясь на рессорах, с мягким грохотом катится черный лаковый куб кареты, влекомый парой разъевшихся рысаков в дышлах. Это пензенский архиерей Владимир, смоляной, огненноокий красавец, в миру гвардии поручик Путята.

У каждого квартала, на бирже, хлопая галицами и наотмашь маша рукавами, разогреваются извозчики, кричат: «Подвезу, барин!». Над Пензой рассыпается мутное розовое солнце. Из домовых труб тянутся голубые дымы. На морозе раскраснелись пензяки, отдыхают, гуляют. У реки на разметенном темнозеленом студне катка чертят лед, вальсируют конькобежцы. Далеко по льду несется вальс «На сопках Манчжурии» оркестра пехотного Венденского полка. И на гуляньи в Пензе жизнь кажется тихим, спокойным подъемом на какую-то снежную гору, у которой даже нет и вершины, и все поднимаются на нее, не спеша, оттого, что солнца и всяческого изобилия на всех хватит. Но, оказывается, всё было призрачно в той морозной, радостной Пензе — всё, кроме синего снега и розового солнца, думаю я, лежа на верхних нарах теплушки.

Поезд остановился у какой-то станции. В полуоткрытую дверь вдруг запел бабий умоляющий голос: «Христа ради, второй день стоим, пустите, солдатики, нам недалечка...». Крайний у двери солдат проснулся и высунулся, оглядывая двух платками увязанных баб.

— А вы, тетки, кто будете? Не ударницы ль от генерала Корнилова?

В вагоне захохотали и от этого хохота передняя осмелела и запросилась настойчивей.

— А ехать-то далеко? — муча бабу, спрашивал тот же крайний солдат.

Но в вагоне весело вскрикнул тенор: — Товарищи, ставлю вопрос на голосованье, пущать иль не пущать энтих дамочек?!.

— Пущать! — закричали голоса, — Я, может, четыре года бабы не видел, забыл, как она и пахнет.

В надышенную, тепловонючую теплушку солдаты втягивают двух смеющихся баб в полуподдевках, с тяжелыми мягкими узлами.

— Сюда, солдатка, лезь, к нам на полати, погреемся маленько, а то смерзлись, — потирая руки, тоненько засмеялся солдат на нарах.

Но внизу возле баб ярится втянувший их ефрейтор, тот, что «ставил вопрос на голосование»; он уж умостился с одной из них на мешке и обвив ее за шею, притянул к себе и как-бы с издевкой над бабьей беззащитностью приговаривает: «А ты не супротивляйся... ух, ты враг унутренний...».

— Ты ее, Васька, бризантным крой... она, поди, ще неучена...

— Да отчапись, ты, — вырывается баба, и по хохотку слышно, что ей и приятно и страшновато в полутемном солдатском вагоне.

Поезд пошел. В освещенную фонарями полутемноту с нар свесились солдатские головы, каждому хочется посмотреть на баб. Ефрейтор уж повалил на мешок солдатку, щупает ее, а она, выбиваясь из-под

него, и от щекотки и от стыда, и от бесстыдства заходится смехом сквозь не то рукой, не то поцелуем зажатые губы. Солдаты сползают вниз, поближе, посмотреть на свалявшихся. Но Васька затаскивает бабу под нары. Оттуда слышится возня, сопротивление, неразборчиво-приказательные бормотанья и полузаглушенный шопот и смех.

Поезд идет, свистит, кричит в темноту. Спящие на верхних нарах стонут во сне. А внизу теперь уже от кого-то другого отбивается баба, будто даже со слезой, скулит по собачьи: «...да што вы... бешеные... да, Манька, да што они...», а ей кто-то затыкает рот и опять скребутся о доски сапоги и слышится неровное дыханье и кто-то сторонний будто давится смехом.

Но вдруг темноту разодрал озверелый крик: «Не натерлись ще! Набрали б..., не нарадуются!». И от этого огненного крика всё стихло, только слышно, как на нарах, перевертываясь, умащивается разбуженный солдат.

Я заснул. На рассвете проснулся от общего шума. Поезд стоит на малом разъезде. У двери вагона баба в полуподдевке, с испугом ухватившись за тяжелый узел, вырывает его у Васьки, ненавистно крича: «Отдай! пусти! черт!». Кругом усталые зелено-желтые солдатские немытые лица. Васька с черными кольцами усиков смеется, дразнит бабу, не отдает, но вдруг, сразу сгробастав, выпихивает из вагона и бабу, и узел и кричит, хохоча: «Катись колбасой, тетка! Телеграфируй по беспроволочным проводам, что, мол, отдохнули как надо солдатики революционной армии!».

С платформы обе бабы на перебой отругиваются: «Идолы! Жеребцы стоялые! Чтоб вас под откос спустило! Черти налетные!». Солдаты бурно смеются, высовываются в дверь: «Красненькую аль синенькую за люботу-то хотела?!». — «Теперь лети, по ширинкам не засматривайся!».

Поезд пошел. Сквозь размеренный грохот колес,

издалека долетает еще неразборчивая ругань баб, опозоренных, но всё ж, наверное, довольных, что наконец-то доехали до своей станции.

Паровик свистит, пыхтит, словно у него порок сердца, словно с превеликим усилием прорывается он в сугробные пустые пространства, словно трудно ему лезть сквозь всеобщую топь вглубь России. У откаченной двери, расстегнув ворот гимнастерки и свесив одну ногу на волю, покуривает козью ножку Васька; он то сплевывает на пролетающие откосы, перелески, чащобы, поля, то вполголоса напевает что-то революционное. Он с винтовкой возвращается в деревню, злое лицо его решительно. Васька на всё готов, он поет: «...грудью проложим себе...». Я гляжу на него и думаю: вот Васька это и есть октябрьская революция.

— Помешался народ, — сокрушенно покачивая головой, откусывая сахар и прихлебывая чай из жестяной кружки, тихо говорит неподалеку от меня устроившийся тощий, квелый солдат с обтянутыми скулами, — да рази на ней, на войне-то не помешаешься?

— А давно на войне-то?

Прожевал сухарь, запил глотком чая.

— Четвертый год.

— Ты откуда будешь?

— Из-под Сызрани, — и задумчивый солдат, что-то шепча, расправляет на нарах шинель и ложится, поджимая ноги, сам с собой бормоча, — трудно оно после трех-то лет ехать... у бабы мальченка растет, четвертый год, а я его еще не повидал.

Я молчу. Я слушаю, как Васька поет: «...долго в цепях нас держали...». А мимо пролетает вся Россия: перелески, поля, лесные просеки, поймы, дороги, косогоры, займища, суходолы, шлагбаумы, будки стрелочников и баба, замотанная платком, стоит с поднятым зеленым флажком, показывая, что поезду путь свободен...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Глубокой ночью уставший поезд со скрежетом толкнулся и встал у пензенского вокзала. Я выпрыгнул из своей краснобурой теплушки: несет несусветная пурга. Плохоосвещенный вокзальный зал завален вповалку спящими солдатами. Солдаты с вещевыми мешками, узлами, окованными сундучками, спят в ожидании поездов. Стойка у буфета сворочена, бесстеклые окна заткнуты тряпками, большие искусственные пальмы, бывшие когда-то украшением зала, с переломленными листьями валяются кучей в шелухе семячек.

А вокруг вокзала — темнота, снег, моргают далекие глазки огней. На приступках крыльца меня охватила метель, приятно обмывая усталое от неумыванья лицо.

— Извозчиков нет?

— Чай видите, что нет. Откуда им быть? — пробормотал укутанный башлыком, прислонившийся к стене носильщик в нагольном полушубке и в голосе его осуждение революционных порядков.

Я двигаюсь-было в темноту, но носильщик, как сквозь сон, окликает:

— А вы не ходите, ждите кто подъедет.

— Что? Опасно что ль?

— Опасно, — передразнил, усмехнувшись, — не знаете, город разгромили? Каак? Да как громят-то,

погром был. От Московской званья не осталось, ещё спасибо мы, железнодоржники да драгуны подоспели, а то с магазинов бы на дома кинулись, — и прикрывая рот варежкой, носильщик зазевал и в зевоту произнес безразлично устало, — Ихххxи... — Он словно дремал в этой темной метели, несущейся безвластным вихрем над городом.

— Да кто ж громил-то? — допытывался я.

— Хто? Народ громил, кому ж громить, не звери из лесу... народ, вот и разнесли, — и зевая, кряхтя, носильщик пошел в вокзал греться.

Словно прорывая дыры в ткани снежной тьмы, из города доносились далекие ружейные выстрелы; и чувствовалось, зналось, что в России всё «поехало с основ», что в этой вьюге в России нет уже ничего, кроме пустоты страшной всероссийской свободы.

Из налетающей метели показался темный овал дуги и мохнатая голова лошади; скрип полозьев; и запурженный, замотанный каким-то тряпьем старичек-извозчик, подвозя солдата с винтовкой, осадил у вокзала шершавую, заиндевевшую лошаденку. Я сел в его сани, прикрыл колени полосато-пестрым рядном, с намерзшими на нем льдинками, и длинношерстая, от снега темнобелая лошадка мягко понесла сани, ухая и ныряя в невидимых ухабах. А где-то, словно рвут коленкор, стреляют; выстрелы несутся в ветреной, несопротивляющейся вьюге.

— Чего стреляют-то?

— Стреляют, — дергая вожжами, подтверждающе говорит извозчик.

Я хочу завязать с ним разговор, мне неприятно молчать в этой черной метели.

— Темнота-то какая... фонари что ль перебиты?

— А кто зныт... может попорчены... — погоняя лошаденку, зачмокал извозчик; и с Козьяго болота мы скользнули в Нагорную, мимо мелькнувшей на снегу кучки каких-то вооруженных штатских

— Охрана что ль?

Извозчик не отвечает, по-привычке чмокает, понукает лошаденку, тропотящую мелкой рысцой. И чорт его знает, может этому молчащему старику-извозчику в этой первобытной темноте разграбленного города хорошо?

В окне нашего дома я сразу, всем существом, узнаю оранжевый свет: лампу матери с светло-желтым абажуром. Наше крыльцо под круглым навесом занесено снеговым пухом. Повернувшись с козел, извозчик отстегивает рядно и, сняв галицу, протягивает за полтинником согнутую, теплую ладонь. А у нас в доме, метнувшись, в окне пробегает тень; это мать увидела, дождалась.

Визжа полозьями, извозчик отъехал, скрылся в метели. В темноте я стою один на морозной улице, у двери родного дома. На крыльце остались резко-черные следы подошедших к двери моих сапог. И в секунды ожиданья, что сейчас эта коричневая с шариками, с детства знакомая дверь откроется, в сознании почему-то молнией проносится то, что обычно называется «вся жизнь». Мне хорошо и жутко. Долго не попадая, торопясь, в замке возится, скрежещет ключ. Но вот, отваливая наметенный снег, дверь отворяется и я тут же обнимаю темное очертание что-то шепчущей, плачущей няни Анны Григорьевны, а за ней спешит мать.

II

Всё тот же старый друг семьи, томпаковый самовар, уродливо отражая наши кривоголовые лица, вздыхает всё на том же с детства знакомом столе. За чаем, несмотря на долгий путь, на страшность разгромленной Пензы, на всё захватившую над ней ледяную метель, я испытываю ту же, а может-быть даже еще более острую радость возвращения домой. Я смотрю на мать и она,

как всегда после разлуки, кажется мне в чем-то иной и в этой новизне волнующе дорогой. Я гляжу на ее родное лицо: ясная округлость лба, высоким валом взбитые русые волосы, темные пудовые глаза задумчивы, чуть грустны. Лицо очень русское, степное, дворянское. И не подумать, что у этой маленькой женщины с бледно-красивыми руками, как у многих истых русских женщин, характер совершенно бесстрашен и тверд.

Вещи, комнаты, их расположение, всё мне кажется изменившимся и от этого еще более приятным. И в то время, как я рассеянно и радостно гляжу на всё вокруг, мать рассказывает о Пензе, о наплыве фронтовиков в деревнях, о том, что везде громят, что товарища отца, нотариуса Грушецкого заживо сожгли в его именьи, что под Керенском убили знакомого молодого либерального помещика Скрипкина и для потехи затолкали труп его в бочку с кислой капустой, а после этого мужики двинулись дальше на соседнюю усадьбу Божеряновой. Но Божерянову предупредили. И так как в имении Скрипкина мужики барским кровным маткам ломами перебили хребты, а производителю-жеребцу вырезали язык, Божерянова у себя на конюшне застрелила свою любимую лошадь и потом выстрелила в себя, но себя только ранила; и когда толпа уже вбегала в парк, старый приказчик увозил из усадьбы окровавленную, ослепшую женщину.

Мать рассказывала, как в Евлашеве убили Марью Владимировну Лукину. Ее убийство евлашевские крестьяне обсуждали на сходе, выступать мог свободно каждый. Против убийства выступил Никита Федорович Сбитнёв, но большинство не захотело слушать кулака; на убийство мутил пришедший с фронта солдат Будкин. Но тогда несогласное с убийством меньшинство потребовало у общества приговор, что они в убийстве неучастники, и поднятием рук сход постановил: выдать приговор несогласным и убить старуху. И взяв колья, толпа двинулась во главе с Будкиным на усадьбу убивать

старую барыню и ее дочь, которую все село с детства полуласково-полунасмешливо называло «цыпочкой».

Как друзья ни уговаривали М. В. Лукину в эти дни разгромов и самосудов бросить Евлашево, старуха наотрез отказалась: «тут родилась, а если Бог судил, тут и умру»; и осталась в разваливающейся родовой усадьбе. Когда сельский сход голосовал ее смерть, она ужинала с дочерью, но из парка вдруг в окно забарабанила чья-то темная рука; дочь подбежала, открыла фортку, на пол упал комок бумаги, на бумаге накарябано: «бегите скорей, вас идут убивать», и от темного окна какой-то мальченка кинулся бегом по сугробам. Но сырая старуха успела добежать только до каретника; их учуяли бросившиеся за ними крестьянские собаки, а за собаками набежала и темная толпа с кольями. Марию Владимировну убили, вероятно, первым же ударом кола, с «цыпочкой» же случилось чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сетер; из последних сил девушка подползла к матери, но увидав, что мать мертва, поползла дальше из сожженной усадьбы; ирландский сетер шел за ней, он и спас ее, когда она, не доползши до хутора Сбитневых, потеряла сознание; сетер бросился к избе, скребся, лаял и вышедшие Сбитневы подобрали «цыпочку» и отвезли в Саранскую больницу.

Уж давно потух наш томпаковый самовар, по подоконникам воровски вползает холодноватый рассвет. Анна Григорьевна уснула на диване, а я всё слушаю рассказы матери. Она рассказывает, как громили наше имение, как после разгрома Лукиных, конопатские пришли на усадьбу к няне Анне Григорьевне с тем, что возьмут имение в охрану, хлеб свезут в общество «под ярлык до Учредительного Собрания», а на скот установят цену и купят его обязательно под расписку, чтоб никто, даже само это Учредительное Собрание, не имело бы права, в случае чего, отобрать назад. Анна Григорьевна на всё соглашалась. И конопатские начали перего-

нять скотину, как вдруг на дороге показались евлашевские, а из-за лесу, с другой стороны, выбежали смольковские. На усадьбе началось кромешное светопредставление. Евлашевские кричат конопатским, что те разворовывают «народное достояние», конопатские отвечают, что в Евлашеве они с своей Лукиншей расчитались, а эта усадьба причитается конопатским, и они хотят свое добром взять. Но и евлашевские и смольковские требуют и тут своей доли. И вдруг какой-то мальченка, вероятно, от удовольствия общей свары запустил кирпичем в окно и от этого стеклянного дребезга толпа всех трех сел рванулась и пошло! Выбили окна, высадили двери, тащили, кто кресло, кто посуду, кто стулья, кто диван. Бабы поволокли ковры, портьеры, гардины, тут же на лугу рвали их, чтобы всем вышло поровну; какой-то евлашевский парень топором рубил медные тазы, каждому со смехом раскидывая по куску. В усадьбу понаехали с подводами, каждый торопится побольше забрать народного достояния. Беременная, насносях, баба, на себе утащила входную дубовую дверь. Разгул расходился всё безудержней. Но кто-то, разлив в кладовой керосин, поджег его и выстоявший дом запылал, как свеча. За домом подожгли службы, ометы соломы, сена. Пленные немцы недоумевали, зачем же жгут? Лучше бы взяли и увезли к себе? Но этого им так никто и не мог объяснить. И скоро от отпылавшей усадьбы остался только чугунный локомобиль на снежном бугре, да пожарище головней. Анне Григорьевне же дали лошадь и дровни, чтоб уезжала по-добру, по-здорову.

Уже после разгрома, на третий день, мать не без страха, но всё ж решила ехать в Конопать, думая, что среди вещей, сложенных у учительницы, может-быть уцелело самое дорогое: письма мужа, отца, семейные фотографии. Въехав в село, еще издали она увидала у церкви свой зеленый полукруглый александровский диван красного дерева и на нем весело игравших ребятишек. Неподалеку прямо в снег свалена библиотека с

сверху разлетевшимся собранием сочинений Льва Толстого в красных кожаных переплетах. А на церковной паперти запертый замками длинный кованый коник, который конопатский сход постановил не взламывать, а, предполагая в нем большие богатства, перенести в церковь и потом разделить всё поровну, по-божески, всем селом.

Учительница Марфа Семеновна, одинокое жалкое существо, увидав мать, залилась слезами. Ночь у нее мать провела страшную, потому что, узнав о приезде барыни, еще до рассвета к училищу шумящей толпой стали сходиться мужики. Мать с волнением прислушивалась к их голосам, они о чем-то спорили, была даже как бы драка, а чуть забрезжило, все ввалились в училище и тут мать поняла, чего они всю ночь дожидались.

Пегобородый, с выкатившимся острым брюхом, хозяйственный крестьянин Иван Лихов заговорил первым. Он сказал, что они, Господи упаси, не хотят никакого самоуправства, что это их попутали евлашевские, а они хотят, чтоб всё было похорошему. Хлеб, как сказали, берут обществом под ярлык до Учредительного Собрания, как оно решит, так тому и быть, а всю пригнанную скотину хотят купить и обязательно под расписку. Мать стояла ошеломленная, но как ни отказывалась и ни разъясняла, что никакой купли-продажи быть уже не может, взяли всё ну, и Бог с ними, мужики только сильней и недоверчивей настаивали и вокруг матери поднялся такой настоятельный шум, что на требуемую ими куплю-продажу матери приходилось согласиться. Цену крестьяне назначали сами, но деньги заставляли брать мать и непременно тут же давать каждому расписку. И чем дальше всё это шло, тем азартнее становились покупатели, отпихивая друг друга, ударяя по ладоням, матерясь, готовые вот-вот схватить друг друга подгрудки.

Истомленная мать пыталась-было уйти в комнату Марфы Семеновны, но и туда за ней ворвался осипший,

замухортый Федор Колоднев и с разбегу упав в ноги, скороговоркой заголосил: «Барыня, милостивая, будьте благодетельницей, не оставьте, бедный я, вдовый, четверо ребятенков, а коровы нет, выбрал я буресую, а Пашка Воробьев на нее зарится, а он богатый, пусть уж ваша милость будет, поддержите вы меня, ради Христа...». И Колоднев был счастлив большим человеческим счастьем, когда, при поддержке матери, повел в свою половню корову-ведерницу.

Так до утра проговорили мы с матерью. Когда уже в просветлевшей комнате, где я спал еще ребенком, я задернул занавес, отчего комната, как всегда, наполнилась синеватым светом, я легши на диван, заснуть уж не мог. Не удавалось словить и осилить сон, он всё выскальзывал, и с закрытыми глазами я видел то безгласного старика-извозчика, то рыжего Хохряка, рухнувший фронт, поезд с бабами и ефрейтора Ваську, то евлашевских убийц старухи Лукиной, то упавшего в ноги матери Колоднева, то петербургских матросов, заколовших Шингарева и Кокошкина, и всё смешивалось в какое-то осязание страшного кровавого потопа, в котором уничтожается всё.

В голову пришло воспоминание из далекого детства. Мне десять лет, я отыграл в разбойники с сверстниками, крестьянскими мальчиками, и мы сидим на закате у берега нашего пруда. Вихрастый Канорка, в красноватой домотканной рубахе на одной медной пуговице, держит в руках свою босую ногу с огрубелой, словно крокодиловой ступней и выковыривает из нее занозу: хриплым баском он рассказывает, что будет время, когда всех «господов» начнут душить. Мне неприятен Каноркин рассказ; я не понимаю, почему может прийти такое время? И я перебиваю его, что всё это глупости и никогда ничего этого не будет.

— Кто ж будет душить? Ну, скажи, кто?

— Бог зачнет господов душить, вот кто! Кады страшный суд придет! — шепеляво кричит Канорка.

— Да это совсем другое, — говорю я, — это только грешников!

Но Мелеха, Ефимка, все, кроме болезненного Пантелея, согласны с Каноркой.

— Кады их душить будут, мы, Канорка, тоже к ним придем, — азартно поддерживает Канорку цыганенок Мелеха, — самовар отымем, в пруд закинем и картуз с тебя сымем, — с жадным озорством поглядывает он на мой жокейский картузик с пуговицей на макушке.

И хоть я не верю, что они когда-нибудь придут, но всё же ощущаю у пруда какое-то боязное чувство, оттого, что нас с братом двое, а их, крестьянских мальчиков, так много; и я еще горячей кричу, что всё это глупости, а если они и придут, то я перестреляю их из монте-криста!

Лежа на диване, я вслух шепчу: «а ведь пришли и не только отнимают картузик, а и убивают за него; это вот и есть страшный суд над господами». И я чувствую, что засыпаю.

III

После разлуки есть наслаждение не только во встрече с любимыми людьми, но и с любимыми местами. Я по-особому волновался, когда вышел из дома посмотреть на свою Пензу. Дошел до Московской улицы, она неузнаваема. Как по всей России, тротуары по щиколодку залузганы шелухой семячек, от них снег грязносерый, окна и двери разгромленных магазинов забиты досками. Все наводнено проезжающими, бегущими с фронта солдатами, они, никому не сторонясь, идут по тротуарам, по снегу мостовой, вооруженные, в шинелях нараспашку, внакидку, без погон, без поясов, сплевывают на сторону подсолнухи; едут на извозчиках пьяные, расхлястанные, с винтовками на коленях и дико

поют какую-то азиатчину. На базарной площади они самосудом убили проезжавшего с фронта неизвестного штабс-капитана, только за то, что тот не снял еще золотые офицерские погоны, эту самую лютую, самую жгучую солдатскую ненависть, и, связав ему ноги веревкой, протащили его голый труп по улицам Пензы. «Пенза страшна, как страшна вся Россия», думаю я, идя в толпе солдат по Московской.

Но мне странно, что во всей этой низменной, всезатопляющей мерзости в то же время и я ощущаю какое-то своеобразное величие. «Это, вероятно, и есть трагическое величие революций», думаю я.

К вечеру к нам пришла Наталья Владимировна Лукина, «цыпочка». Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно, страдальчески улыбалась. Но как это ни противоестественно, к убившим ее мать и недобившим ее мужикам она не чувствовала ненависти. Со слезами тихо говорила:

— Ну, звери, просто звери... а вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог...

— Да это они испугались, что им за вас придется отвечать!

— Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это, правда, они жалели меня, — и Наталья Владимировна плачет, поникая забинтованной головой.

В эти же дни с отрядом какой-то отчаянной молодежи по пензенскому уезду поскакала верхом вернувшаяся с фронта девица Марья Владиславовна Лысова, будущая известная белая террористка Захарченко-Шульц, поджогами сел мстя крестьянам за убийства помещиков и разгромы имений. И в эти же дни пензяки узнали, что наш гимназист Михаил Тухачевский, бежавший из немецкого плена лейб-гвардии поручик, по-

шел в Москве на службу к большевикам. Это было воспринято, как измена. Так незаметно начиналась русская гражданская война.

В сочельник у меня за ужином собрались друзья-офицеры обсудить, как сорганизоваться для вооруженного восстания в Пензе. В разгар ужина в прихожей раздался звонок и я неожиданно услыхал невнятно-сиповатый голос прапорщика Крутицкого. Что за наваждение? Наш фронтовой сапер, мастер постройки землянок и блиндажей? Действительно, он, пролетарий, ширококостный, с белесыми усами, сын уральского рабочего, приехал ко мне прямо из окопов. За общим ужином Крутицкий долго рассказывал о последних днях Кинбурнского полка, как командир уехал с фронта в Полтаву на полковых лошадях, как разбегались кто куда полковые товарищи. Но под рассказами я чувствовал, что белоусый начальник саперной команды приехал ко мне неспроста; и действительно, когда все ушли, он как бы невзначай обронил:

— Я тебе от Василия Лавровича письмо привез, да не знаю, что от него осталось, оно в сапоге, а я их две недели не снимал.

С трудом я стащил с Крутицкого словно примерзший сапог и с трудом прочел истоптанное, пропотевшее письмо командира. Полковник писал: «Корнилов на Дону, я еду туда, приезжайте немедленно, собрав возможно больше друзей, а оттуда мы уж двинемся на север...».

— Он тебя обязательно ждет, — проговорил Крутицкий, — будет организовывать полк, поднимут казаков и айда на Москву! Так и сказал: передайте Гулю, что первыми войдем в Москву и наш полк будет охранять Учредительное Собрание.

В ту же ночь Крутицкий уехал глубже к Москве по тайным поручениям командира, а я и брат, приморский драгун, стали обдумывать предложение полковника. Но обдумывали недолго: мне двадцать два, брату двадцать три года, мы едем к Корнилову на вооруженную борьбу

с большевиками за Всероссийское Учредительное Собрание; и с нами едут четверо товарищей-офицеров.

Липовые солдатские документы, вещевые мешки, всё достали и на третий день Рождества мать, надевая на меня ладанку и крестя частым крестом, беззвучно плакала в страшной боязни вечного расставания. Я уже вышел на улицу, а всё еще чувствую на щеках ее слезы. Полувысунувшись из двери, мать с трудом выговаривает какие-то последние взволнованные наказы и благословения. На всю жизнь я запомнил выражение ее лица с сияющими от слез глазами и этот зимний синеватый вечер, в который я опять уходил из родного дома.

По обмерзлому тротуару круто и однотонно скрипят сапоги. Мы идем гуськом на расстоянии шагов пятидесяти. «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер на всем Божьем свете...»

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Над казачьей столицей горит золотом шапка собора. На улицах Новочеркасска в ту зиму были особенно хороши тополя в опушке голубоватого инея. Они стояли, словно солнечная декорация, а может-быть это мне так казалось. Всё мне тогда на Дону показалось радостным.

Шелестя по снегу, несутся военные автомобили, мелькая генералами. Рысят на золотистых дончаках отряды казаков; звякая бубенчиками, скользят извозчичьи сани и в франтовских сапогах, с песней, проходят юнкера: «Так, за Корнилова, за родину, за веру!»

На тротуарах трудно разойтись. Пестрота красных лампасов, разноцветные околыши и тульи кавалеристов, белые платки сестер милосердия, аршинные мохнатые папахи текинцев. На домах плакаты Добровольческой армии и партизанских отрядов. В этой морозной бодрости столица Всевеликого Дона, Новочеркасск, как военый лагерь. И только изредка среди офицерских бекеш и шинелей попадется проезжающий с фронта, растерзанный солдат, бросающий волчьи взгляды на обилие золотых погон; но тут их не сорвешь, это не Москва или Петербург, это готовящаяся к сопротивлению красным столицам — Русская Вандея.

Радостно и бездельно идя по Новочеркасску, мы заходим в полный молящимися собор. Ближе к алтарю в окружении офицеров, на коленях молится седоусый генерал, в очках, с лицом простого русского солдата;

это бывший начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал М. В. Алексеев. И тут же на паперти я неожиданно встречаюсь с командиром, полковником В. Л. Симановским. Мы оба обрадованы. Но я удивлен неопределенно-тревожной переменой в полковнике: лицо дергается, говорит судорожно; я вижу, что развал фронта обошелся полковнику дорого.

На утро мы подходим к особняку, где у парадных дверей стоит розовощекий семнадцатилетний юнкер с винтовкой у ноги и делает свое лицо ребенка необычайно воинственным и суровым. Он доложил о нас караульному начальнику и мы поднимаемся по ковровой лестнице наверх, где в небольшой комнате оба красивые, оба в коричневых френчах, прапорщик-женщина и прапорщик-мужчина записывают добровольцев.

После записи гвардии-полковник Пронский обращается к нам с речью. Малорослый, с застывшей в лице петербургской брезгливостью, с пробором, расщепившим голову от лба до затылка, полковник чуть-чуть пренебрежителен и чуть-чуть аристократически-невежлив. Картавя и не по-русски, а по-петербургски, на иностранный манер, растягивая слова, он говорит:

— Поступая в нашу (ударяет на этом слове полковник) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь «рабоче-крестьянская», а офицерская армия...

Я гляжу на его шевровые узкие, как чулки, сапоги, на золотое кольцо на бледном дворянском пальце, на колодку орденов над карманом хорошо сшитого френча и с чувством подлинной горечи думаю: «так неужели ж он не хочет, чтоб наша армия стала, действительно, рабоче-крестьянской?» И в первую ночь в общежитии добровольцев мне не спится не только от этой речи, но еще и оттого, что сюда на Дон, на эти железные койки, с риском для жизни пробралось со всей России нас всего человек четыреста молодежи. И вот мы, эти двад-

цатилетние мальчики, мечтающие ввести всероссийский потоп в государственные берега, должны противостать миллионной обольшевиченной России.

II

На Ростов и Новочеркасск большевики наступают массами. Ими командует, когда-то бывший офицером, большевик Антонов-Овсеенко, в октябре с матросами взявший штурмом Зимний Дворец. У него отряды Сиверса, Саблина, Пугачевского, красные казаки Голубова и Подтелкова, их десятки тысяч. И красное кольцо готово сомкнуться, раздавив нас. Внутри этого кольца мы на последнем острове белой России, нас всего до двух тысяч штыков и сабель.

Партизанский отряд полковника Симановского идет во взводной колонне, нас перебрасывают с «новочеркасского» фронта на «таганрогский». Мы проходим по залитому огнями веселых кофеен вечернему Ростову; какие-то штатские в кофейнях пьют, читают газеты; улыбающиеся женщины отпивают из плоских чашек шоколад, с ними сидят, нежелающие воевать, щегольски одетые офицеры.

Мы проходим с песней о Корнилове:

«Как белый лебедь, полный гордости,
Так дух спокоен твой и смел!
Ведь имя Лавра и Георгия
Героя битв и смелых дел!».

На тротуаре, глядя на нас, прохожие останавливаются; извозчики торопливо сворачивают с мостовой. Уже поздняя ночь. Ростовский вокзал полутемен, душен, нелюдим. Холод, грязь, сырость. Ожидая состава, отряд стоит на платформе, все опираются на винтовки, молчат, курят.

— Князь! Наурскую! — закричали голоса; и отрядники расступаются кру́гом, поют, хлопая в ладоши,

вызывая ротного командира, мингрельца князя Чичуа. Легкий, красивый, он, улыбаясь, передает винтовку и плавной лезгинкой идет по расступившемуся кругу. В певучем гаме аккомпанимента, в хлопаньи ладоней танцор музыкально взмахивает руками, как умеют взмахивать только горцы, и когтит грязную платформу носками сапог до тех пор, пока из темноты, шипя и заглушая танец, на нас не надвигается красноглазый паровоз.

Один за другим мы лезем в темные вагоны. У нашего окна молоденькая женщина с бессильным красивым лицом плачет, обнимая поручика Тряпкина. Он ее целует, а она всё что-то украдкой шепчет ему и крестит его частым крестом.

В вагонах нетоплено, не попадает зуб на зуб. Держа меж колен винтовки, отрядники полудремлят, полуспят. Тусклый свет вагонного фонаря тоскливо качается по стенам, окнам, лавкам. Откуда-то сквозь поездной грохот доносится военная песня. Поезд гремит, шумит, увозя нас в ночную мокрую, снежную темноту.

На рассвете в узких вагонных окнах рождаются первые видения далеких ледяных полей. Спящие очертания отрядников начинают сереть. Поезд останавливается с толчком, одна минута проходит в полной тишине, потом кто-то длинно, с отчаяньем кричит:

— Вы-ле-зай!

Люди не торопятся, потягиваются, позевывают, именно сейчас всем и хочется спать. Гремя винтовками, задевая штыками за двери и притолки вагонов, отрядники выходят и спрыгивают со ступенек в неприятную холодную полутемноту какого-то полустанка. Это и есть «фронт»: тоскливая русская железнодорожная станция с черной надписью «Хопры». По путям бродят, такие же как мы усталые, прапорщики и юнкера в башлыках, с винтовками.

— Наконец-то приехали, а то хоть пропадай, две недели не спим, — со злобой говорит, стоя на рельсе,

юнкер с запущенными волосами, со смятым невыспавшимся лицом.

Под ногами и снег и грязь. Глубоко пробивая осевшие сугробы, с теплушек капает частая капель. Мы перебираемся в теплушки и становимся тут резервом этого участка фронта, которым командует решительный гвардии-полковник Кутепов, широкоплечий, с темной квадратной бородой.

Пока Симановский разговаривает с Кутеповым о «положении на фронте», мы в холодной теплушке готовимся к нашей единственной радости: в почернелом жестяном чайнике, вечном нашем спутнике, кипятим чай и, споласкивая ржавые жестяные кружки, рассаживаемся кругом: я, брат, капитан Садовень, поручик Злобин, прапорщик Покровский.

Подпрыгнув и подтянувшись на руках, в теплушку влезает юнкер Сомов и, ежась от холода, присаживаясь на корточках к чайнику, говорит:

— Там на станции большевистская сестра милосердия пленная и два латыша. Вот стерва! Латышей наши стали бить, так защищает их, бросается, а нашего раненого отказалась перевязать, я, говорит, убежденная большевичка, я белых не перевязываю.

Сидя у двери, я вижу, как из соседнего вагона выпрыгнул князь Чичуа, с кем-то шумно спорит, побежал и, увидев меня, на-бегу кричит: «Идемте! Там пленных хотят убить!»

Я выпрыгнул, бегу. На талых грязных путях, около теплушки с арестованными, караул сопротивляется нашим трем офицерам и нескольким солдатам-корниловцам, которые с винтовками лезут к вагону, впереди всех поручик Тряпкин.

— Да пусти, отворяй! — вскрикивает он, силясь отпихнуть караульных.

— Что вы, красноармейцы иль офицеры? — кидается к Тряпкину князь Чичуа.

— А что-ж? Разводы разводить? Да? Они с нами как расправляются? — наступает на князя юный, бледный юнкер с воспаленными широкими глазами.

— Да ведь это ж женщина и пленная! — вмешиваюсь я.

— Женщина! А что ж что она женщина? Вы видели какая это сволочь? Это ж чекистка, чорт, она своей рукой расстреляет нас с вами и не моргнет!

Шум и крики разгорались. Возле вагона началась давка, борьба, как вдруг на рельсах появилась быстрая, кривоногая фигура полковника Симановского и резким тенором Василий Лаврович закричал:

— А ну-ка, господа офицеры, немедленно разойтись!

Тряпкин шел от вагонов хмурый, шепотом ругался матерно: «Всё равно заколю...». И глядя на его потемневшее лицо с тяжелой отпадающей челюстью и крошечными мышиными глазками, ушедшими под череп, я вспомнил, как целовала и крестила его кроткая женщина с бессильным лицом.

В это время, пробивая подковами талый, разъезженый снег чернопегого размокшего станционного двора, к станции подъехал отряд казаков. С разнообразным оружием, на разномастных конях казаки напоминали ватаги Степана Разина. Впереди на подбористом золотистом коне, в кавалерийском седле, с мундштуками, ехал старый казак с бородой по пояс.

— Откуда конь-то такой, станичник?

— Большевицкай, отбили, — проговорил старик, и, молодо спрыгнув с коня, подвел привязать его к изгороди.

Казаки спешивались, привязывали к станционному красному забору коней. И все обступили отбитого у большевиков сухоногого, жилистого англичанина. Наперебой крича, казаки рассказывали, как захватили большевистский разъезд. И от их криков тонкокровный

скакун, оказавшийся казачьей добычей, боченится и перебирает ногами.

— Да, на что он тебе? Отдай молодому! Всё равно продашь! — нападают на старика молодые. Но старику жаль уступать англичанина. Мозолистой ладонью похлопывая его то по крупу, то по шее, он отнекивается. И вдруг вскидывая головой, взмахивая руками, не вытерпев, ругается на молодых, чтобы отстали.

Среди колготящихся казаков я заметил у изгороди прислонившегося, рослого черноусого солдата с необыкновенно землистым, чуть скошенным насторону, лицом. Солдат стоял, не вмешиваясь в общий шум. Казаки забыли о пленном. И, наконец, не выдержав ожидания, он дернул за кафтан крайнего, тихо проговорив:

— Куда же мне-то?

Усатый казак недовольно обернулся.

— Постой... эй, ребята, отведите-ка пленного к начальнику. Ведерников, — сказал он низкорослому казаку с выбившимся из-под папахи чубом, — отведи ты! — И казак снова с азартом вошел в общий галдеж вокруг бренчащего мундштуками, боченящегося коня.

Нехотя выйдя из толпы, казак Ведерников махнул пленному и солдат, находу оправляя шинель и подтягивая пояс, пошел за ним. Я остался возле коня, в казачьей толпе. Спор о коне готов был перейти уже в драку, как вдруг сзади я услыхал голоса: «Поймали одного... сейчас расстреливать...» Я обернулся: по пестро-снежным, грязным шпалам солдаты-корниловцы с винтовками вели черноусого солдата и лицо его словно еще землистей, словно ушла уже из него вся кровь; голова опущена в землю, он глядит на рельсы, на лужи, на свои загрязненные сапоги; а из теплушки выпрыгивают, бегут смотреть как будут расстреливать.

Солдата свели с железно-дорожной насыпи в поле. Вскоре раздался выстрел, один, другой, третий и всё стихло. Все ходившие смотреть идут назад, а там на снегу осталось что-то белокрасное.

В наш вагон впрыгнул юнкер Сомов, на юном лице плавает странная улыбка.

— Расстреляли, ох неприятная штука, всё твердит: «за что ж, братцы», а ему — «ну-ну, раздевайся, снимай сапоги». Сел он на снег сапоги снимать, снял один, «братцы, говорит, у меня мать старуха, пожалейте ее!», а этот курносый солдат-корниловец, «эх, говорит, да у него и сапоги-то каши просят!» и раз его прямо в шею, кровь так и брызнула.

Пошел снег, стал засыпать пути, вагоны, расстрелянное тело. Мы сидели в вагоне, пили чай.

— А что ж вы хотите? Что у нас тыл что-ли есть, «лагеря для военно-пленных»? — горячится в вагоне курчавоволосый, как негр, поручик Злобин. — Гражданская война, это не внешняя, тут тыла нет, тут везде фронт, я ли, он ли, а раз сдался в плен, стало-быть «в расход», играй в ящик.

— Вы к ним, к красным, попадитесь, — с хрустом перекусив кусок сахара, усмехается капитан Садовень, — они нам сначала на плечах погоны вырезают, потом на лбу кокарду выбивают, потом пулю в затылок и полуживьем в землю.

— Да-с, гражданская война, дело сурьезное, тут отец дьякон ставь деньги на кон, тут «нервов» не полагается, — затягиваясь папиросой, смеется незнакомый мне прапорщик и от его папиросы тянется длинный синий дым.

Я отпиваю чай, жую черный сухарь и, глядя на ровно летящий мимо вагонной двери снег, думаю о том, что эти крестьянские трупы загородят нам все дороги и с гвардии-полковником Кутеповым мы именно поэтому не дойдем не только уж до Московского Кремля, а, может быть, даже и до ближайшей деревни. Черноусый солдат стоял передо мной, это с ними я ел из одного котелка, сидел в окопах, с ними был в боях. Я думаю, русскому убивать русского тяжело потому, что мы люди одной

утробы и единой судьбы; а мне, чувствую я, убивать своего — не под силу.

III

У колонн прекрасного Парамоновского дворца в Ростове, у штаба армии, стоит караульный кавалерист в зеленом бушлате, в мягких гусарских сапогах, с винтовкой в руках; у кавалериста удлиненное, породистое лицо; он устал от стойки, переминается.

Когда я обвязанный бинтами, с обмороженным лицом, в смерзшихся сапогах и холодной шинели подхожу ко дворцу, кавалерист не без грубости спрашивает, кто я такой и что мне надо? На его теплый бушлат, на вырывающиеся из-под него малиновые чикчиры с серебряным позументом, я гляжу неприязненно, я говорю, что по приказу начальника партизанского отряда приехал с личным докладом главнокомандующему генералу Корнилову и мимо корнета прохожу во дворец, сразу попадая в колонный зал.

Здесь всё шумит от гула голосов, военных шагов, звона шпор. Зал полон офицерами в блестящих формах; тут — центр быховских узников, участников заговора и восстания Корнилова. Посреди зала, окруженный офицерами, полноватый генерал А. И. Деникин с клинушком седой бородки, в синем штатском костюме похожий больше на доброго буржуа, чем на боевого генерала; с ним говорит болезненно-худой генерал Марков; в темном френче, надменный, прохаживается генерал Романовский, разговаривая с небезызвестным членом Государственной Думы Аладьиным, почему-то одетым в форму английского офицера; ходят какие-то штатские, журналист Суворин, матрос Федор Баткин. А перед кабинетом главнокомандующего, как статуя, в черной аршинной папахе замер темнокожий текинец.

Адъютант Корнилова, подпоручик Долинский, от-

крывает мне дверь. Корнилов — за письменным столом. Он протягивает маленькую, словно юношескую, желтую сухую руку. Я вижу его впервые. Корнилов щуплый, с монгольским лицом, с монгольской жидкой бородкой, узкие, горячие, «неевропейские» глаза разрезаны накосо; штатский костюм сидит на генерале мешковато; и странно, голос у Корнилова глубокий бас, совершенно неидущий к его почти хрупкому телу.

По мере чтения доклада полковника Симановского на желтом лице генерала гневно сдвигаются скулы, монгольские глаза темнеют и бледная рука, с массивным золотым перстнем на мизинце, вздрагивает; и вдруг, отбросив донесение, Корнилов вскрикивает:

— Как? Не получали ни консервов и ничего теплого?

Я еле поспеваю за генералом через освещенный верхним светом прекрасный зал Парамоновского дворца, где при появлении главнокомандующего сидевшие с шумом вскочили, шедшие остановились, всё замерло; только я иду за Корниловым и мне приятно слышны его резкие шаги и мои, за ним.

Мы вошли в кабинет какого-то безнадежно жалкого генеральчика с заросшей волосами зашеиной. Корнилов бросил перед ним на стол донесение Симановского и резко сказал: «Выслушайте, генерал, что вам доложит офицер отряда полковника Симановского!».

Шумно бросив дверь, главнокомандующий вышел; и снова в колонном зале как вросли в паркет, шедшие с клекотом шпор, рослые гвардейцы, цветные гусары, женщины-прапорщики, круто остриженные под мальчишек, и текинцы, перетянутые узкими ремешками.

IV

На горсть белых русских юношей под командованием верховного главнокомандующего российских армий, на Ростов наседают красные. День ото дня белый

остров суживается. Одна за другой падают окрестные станции и станицы. По окраинам, с Батайска, красные бьют уже тяжелыми. В Ростове дышит томительная тревога. Так, в ожидании грозы притихает сад. И обыватель чувствует, что победа красных бесповоротна; в рабочих предместьях уже гудит подымающееся восстание.

После боев под Хопрами и Чалтырем обессиленный отряд полковника Симановского перекинут на отдых в Ростов. Но в первую же ночь, когда мы, наконец, заснули на кроватях, в казарму кто-то вбежал и, задохнувшись, закричал: «Красные под Ростовом!».

Перервав сон, зевая, мы одеваемся, подвязываем подсумки, разбираем винтовки, стволы их тревожно холодят пальцы. До казарм уж доносится гул артиллерийского боя. Поднимая снежно-земляную пыль, на дворе уже начали рваться снаряды. Отрядники молчат. Это жуткая тишина. Все понимают, что белый остров уже захлестнут, что это конец. В казарму торопливо вошел полковник Симановский, под канонаду опоясавшую город, он читает приказ генерала Корнилова: «...оставляем Ростов и уходим в степи...».

Темно. Снежно. В боевой готовности отряд стоит на дворе вооруженной толпой. Вместе с нами в солдатских шинелях, в папахах две восемнадцатилетние девушки, Варя Васильева и Таня Кунделекова, наши сестры милосердия, в боях лазившие с нами по сугробам под Чалтырем, оттиравшие обмороженных под Хопрами, перевязывавшие под огнем наших раненых, спавшие с нами в холодных теплушках.

— Вот, посоветуйте, идти нам с вами в степи иль оставаться? Мама умоляет остаться, а мы с Таней хотим идти.

Я им советую остаться.

— Вы подумайте, куда мы идем? В степи? Где они? Дойдем ли мы до них? Может быть нас тут еще в Рос-

тове в первом же переулке красные встретят пулеметами?

— Ну, а вы? Вы же идете? И мы пойдем с вами, — упорно повторяет Варя и темнокожая, как турчанка, Таня поддерживает ее.

В ночной темноте отряд молча строится, чтоб уносить белый остров в неизвестные степи. На левом фланге отряда, с медицинскими сумками за плечами, в шинелях, в папахах, в строй входят Таня и Варя; их никто не смог отговорить.

Отряд тронулся со двора: говорить, курить запрещено. Состояние страшное, чудится, что пропало всё: и Россия, и жизнь, а смерть где-то за плечом, близко и жить уж недолго.

В дверях плачут наши казарменные судомойки, кухарки: «миленькие, да куда ж вы... перебьют вас всех... Господи...».

В снежной темноте мокро желтеют городские фонари; немая чернота домов, пустоты улиц, всё это теперь уж чужое, их, а не наше. Совсем негромко отбивается шаг; на улицах попадаются какие-то зловещие очертания людей, спрашивают: «кто идет? кто вы?». Мы молчим. «Ааа, давно заждались вас, товарищи», тихо говорит голос из темноты подворотни. Мы не отвечаем и на это, только слышен наш общий, дробный, поспешный шаг.

Город кончился редкой окраиной. Бело-черное полотно железной дороги. В голове колонны резкий свист и мы останавливаемся у занесенной снегом железнодорожной будки. Здесь по снежной дороге, в темноте, без огней, без говора торопится уходящая армия. С мешком за плечами, впереди главных сил прошел бывший верховный, генерал Корнилов. В обшарпанной бричке проехал генерал Алексеев. За ними ушла, в три тысячи штыков, в тысячу сабель, вся армия; зато бесконечен обоз, скрипят подводы с чемоданами, узлами, на одной

качается швейная машина, с другой в темноту глядит грамофонный рупор, все друг друга гонят, все скорей хотят уйти от Ростова, над которым тяжелой грозой нависли красные.

Рассветает. От Ростова долетело громовое ура и сразу смолкло. А кругом нас свищут пули; это казаки Аксайской станицы предательски с тылу обстреливают нас. Их пули говорят нам, что мы совсем одиноки.

Дон вздулся, набух горбом темносинего льда, разошедшегося трещинами. По нему переправляется армия, лед трещит, того гляди сам Дон не пропустит нас в степи, потопит. По скрипящему льду с опаской раскатываются орудия, уходит пехота, скользя переезжают разношерстные всадники и всё скрывается на другом берегу.

V

Небеса потеплели, оголились дымной голубизной, солнце почти весеннее и под этим горячим светом тают забелившие станицу снега. За Доном, в станице Ольгинской армия наскоро переформировывается, наш отряд влит в Корниловский полк. На широкой станичной улице, пестрой от темных проталин, шумно строится пехота; взметая фонтаны снега и грязи, скачут конные; слышны военные клики приветствия; и армия молодежи, во главе с двумя верховными, лучшими русскими генералами, трогается куда-то в снеговые пространства.

А степи раскинулись необъятно. Черной движущейся змейкой изогнулась в этих далеких просторах маленькая армия из трех полков.

— Корнилов едет! — перекатываются крики с задних рядов.

Разговоры смолкли, ряды выровнялись. На идущем машистой рысью светлобуланом коне проносится Кор-

нилов, он в зеленой бекеше, уверенно и красиво сидит в седле. Разноцветной толпой, в черных и белых папахах, за ним скачут его текинцы. Чуть откинувшись, Корнилов кричит резким басом:

— Здравствуйте, молодцы корниловцы!

И за ним по степи несется ответное приветствие, восторженное в устах молодежи. Молодежь любит своего вождя, он при жизни овеян легендами храбрости в боях мировой войны, отважного побега из австрийского плена, тайны заговора, побега из быховской тюрьмы на конях со своими текинцами, он герой; только вокруг него и есть это веяние ветра, остальные же просто — «его генералы».

На длинной игреневой кобыле впереди Корниловского полка шагом едет командир, подполковник Неженцев, узколицый худой блондин, в пенсне. Рядом с ним на гнедом иноходце, в полной форме корниловца, с черепом и скрещенными костями на рукаве едет его помощник, смуглый штабс-капитан Скоблин.

Ротные запевалы легкими тенорами начинают песню:

«Там где волны Аракса шумят,
Там посты дружно вряд
По дорожке стоят...».

А кругом просторы степей бескрайны; в мягком небе высоко тянут журавли; ветер летит вольно и сильно по океану степей; так день за днем, с Корниловым впереди, мы куда-то уходим; прошлое пропало, к нему не вернуться, настоящее — степь и ветер, а будущее — это линия горизонта сзади нас, с которой вот-вот загремят орудия нагоняющих нас красных.

Лишившийся отряда, верхом на мохнатом степняке, в обозе около телег едет обиженный полковник В. Л. Симановский, он бежал к Корнилову не для того, чтобы быть в обозе. Часто подъезжая к нам, Василий Лаврович спрыгивает с седла, идет со мной, разговаривает и в

этом душевно разбитом человеке я не узнаю своего знаменитого боевого командира.

Солнце всё горячей, по-весеннему плавит степные просторы. Кругом дымится, потягивается уже чернопегая даль. По донским степям мы идем без выстрела. И скоро из последней донской станицы Егорлыцкой перейдем в Ставропольскую губернию, а оттуда свернем на Кубань. Все ждут, как встретят нас ставропольские крестьяне, на походе рассказывают, что к Корнилову приезжала их депутация и Корнилов сказал ей: «если пропустите, будьте спокойны, а если встретите с боем, то за каждого убитого жестоко накажу»; депутация заверила генерала в дружеских чувствах.

VI

Мы идем по ставропольской дороге, близясь к первому большому селу Лежанка; в авангарде, верхом на коне ведет свой полк генерал Марков, он в черной кожаной куртке и белой текинской папахе; в главных силах, мы, корниловцы, с подполковником Неженцевым впереди; за нами по дороге шумят кавалеристы полковника Гершельмана; и в арьергарде партизанский полк.

Большое солнце залило степь, на лицо налетает пахучий весенний ветер, поля зеленые, волнятся переливами; дойти до того изумрудного гребня и за ним — Лежанка. В строю курят, разговаривают, но вот из-за гребня взвизгнула шрапнель и разорвалась высоко над нами. Все в изумлении смолкли, остановились; по ветру донесся затявкавший пулемет.

— Стало-быть Маркова встретили огнем, — говорит кто-то.

Мимо нас карьером, с текинцами, проскакал Корнилов. За первой шрапнелью звонко и высоко рвется вторая, третья. Ясно: сейчас бой. Мы стоим недалеко от гребня в ожидании приказа. На лицах бродят какие-

то особенные улыбки, спрашивающие о храбрости, опасности, смерти, и как всегда перед боем грудь наполняется пружинящей приподнятостью каких-то неясных и смятенных чувств. Кой-кто покуривает. К Неженцеву подскакал ординарец: корниловцам приказано ударить справа, слева атакуют партизаны, а в лоб пойдет генерал Марков.

Мы пошли редкой цепью по дымящейся рыхлой весенней пашне; озимые зеленеют, но здесь они еще даже не окрасили своей зеленью черноту земли; на штыках поблескивает солнце, и от этой весны мы идем радостные и веселые, будто не в бой.

«Расходились и сходились цепи
И сияло солнце на пути.
Было на смерть в солнечные степи
Весело идти».

— бьются, повторяясь, чьи-то во мне оставшиеся строки; а вдали стучит пулемет и перекатывается неровная ружейная стрельба.

В шинели нараспашку, недалеко от меня, идет наш ротный командир, красивый князь Чичуа, следит за цепью, покрикивает: «не забегайте там, ровнее, господа!». И топча зеленеющую пшеницу, цепь ровно наступает на село, охватываемое с трех сторон; влево и вправо люди уменьшаются, доходя до черненьких точек. Воробьиным свистом разрезая воздух, нас достигают уже редкие пули. Но вот пронеслось ура, по цепи прокатились крики: «бегут, бегут!» и у всех забила знакомая, радостно-охотничья военная страсть.

Мы уже бежим на село с ружьями наперевес; вот оставленные, свежевырытые окопы, валяются их винтовки, подсумки, брошенное пулеметное гнездо; мы перебегаем желтую навозную плотину, вбегаем на окраину села, но тут на сочном лугу возле ветрянки с недвижно замершими крыльями Неженцев приказывает

остановиться. Он галопом бросил свою кобылу к незнакомой сельской улице, навстречу ему из-за хат отряд наших офицеров выводит человек шестьдесят без шапок, без поясов, в солдатских кацавейках, шинелях, бушлатах, в крестьянских пиджаках, пестро и разнообразно одетых людей; головы и руки у всех опущены, это пленные. Подполковник повернул кобылу, возбужденная стрельбой, скачкой, шпорами она танцует под ним, выбрасывая хвост, как вспыхивающий факел.

— Желающие на расправу! — кричит с седла Неженцев.

«Что такое?» — думаю я, — «неужели расстрел? Вот этих крестьян? Быть не может». Нет, так и есть, сейчас будет расстрел этих остановившихся на лугу людей, с опущенными руками и головами. Я глянул на офицеров: может быть откажутся, не пойдут? Я молниеносно решаю за себя: не пойду, даже если Неженцев прикажет, пусть расстреливают тогда и меня; и я чувствую наливающееся во мне озлобление против этого подполковника в желтом кавалерийском седле.

Из наших рядов выходят офицеры, идут к стоящим у ветрянки пленным; одни смущенно улыбаются, другие идут быстро, с ожесточенными лицами, побледневшие, находу закладывают обоймы, щелкают затворами и близятся к кучке незнакомых им русских людей.

Вот они уже друг против друга; побежденные и победители. Офицеры вскидывают винтовки, кто-то командует и сухим треском прокатились выстрелы, мешаясь с криками, стонами падающих друг на друга странными, ломанными движениями людей; а расстреливающие, плотно расставив ноги и крепко вжав в плечи приклады, стреляют по ним, загоняя всё новые обоймы.

У мельницы наступила тишина; офицеры возвращаются к нам, только три человека еще добивают кого-то штыками. «Вот это и есть гражданская война», думаю я, глядя на свалившихся на траву окровавленной

кучей расстрелянных; «то, что мы шли цепью по полю веселые и радостные чему-то, это другое, а вот это: гражданская война». И я чувствую, что в *такой войне* я участвовать не могу.

Последней затяжкой дотянув папиросу и отбросив бычка, стоящий возле меня кадровый капитан Рожнов бормочет: «Ну, если мы так будем, на нас все встанут»; лицо у него синее, словно сведено судорогой.

К нам подошли расстреливавшие, лица многих неспокойны, неестественно бледны, кой у кого бродят странные улыбки, будто спрашивающие: «ну, как вы после этого на нас смотрите?».

— Да, может, эта сволочь в Ростове мою семью расстреляла? Ты знаешь? — кричит кому-то бледный расстреливавший блондин и у него по-детски дергаются губы.

Мы вступаем в село, кто-то пробует запеть песню, но не подтягивают и запевала оборвался. На широкой улице, меж выбеленных хат, в жидкой грязи дороги, тут и там валяются трупы; слышны выстрелы, ведут захваченных лошадей, конвоируют новых пленных, всё село сейчас в нашей власти и все мы расходимся на квартиры по хатам.

Я, брат, Садовень, князь Чичуа, юнкер Сомов, брякая винтовками, входим в первую попавшуюся хату. У порога в темно-красной луже крови ничком лежит черный, большой человек в солдатском, волосы на затылке слиплись. На столе тарелки с недоеденным супом, полбуханки хлеба, ветер рвет в окне пеструю занавесь и только будильник в тишине хаты громким тиканьем отбивает время.

За сегодняшний пятидесятиверстный переход мы устали, голодны, хочется есть, лечь, спать. И всё-же в этой мертвой хате мы не остаемся. Идем дальше по вымершему селу, где из-за плетня вдруг покажется и тут же спрячется лицо перепуганной бабы.

Вечереющее небо устало темнеет. С земли в пропасть скатывается остывшее медное солнце, обливая поля, нас, церковь, хаты последним алым и нежным огнем. На площади у церкви слышатся крики, кого-то собираются расстреливать и с князем Чичуа мы спешим туда, чтобы этому помешать.

— Ты солдат, твою мать? — в темноте кричит офицерский голос.

— Солдат, да не стрелял я, невиновный я, — полуплачет другой.

Но револьверный выстрел сух и с тяжелым стоном, с мычаньем тело падает в закатной сумеречной темноте.

И опять тот же голос кричит пойманному мальчишке:

— Да я, ей-Богу, дяденька, не был я нигде! Не убивайте! не убивайте! — срывающимся от смертного страха, истошным голосом надрывается мальчишка.

Мы подбегаем к офицеру во френче с еле различимым лицом.

— Оставьте, бросьте...

Он стреляет, осечка.

— Беги, счастье твое!

Вырвавшись из вооруженной толпы, паренек опрометью бежит с площади и топот его ног умирает в темноте. В толпе кто-то чиркнул спичку, закуривает из пригоршни, и на секунду освещено незнакомое небритое лицо. Мимо церкви шагом проезжает кавалерия, под топот подков плывут темные, какие-то монгольские очертания всадников.

Уже ночь. Теперь мы так устали, что нам всё равно где спать. В чужой брошенной хате, вздув огонь, мы размещаемся при свете лампы. В переднем углу — киот полный икон, густо засиженных мухами. У стены раскрыт сундук. На полу набросаны бабьи кофты, юбки, на крышке сундука вряд наклеены лубочные картинки генералов отечественной войны.

Мы чудовищно голодны. Осветив печь, я лезу туда кочергой и достаю не совсем еще остывший горшок каши; из чулана Садовень несет всё, что осталось от убежавших хозяев: солонину, сметану, краюху хлеба, молоко, масло; поймали даже двух сонных кур и набив хату сброшенными шинелями, папахами, сапогами, винтовками, подсумками, после еды, мы усталые засыпаем на полу на соломе.

В этой хате было странно проснуться. В первую легковесную минуту сознания, кода нет еще грани между сном и явью, я никак не мог сообразить, где я и что со мной? Но помахивая нагайкой, на пороге стоит разбудивший нас вольнопер Бендо.

За чаем он живо рассказывает, как вступал в село с другого конца, как на пулемете закололи единственного неубежавшего пулеметчика, как капитан Померанцев бегал по селу с револьвером, расстреливая кого попало, всё только приговаривая: «дорого им моя жена обойдется!». У капитана в Киеве большевики, надругавшись, зверски убили жену и всю прошлую ночь капитан мстил кому-то; это он был во френче на площади, у церкви.

Вольнопер рассказывает, что в Лежанке расстреляли больше пятисот человек. Я хорошо знаю эти офицерские чувства; в них месть за самосуды, за убийства родных и друзей, за унижения, за уничтоженные, добытые кровью чины и ордена, за сорванные золотые погоны, за изуродованную жизнь, революцией пущенную под откос.

Умываясь у колодца ледяной водой, пахнущей особенной деревенской свежестью, я мысленно разговариваю с полковником Неженцевым. «Нет, полковник, — говорю я ему, — нет, это не то, армия офицеров-мстителей никогда не победит, в России миллионы Лежанок и всех их не расстрелять. Но если капитан Померанцев почти душевно болен и в своем отчаянии

может быть даже по-своему понят, то как же от этих расстрелов не удержит армию генерал Корнилов? Ведь для победы нужно к себе перетянуть души именно этих крестьян? Или, может-быть в белом стане нельзя уже сдержать эти стихийные чувства мести, так же как в красном нельзя удержать стихию ненависти?» думаю я.

— А одного я совсем случайно на тот свет отправил, — слышу я голос вольнопера Бендо. И он опять рассказывает «новый случай». Но этих случаев чересчур много, и я, не слушая вольнопера, ухожу со двора посмотреть на Лежанку днем.

В поисках еды по хатам бродят наши солдаты и офицеры; где-то мычит голодная корова и исходит лаем собака, всё еще бессильно охраняющая хозяйское добро.

На церковной площади в разнообразных, неестественных, вывернутых позах лежат вчерашние убитые; они пролежали здесь эту росную ночь, сейчас утренний ветер, налетая, шевелит их одеждами, они лежат, как страшные, осклабившиеся деревянные куклы. Из улицы на пегой лошади выехала телега, в ней худая баба в поддевке и черном платке; подъехав к трупам баба слезла с телеги и пошла от убитого к убитому, рассматривая их; тех, кто лежал ничком, она легонько приподнимала, будто боясь сделать больно, и опять также осторожно опускала на траву; и вдруг возле одного упала на колени, потом на грудь убитого и, не обращая внимания ни на кого, словно на площади никого и не было, жалобно и отчаянно закричала: «Господи, Господи, голубчик ты мой...».

Я смотрел, как плача, утираясь, баба укладывала на телегу мертвое, непослушное тело; ей помочь подошла пожилая женщина из церковной ограды; и телега, поскрипывая, с дорогой кладью поехала в сельскую улицу. Поровнявшись с помогавшей женщиной, глянув в ее угрюмое лицо, я спросил:

— Что это, мужа нашла?

Она посмотрела на меня ненавидяще.

— Мужа, — ответила и пошла прочь.

Не зная куда себя деть, я иду по Лежанке, чтобы встретить хоть какого-нибудь жителя, поговорить, узнать, почему же они на нас встали? Я вхожу в деревенскую бакалейную лавочку с вывеской в смешных кренделях. Дверь зазвонила колокольчиком. За обсаленным прилавком стоит благообразный старичек, на носу очки в железной оправе, подвязанной бичевочкой. Седая бородка и желтое печеное лицо придают старику сходство с Николаем Чудотворцем. Покупая спички и подсолнухи, я стараюсь со старичком разговориться.

— Ну, зачем же нас огнем-то встретили? Ведь пропустили бы и ничего бы и не было, — говорю я покачивающему седой головой вздыхающему старику.

— Знамо, ничего бы не было. А вот поди-ж ты. Это всё пришлые виноваты, Дербентский полк, да артиллеристы. Сколько тут митйнгов было, старики говорят: пропустите, ребята, беду накликаете, а они свое: уничтожим буржуев, не пропустим; их, говорят, мало, мы знаем, это Корнилов с киргизами да с беглыми буржуями из Питербурха едет. Ну, вот и смутили, всех наблизовали, выгнали окопы рыть, винтовки пораздали. А как увидели ваших-то, ваши как пошли на село, они бежать. Артиллеристы первые на лошадей да ходу, все бежат, бабы, дети, а куда бежать-то? Ваши тут как тут и настигли, — и осторожно сняв подвязанные бичевкой очки, старичек глубоко вздохнул и после вздоха добавил, — а народу-то, народу что побили, невинных сколько, а из-за чего всё, а? спроси ты поди?

Я вышел из лавки. На площади, с которой уж увезли трупы, на белой лошади джигитует текинец в малиновой черкеске, хлестко развевающейся на-ветру; он то подбрасывает папаху, ловя ее, то спрыгивает и впрыгивает наскаку, а то, привесившись под брюхом лошади, скачет, держась за подпруги; и толпа текинцев

одобрительно кричит наезднику на гортанном родном языке.

В нашу хату откуда-то принесли грамофон, он хрипит и кашляет вальсом «Сон жизни» и, отдохнув от усталости степных походов, кто-то кричит:

— Сестры, valse générale, вальс!

И шумя походными сапогами по хате офицеры кружатся с Таней и Варей, одетыми в солдатские сапоги и шинели.

VII

Куда ж мы идем по этой цветущей кубанской степи?

Точно мы, рядовые бойцы, не знаем. Говорят, Корнилов ведет нас на кубанскую столицу Екатеринодар. Наше продвижение по Кубани трудно, почти каждую станицу берем с бою. Из Екатеринодара большевики бросили на нас крупные силы во главе с главнокомандующим войсками Северного Кавказа, бывшим солдатом Сорокиным; передают, будто бы генерал Алексеев полушутливо сказал, что после Люддендорфа он боится больше всего Сорокина.

Сорокин нам сильно сопротивляется, но всё-таки мы тесним красных. Станицы Березанскую и Журавскую взяли с бою, на станцию Выселки ворвались на плечах большевиков. Своих раненых мы везем в обозе, а убитые остались в весенних зеленых степях. Под Березанской закопали мы нашего ротного, князя Чичуа, убитого пулей в сердце. Он лежал возле цепи на зеленой траве, как живой, красивый, немного бледный, далеко откинув левую руку. С трудом я и Садовень положили его тело поперек седла и я повел коня к взятой с бою станице.

Беспрестанными боями мы измотаны телесно, раз-

биты душевно, но мы знаем, отдыха в степях у нас быть не может. Как бродяги, белые перекати-поле, мы живем в просторах степей, идя от станицы к станице, с винтовками в руках.

Из Выселок ночевать мы свернули на хутор Малеваный и, переспав там, ясным утром выступаем дальше на Кореновскую, где, наконец, говорят, будет отдых. Мы пылим по степи, думать не о чем, мы умеем думать только о двух вещах; поесть бы, поспать бы. Уж видны далекие деревянные крыши Кореновской, но к подполковнику Неженцеву подъехали какие-то конные и всех сразу облетает: Кореновская занята большевиками, ее надо брать с боя.

И опять рвутся их снаряды, клокоча уходят наши; сзади в цепи кто-то застонал и падает; Таня и Варя бросились к нему, поднимают, поддерживая ведут раненого; хочется узнать: кто? Я не вижу; кажется Коля Сомов.

Мы уже залегли на поле и наскоро окапываемся, над нами почти над самой землей с резким визгом рвутся шрапнели; они словно придавливают нас к земле, застилая белым дымом, медленно расходящимся и поднимающимся в небо, но какое оно, это небо, нам не видно.

Звоном пчелиного роя долетают пулеметные пули из где-то далеко курлыкающего пулемета и ложась всё ближе поднимают на пашне ровную земляную пыльцу; еще секунда и красный пулеметчик дотянется до наших голов; «сейчас в голову, в голову», думает каждый и в эти душу обжигающие мгновения, вжимаясь в землю, все мы, по-моему, забываем и то, что пулемет красный и то, что мы белые, мы забываем потому, что смерть близка и сейчас конец и прощай земля! Я вижу, как поручик Григорьев из прорехи рубахи вытянул нательный крест и незаметно его целует; и я тоже свободной рукой трогаю на моей груди зашитую матерью ладанку

всё с тем же псалмом и молниеносно, нежно, вспоминаю мать.

Это повсюдно; всеобще: если смерть рядом, она делает всех чувствительнее и беспомощнее. Мне даже кажется, что словно увидя сейчас какую-то темную, без краев пустоту, я узнаю что-то громадное, но в человеческих словах совершенно невыразимое; словно оттуда, из потустороннего, меня на мгновение освещает какой-то и страшный и вечный свет.

Раздается треск шрапнельной очереди и сразу донеслись жалобные стоны. В цепи все осторожно поворачивают головы, раненого видно сразу, он уже не вжимается в землю, как здоровые, а лежит беспомощно выделяясь. Кто-то ранен там, где лежал брат; я чувствую, как у меня от темени отливает кровь.

— Кравченко! — кричу я полушепотом, — узнай по цепи, кто ранен?

Кравченко не оборачивается и мне кажется, что умышленно, потому что ранен брат. Я кричу громче. Кравченко нехотя обернулся, кивает головой, спрашивает следующего и вскоре таким же полушепотом отвечает:

— В живот!

— Кто? Спроси, кто?

Сзади доносятся звериные стоны. Да, конечно, брат лежал именно там и, путаясь, громоздятся какие-то давние отрывки домашних детских картин. Но снова шьет пулемет, обдавая пыльцой и оглушительно рвется шрапнель за шрапнелью, застилая и меня, и Кравченко, и Григорьева белым облаком. Когда дым растаял, Кравченко кричит:

— Лойко ранен!

И сразу легко, слава Богу, не брат. Но за этой радостью просачивается мысль: «какое же ты животное, рад, что не брат, а ведь Лойко рядом с тобой умирает и у него и мать, и брат». Лойко стонет ужасно, он про-

сит пить, к нему подполз поручик Возовик и поит его, прикладывая к губам свою слюну на пальце.

— Тринадцать, часто! — кричит взводный Григорьев. Я не понимаю, в чем дело. Григорьев щелкает затвором, стреляет. — Чего ж не стреляете? Наступают же! — кричит он бешено, лицо у него возбужденное, глаза широкие. Но теперь вижу и я: издалека движутся густые цепи красных, находу стреляют. «Как же я не заметил?». Затвор заедает, но я уже стреляю «тринадцать часто» по идущим в атаку. Вокруг несусветная стрельба; но по цепи кричат: «отходить!» и все вскакивают, отступают, некоторые даже побежали. «Что такое? Отступление? Проиграно?» прорезает меня, «Но куда ж отступать? Ведь отступать нам некуда, у нас везде фронт». И оборачиваясь, я стреляю в черные фигурки. А кругом ливнем тыкаются в землю пули. «Неужто ни одна не попадет, ведь я такой большой, а их визжит такое множество?». Черненькие фигурки сзади что-то кричат, уже слышны отдельные голоса, «Какие у них лица? Ведь наши ж, русские?! Наверное, звери». Лойко полз, но перестал, брошенный меж ними и нами; он просил Возовика пристрелить его, но у того не хватило на это сил.

— Стойте же, господа! — отчаянно-приказательно кричит штабс-капитан Кедринский, и около него задержалось несколько человек; и вдруг от его криков вся цепь сначала неуверенно замедляет шаг, потом останавливается; каждый понял: всё равно ж отступать некуда, так уж лучше вперед чем назад, а там будь что будет! И цепь повернулась и двинулась на красных.

— Вперед! Вперед! — Крики ширятся и вот уж вся цепь пошла, даже далеко убежавшие нехотя, медленно возвращаются; что-то мгновенно переломилось в душах; также ливнем свистят пули, также наступают красные, но теперь мы идем прямо на них с ширящимися криками ура и теперь мы уже не люди, глядящие в пустоту смер-

ти, а настоящие белые, с штыками на перевес бегущие на красных.

— Бей их! — И лица совсем другие, зверские, сильные, рты раскрыты, глаза блестят. Сверкая штыками, мы пробегаем по пашне, сейчас сойдемся в рукопашную, всё равно! По всему полю несется ура, но черненькие не близятся, остановились, толпятся. Дрогнули? И еще сильней по степи катится ура. Мы перебегаем наши окопчики, теперь уж ничто не страшно; вон лежит их раненый матрос в синей куртке, кто-то из наших выстрелил ему в голову, он безобразно дрыгнул ногами и медленно вытягивается, как зарезанное животное. Черненькие бегут, бросают винтовки, подсумки, мы их опрокинули. Какое радостное чувство победы и силы! Вот уж их окопы, валяются патроны, винтовки. В стрельбе не слышно голосов, кричащих прицелы. В луже крови растянулся их раненый с каким-то нечеловеческим лицом, он широко раскрывает словно обуглившийся рот. «А-а-а, сдыхаешь!», но это блик, всё мелькнуло и улетает в беге.

Сросшись с телом пулемета, по отходящему красному бронепоезду с полотна железной дороги стреляет прапорщик-женщина Мерсье. Страшным разрывом гранаты у полотна убило наших пулеметчиков. На железнодорожной насыпи тут и там стонут лежащие раненые, но здоровые бегут вперед, делая вид, что раненых не замечают. «Господа, ради Бога, возьмите!», слышатся стоны, но здоровые как-будто не дослышивают, иль отговариваются находу. И только поручик Тряпкин, закинув за плечо ремень винтовки, тяжело напружив ноги, несет на руках бледного большого раненого корниловца. «Молодец, Тряпкин!» думаю я.

Из Кореновской красные выбиты, станица за нами. Но в начинающихся сиреневых сумерках большевики возобновляют атаки. Ливнем свистят их пули, их цепи опять уж недалеко, но нас, лежащих на поле за Коре-

новской, беспокоят не цепи, а надвигающийся на нас, вздрагивающий белым дымком, бронепоезд. Этот дымок над трубой увеличивается; с бронепоезда дождем строчат пулеметы.

Наша цепь волнуется, ее устойчивость слабеет. Покуривая, за железнодорожной будкой стоят подполковник Неженцев и штабс-капитан Скоблин. Неженцев приказывает: в атаку на бронепоезд! И надо вставать с земли, идти, а усталость от целого дня боя тяжко сковывает тело; сейчас бы лечь на эту траву и заснуть бы дня на два; но проклятый дымок бронепоезда всё увеличивается.

— В атаку! — раздаются голоса. И цепь поднимается; двинулись, идем быстрей, с винтовками наперевес близимся к бронепоезду, подбадривая себя криками ура. Мы уже выравниваемся, усталость сломлена каким-то общим напряжением воли, бегом мы охватываем со всех сторон бронепоезд, а с него воем, визгом тявкают пулеметы. Но теперь всё равно, мы близко... Но что такое? Кто-то железным прутом ударил меня по ноге. Я схватился за ногу, по штанам течет кровь, не могу идти... Мимо, согнувшись, как он согнувшись, играя в лошадки, бегал в детстве, пробегает мой брат, рот у него раскрыт, он кричит ура.

— Сережа! — кричу я, но в этом чортовом аду он ничего не слышит, не видит. Осторожно ступая, я хромаю назад к будке, а сзади несутся, хлещут пули. «Сейчас добьет», думаю я, но уже с каким-то безразличием, как будто не о себе; выйдя из боя, я весь в внезапно навалившейся на меня усталости; она полонит меня, я только чувствую режущую боль в ноге, словно, стянув ее проволокой, кто-то закручивает все туже и туже.

В мужской кожаной куртке, в солдатских сапогах, за будкой сестра милосердия перебегает от раненого к раненому; тяжело и легко-раненые лежат на траве; я опускаюсь среди них на пригорке у однообразно гудящего телеграфного столба.

— Сейчас, сейчас, у меня не десять рук, подождите, — покрикивает на кого-то простоватая сестра с глазами веселого утенка.

Когда она подходит ко мне, я с чувством некоторого стыда спускаю штаны, сестра жирно смазывает рану иодом и нога туго и приятно стягивается бинтом.

— Счастливчик, — улыбается сестра, пропуская вокруг ноги бинт, — на полвершка бы правее и перебило бы бедро, тогда б вас и на подводе отсюда не увезти.

Я знаю, что тогда б меня могли бросить в степи, как бросили Лойко. А сейчас по вечереющей, обсаженной весенними тополями дороге двое офицеров ведут меня под-руки в Кореновскую. Медным светом гаснет закат, алые сумерки ниспадают все ниже, но только полная темнота затушит гул боя под Кореновской.

VIII

Против нас в Кореновской сражалось до четырнадцати тысяч красных под командой Сорокина. Выбитые, они сосредоточились у Платнировской, готовясь к второму бою, но Корнилов резко свернул армию на Усть-Лабу.

Обоз с ранеными едет за армией. На телеге нас пятеро. Сестры укрыли нас одеялами; с поскрипыванием движется подвижной лазарет, на выбоинах стонут утомленные раненые, а впереди сквозь подоспевших, непускающих в Усть-Лабу красных пробивается армия.

Уже далеко за полдень, а под Усть-Лабинской бой всё идет. Усть-Лабинская раскинулась по крутым холмам над реками Лабой и Кубанью. Мешаясь с белым цветеньем вишен и яблонь, на обрывах меж станичных хат пестреет цветущий кустарник. Стрельба от Усть-Лабы доносится все явственней. Обоз уже почти в зоне

боевого огня. Раненые прислушиваются: не приближается ли общий гул боя?

На моей подводе волнуется капитан с обеими перебитыми ногами; смельчак в бою, здесь в беспомощности он потерял самообладание.

— Слышите, приближается, — приподнимаясь на локте, говорит он, грязнобледный, измученный от неспаных ночей, от страшного ранения; губы у него почти черны; под всё близящимся ружейным накатом капитан с отчаянием откидывается. А зловещий гул, действительно, близится. Раненые прислушиваются к нему, как зверь на облаве к крикам загонщиков. Я волнуюсь вдвойне: мой брат в бою.

Из арьергарда, торопясь, проходит отряд; лица строгие, озабоченные.

— Ну, что?

— Наседают, отбиваемся, — говорит худенький офицер с бородкой; отряд уходит влево по пашне.

Раненые зорко следят за ним, вот и оттуда, слева, донеслись выстрелы, стало-быть, большевики и с флангов; мы в кольце, бой со всех сторон, но в авангарде самый напряженный.

От подводы к подводе ходят сестры, меняют повязки, кормят, поят раненых. Так идут часы. Но вдруг винтовки в авангарде затрещали ожесточенней и общий гул боя сразу стал удаляться, будто подхваченный и понесенный какими-то прорвавшими плотину волнами; раненые завозились.

— Удаляется, слышите?

От головы обоза крик: — Обоз вперед!

Возчики замахали кнутами, лошади вскачь помчались по степной дороге, а перед нами, замирая, всё уносится эхо боя; теперь уж нет сплошного гула; гул с перерывами, стало-быть, большевики отброшены и наши взяли станицу.

Но в Усть-Лабе мы не останавливаемся. Вырываясь

из красного кольца, Корнилов бросает нас дальше и я не знаю, где я просыпаюсь ночью в темноте от многоголосья, скрипа тысяч колес, криков, ругательств, ржанья лошадей. Недалеко от подводы у костра кто-то легким фальцетом напевает:

«Мы дралися за Лабой,
Бой был молодецкай!»

— Станичник, где мы?

— В Некрасовскую въехали.

Всё глушится кромешным галдежом возчиков, криками квартирьеров, сестер, скрипом колес тронувшегося по станице обоза; и только уж в хате я встречаюсь с раненым братом.

Я лежу под божницей, обклеенной узорно вырезанной газетой; брат с раздробленной ступней прыгает по хате на одной ноге, капитан с перебитыми ногами неподвижен на полу; другие раненые кто ходит, кто прыгает, а Таня и Варя промывают раны, меняют перевязки, рассказывают новости. От отдыха все веселы. Сердита только дряхлая хозяйка-казачка с глядящим изо рта длинным желтым клыком; она то беззубо шамкает, то ворчливо кряхтит.

— Что ты, бабушка?

— Ох, да как что? Куды я вас дену, хата малая, а вы все перестреляны, как птицы какие, — оглядывает нас мутным глазом старуха и продолжает охать у печи, — всякие я войны видала, помню, как черкесов мирили, как на турку ходили, а теперь вот своя на своих пошла, — и старуха никнет седой головой.

— Из-за чего ж это, бабушка, пошла-то она, а? — смеется кто-то.

— Да рази я знаю, может и есть из чего, а может и нет, так всё зря, — безразлично бормочет старуха.

Пришедший Василий Лаврович рассказывает, что,

отбиваясь от наседающих со всех сторон красных, Корнилов ведет нас на Екатеринодар, надеясь штурмом взять кубанскую столицу и тогда в ней уж найти казачью опору. До хаты долетают звуки похоронного марша, это хоронят наших убитых и умерших от ран и на кладбище каждой станицы вырастают наши простые деревянные кресты.

IX

В Пензе по ночам моей матери снился мучительный сон, как по снежному ветреному полю красные ведут ее сыновей, на расстрел. Мать просыпалась в судороге; но ее дни нелегче ночей: красные газеты пишут, что белая армия разбита, что Корнилов бежал в кавказские горы, а по степям валяются, гниют «объеденные трупы золотопогонников».

Бессоной ночью, ощущая всю свою потерянность в мире, мать решила сама пробираться на юг, в те далекие донские степи, где быть-может, еще живы и сражаются с красными ее сыновья. Но путь на Дон труден. Дон отрезан от всей России кровавой чертой гражданской войны. Надо кружить: ехать до Волги, по Волге плыть до Астрахани, с Астрахани по Каспийскому морю на Северный Кавказ, оттуда на Кубань, а там уже пробираться в донские степи, где потерялась белая армия.

Распродав всё, что могла, с зашитыми в юбку тремя тысячами рублей, мать в конце апреля уже ехала на Сызрань, забившись в теплушку, переполненную всё еще бегущими с российских фронтов солдатами. На грязной, сызранской пристани с трудом за взятку она достала билет до Астрахани и отплыла на разгромленном, захарканном пароходе «Октябрьская революция», полыхавшем красными флагами. На пароходе фронтовые солдаты, красногвардейцы, матросы, куда-то плывущие мужики-мешочники, пробирающиеся на родину

армяне и вместе с ними притаившиеся беглецы-интеллигенты. По необъятно раскинувшейся весенней Волге, мимо туманных Жигулей, мимо кургана Стеньки Разина плыла «Октябрьская революция». Навстречу протяжно гудят сирены таких же разграбленных пароходов. В желтых сумерках по размахнувшейся волжской шири с кормы летят жалобные звуки двухрядки. Это, сидя неподалеку от матери, играет слепой гармонист с отросшими по плечи волосами и простонародным, за душу хватающим тенором поет: «Ревела буря, гром гремел...» Красногвардейцы, матросы разными голосами подтягивают певцу. А когда вечерний туман накрывал Волгу, каждый день вся команда парохода по-старинке становилась на корме и хором пела «Отче наш».

Так плыла «Октябрьская революция». За долгий путь беглецы-интеллигенты сжились. Костромич-инженер в очках, с козьей бородкой, рассказал матери, что тоже пробирается на Кавказ разыскивать сына и что ему сказали, будто в Астрахани есть такой баркас «Гурьев», который возит людей до Брянской Косы, а с Брянской Косы на Кизляр будто отвозят на арбах казаки.

В Астрахани, не отставая от инженера и семьи армян, мать попала-таки на маленький пароходик «Гурьев», переполненный разношерстными беглецами. По изменчивой зелени Каспия «Гурьев» заскользил к Брянской Косе. Неразговорчивый капитан дорого брал за такое путешествие, но подплыть к Косе всё-таки отказался, бросив якорь далеко от берега. Поочереди пассажиры в лодке переплывали на берег и там сговаривались с поджидавшими казаками о поездке дальше на арбах в Кизляр. В эти смутные времена прибрежные казаки зашибали большую деньгу, промышляя извозом человеков: двадцать два целковых с души и непременно царскими.

Ночью на Кизляр тронулись три подводы. На арбе вместе с матерью умостились: унылый чеховский интел-

лигент с выцветшей бородкой и трясущимся на носу черепаховым пенсне, — от него только и узнали, что он племянник уфимского архиерея; муж и жена из Орла, все ощупывавшие на себе зашитые драгоценности; пехотный полковник из Сарапула с сыном-кадетом, не скрывавшие, что пробираются в белую армию. Последним, кряхтя, крестясь и шепча «Царицы мои небесные!», взобрался на арбу толстый казанский купец в поддевке и сапогах бутылками.

Над ночной степью, как ломоть лимона, дрожит серп луны; тарахтят казацкие подводы. Дремля на арбе, мать знает, что к живым или мертвым, а близится к сыновьям, и в этом ее душевное успокоение; привалившись к плечу полковника спит кадетик-сын; раскачивается тощее очертание племянника архиерея; и казанский толстосум преувеличенно охает и стонет на выбоинах. Но вдруг за подводами по степи пронесся топот скачущих коней и в свете звезд и желтого месяца на дороге стали видны машущие винтовками всадники. «Сто́й! в веру, в душу, в гроб, в мать!», кричали доскакавшие, вертящиеся на конях пьяные казаки. «Арестовывай вчистую! Вертай на обыск!»

Но головной старик-возчик, вероятно, лучше других знал своих станичников. Он хоть и с ругательствами, но спокойно слез с арбы и спешившиеся казаки, ведя подуздцы коней, пошли за ним в сторону с дороги. Там начался галдеж, торг, но вдруг голоса перешли на мирное и кто-то в лунной темноте раскатисто и животно расхохотался. Возчики снова полезли на арбы, а казаки, впрыгнув кошками на коней, вскачь понеслись назад к станице пропивать взятый с возчиков бакшиш.

Днем перед беглецами та же выжженная, бесприметная степь. На подводах не укрыться от палящего удушливого зноя, ноги затекают от неудобного положения, но каждый беглец готов терпеть всё, лишь бы доехать; и день-деньской молча они трясутся на арбах.

Обрадованно заговорили только, когда раскаленное

удушье степи сменилось сочной тенью прохладных армянских садов Кизляра, в которых под вечер пели соловьи.

X

Издалека доносится гул боя, то стихая, то разростаясь. С тяжелыми потерями прорвавшись сквозь станицы, крестьянские хутора, разгромленные черкесские аулы, Корнилов начал штурм Екатеринодара, охватив его с трех сторон.

К реке Кубани, где на берегу на некошенных лугах табором расположился обоз-лазарет, катится беспрерывный гул штурма. У реки дымятся костры, пасутся стреноженные лошади; меж телегами ходят сестры милосердия, кормят, перевязывают раненых.

К вечеру второго дня, по наведенному парому лазарет медленно переправляется через Кубань и по узкой дамбе едет ближе к Екатеринодару, в станицу Елизаветинскую, ждать взятия добровольцами казачьей столицы.

В Елизаветинской нас человек тридцать раненых положили в церковную сторожку. Пол двухоконной комнаты застлан соломой, все лежат плотно прижавшись друг к другу. «Ну, я же ничего не вижу, сестра, умоляю, доктора!», то и дело отчаянно вскрикивает исхудавший рыжеватый поручик, ослепший на оба глаза от ранения в висок. «Воды...», тихо стонет мальчик-кадет, у него раздроблена ключица, но он так слаб, так тихо зовет, что за общими стонами его не слышно. Раненый в рот юнкер полумычит, зовя сестру: у него шесть дней не меняли повязки.

Вести из боя странные: то на дрожащей, задохнувшейся лошади подскакавший к церкви казак расскажет, что Екатеринодар взят и по станице проносится ура раненых, то оказывается, наши отброшены с тяжелыми

потерями; а штурм гудит без перерыва третий день, все слилось в страшный гул большого сражения.

Мы, могущие передвигаться, вышли из сторожки и лежим на лугу у церкви.

— Я Перемышль, Львов брал, а такой канонады не слышал, — затягиваясь газетной самокруткой, говорит седой полковник с забинтованной головой.

— Они из Новороссийска тяжелые орудия подвезли, слышите, как ахают?

Все напряженно прислушиваются к сотрясающему воздух гулу орудийных залпов. Станичная церковка с розовым в золотых звездах куполом исстреляна; хромой старик-сторож показывает нам небольшой, стоящий в окне, написанный на стекле образ Христа; всё окно выбито снарядом, кругом иконы осколки, но прислонившись к железной решетке, образ Христа стоит нетронутым.

В церкви полумрак, пахнет весенним воздухом и ладаном. В колеблящемся мерцаньи свечей ветхий священник с желтой по краям бородой, служит великопостное служение, прочувственно читая молитву св. Ефрема Сирина: «Господи, владыко живота моего, духа праздности, уныния...»; и рушатся на колени, молятся раненые, плачут, не поднимаясь с колен женщины-казачки. А со стороны Екатеринодара все ревет артиллерия, от орудийных залпов содрогаются свечи и иконы в церкви.

Отслужив службу, неуверенной старческой походкой священник сходит по ступенькам паперти, опираясь о подожок, проходит к себе в разлапистый покрившийся дом.

Мы уходим спать в сторожку, но спать нельзя. Тяжело-раненые мечутся, стонут; ночью из боя пришли обессиленные, с лицами странно незнакомыми, Варя и Таня, обе сели возле нас, плачут: Свиридов убит, Ежов убит, Мошков умирает, рота перебита, наши, то и дело,

бросаются в рукопашную, бьются из-за каждого шага, то займут их окопы, то красные снова их выбьют. Вчера сестры складывали раненых под стога, а к вечеру красные отбросили наших, и подожгли стога, из огня слышались крики и стоны раненых.

Ночь проходит без сна. Раненые все прибывают, в в сторожке нет уже места, их кладут снаружи, в ограде; раненая в грудь сестра кричит: «воздуха, воздуха!»; среди общих стонов два офицера осторожно выносят ее на крыльцо; ставший санитаром пленный австриец, в своей еще серой австрийской куртке, и две сестры неловко вытаскивают из сторожки умершего, его руки волочатся по полу, голова свернулась на сторону; «осторожней-же!» стонут раненые.

На рассвете к нам в ограду внесли раненую екатеринодарскую сестру. Девушка с зелеными переменчивыми глазами, овсяными кудрявыми волосами, ранена пулей в таз, сильно мучится. За ней ухаживают наши сестры, от нее узнали, что в Екатеринодаре многие девушки пошли в бой, желая помогать раненым и красным и белым; и наши видели, как она перевязывала в окопе и тех, и других; там ее и ранили пулей в таз.

После бесчетных конных и пеших атак, на пятый день беспрерывного штурма, наши потери убитыми громадны; среди убитых командир полка подполковник Неженцев; обоз с ранеными утроился; мобилизованные казаки сражаются неохотно, а сопротивление красных растет. «Когда идешь в атаку, от красных в глазах рябит», рассказывают раненые. Подвезенная из Новороссийска тяжелая артиллерия засыпает нас гранатами, а у нас уже нет снарядов, и белое кольцо добровольцев, охватившее Екатеринодар голыми руками, теперь в свою очередь охватывается спешащими на выручку кубанской столицы красными. Бой с фронта, с тыла, бой везде и нам в этом бою подкреплений ждать неоткуда.

В это тяжелое утро ко мне в ограде церкви подошел капитан Ростомов, на нем лица нет.

— Корнилов убит, — глухо сказал он, — теперь всё кончено, только ради Бога не рассказывайте, приказано скрывать, боятся паники, разгрома, говорят о неизбежности нашего плена, ну, а там известно что, — и капитан лег рядом на траву и, закрыв лицо руками, замолчал.

Сердце словно оторвалось и утонуло; я не хотел бы верить, но недалеко от церкви, где возле хаты качается под ветром дуплистая ветла, на карауле стоят два текинца; в хату входят и выходят военные, там в простом гробу, украшенном полевыми цветами, лежит труп небольшого человека с монгольским лицом; генерал Л. Г. Корнилов лежит в походной, защитной форме; и все стоящие у гроба, даже часовые текинцы, плачут.

А под Екатеринодаром все ухают залпы артиллерии.

Его штаб стоял в небольшой хате у рощи, на высоком берегу вытянувшейся далекой лукой Кубани. Уже давно красные вели пристрелку по этому белому трехоконному домику и адъютанты уговаривали генерала бросить хату, но, занятый безнадежным роковым штурмом, он уже не обращал внимания на уговоры и на гранаты, изрывшие рощу.

Последняя граната, пробив стену, попала под стол, за которым сидел Корнилов. Его подбросило кверху, ударило об печь: ему раздробило висок и переломило бедро. Из дымящейся хаты адъютанты вынесли генерала на воздух, Корнилов умирал.

Когда стемнело, к нам в заваленную ранеными сторожку вошел запыленный обозный офицер в пропотевшей гимнастерке. «Господа!», закричал он, «укладываться на подводы! Только тяжелораненых просят не ложиться, легко раненых отвезут, переложат на артиллерийские, а тогда приедут во второй раз».

Сестры Таня и Варя торопят укладываться, ехать и в их шепчущих настояниях я чувствую какую-то тайну. Я выхожу в ограду, на паперти темные очертания старого священника.

— Благословите, батюшка.

— Храни вас Господь, — обнял меня дряхлый священник, и трижды поцеловал, — уйдёте... с нами что будет... Господи... — произнес с вырвавшимся стоном, — завтра же ведь придут и начнут расстрелы

По темноте еще резче плывет гул боя. Сестры несут одеяла, подушки, торопливо укладывают нас на подводе и Таня шепчет, что мы отступаем от Екатеринодара, что тяжелораненых бросают в Елизаветинской на произвол судьбы, сокращая хоть этим обоз.

Я забыл в сторожке пояс, ковыляю туда. Коптящая керосиновая лампа со стены освещает вороха измятой соломы. В углу кто-то тихо-тихо застонал, это мальчик-кадет с раздробленной ключицей, он лежит навзничь, желтый свет мутно озаряет его изможденное детское лицо с темными, отросшими за войну волосами.

— Все уехали... бросили... — не то через силу, не то в забытьи простонал кадет.

Догоравшая лампа наполняла сторожку колеблющимися тенями; тяжелораненый оставался в темноте ждать утренней расправы красных.

— Триста раненых бросили, а? Ведь не только на смерть, а на страшное истязание! При Корнилове этого никогда бы не было, — вполголоса говорит на подводе раненый в лицо Коля Сомов.

— Доктор и сестры наши с ними остались, — шепчет Таня.

Возчик понукает лошадей, рысью едем в темноте; над нами катится, уплывает оставшееся на полнебе золото созвездий. Мы не знаем, куда нас ведет заменивший Корнилова, новый главнокомандующий генерал Деникин.

XI

В степях в эту темную ночь у железно-дорожной станции Медведовской решалась судьба. Здесь генерал Деникин наметил попытку вырваться из красного кольца; и здесь же в сети железных дорог Сорокин хотел нас нагнать, чтоб добить, уничтожить. Эта черная ночь решала всё: прорвемся — затеряемся в степях, не прорвемся — смерть.

Скрывшись за чередой холмов, в степи, в ожидании прорыва притаился обоз. Пофыркивают уставшие лошади, без отдыха прошедшие семьдесят верст. На подводе нас шестеро. Под звездным небом мы молчим, приказано не разговаривать. «Ну, не прорвемся, ну, умру, ну и всё», уговариваю я себя под налетающим на лицо степным ветром. Но я чувствую, что уговоры не действуют, ибо страшна не смерть, страшна подлая расправа.

Далекий орудийный залп. И тут же, свистя и завывая, близится гранатная очередь. Каждый из обессиленных раненых молит об одном, чтобы снаряды не попали в его подводу, это — оголившееся животное чувство, которого каждый внутренно стыдится, но каждому очень хочется жить. По звуку несущихся снарядов все прикидывают: «по нас... не по нас»... Страшный взрыв совсем рядом, за ним, может-быть, полсекундная тишина и вдруг кто-то ужасно кричит. Гранатами разбиты подводы, убиты лошади, убиты раненые, а казаку-возчику оторвало ноги, и это он, как шакал, завыл под золотом звезд.

— Да приколите ж его, — измученно говорит кто-то в темноте.

— Тише, господа, приказано ж не разговаривать.

И все смолкают в ожидании новой очереди, только

возчик кричит страшно и тягуче; но вместо гранат далекую степную темноту разорвало вдруг внезапное, короткое ура.

— Ура, слышите, ура, атака, — завозились взволнованно на подводах раненые.

— Не волнуйтесь, господа, это наши черкесы атаковали их артиллерию, — вполголоса с седла говорит едущий темный верховой.

Ура вдали оборвалось; замолчал и возчик, истек кровью. В звездной тишине внезапно стал слышен треск кузнечиков и показалось, будто в этой степи никогда ничего, кроме тишины и треска кузнечиков не было; с накренившегося, как в исполинском соборе, купола прямо в глаза льются те же звезды.

— Большую медведицу видишь?

— Да. А вон Геркулес.

— Геркулес, — сворачиваясь под одеялом, подрагивая от холода ночи, шепчет юнкер Сомов, — я вот возчика вспомнил, на две подводы всего нас-то перелетело.

Веет степной ветер, то холодноватый, то словно с кипяченой струей. Далеко, на темной линии горизонта, уже начинается рассвет. Он придет скоро, быть может слишком скоро и своим приходом может нас погубить. И словно предупреждая, исчезающую темноту неожиданно разорвал одинокий, испуганный выстрел. Тишина. Стрельба еще и еще. Сначала неуверенная, но чаще. Вот грохнула наша артиллерия, где-то с остервенением закричали ура. Раненые вглядываются в близкую темноту, разрезаемую огненными цепочками, по телу бежит дрожь, стучат зубы: прорвемся иль не прорвемся?

У станицы Медведовской, сотрясая ночь, гремит бой. Где-то далеко вправо и влево ухнули тяжелые взрывы, это наши взорвали полотно железной дороги, отрезая наступление красных; треща, заглушая стрель-

бу, высоким пламенем на станции горят вагоны с патронами.

— Господа, ради Бога, выгружать снаряды из вагонов! Кто может, скорей, это наше спасение! — скачут, кричат по обозу верховые. И раненые, кто может, спрыгивают, ковыляют к станции, вытаскивать снаряды красных из еще неохваченных пламенем вагонов, ибо у нас снарядов уже нет.

— Обоз рысью, вперед!

Этого чувства невозможно передать; еще не верится, что прорвались, но обоз уж поскакал, загалдел, машут кнутами перепуганные возчики, попавшие на войну за здорово-живешь; по мягкой степи лошади скачут в карьер.

Мы уж у железной дороги, вырываемся из кольца, здесь залегли наши цепи, отстреливаются на обе стороны и вправо, и влево; захваченными у красных снарядами наши орудия бьют по красным же прямой наводкой; и в открытые «воротца» из кольца, из паники, из смерти летит прорывающийся обоз. Падают убитые, раненые, лошади, люди, на путях кричат, бегут, машут винтовками; опираясь передними ногами о землю, храпит, не в силах подняться, окровавленный вороной красавец-жеребец, а возле него без движения раскинулся кавалерист во френче и синих рейтузах; но на мертвых не обращают внимания, под дождем пуль, с гиком, криками лазарет уже перелетает железную дорогу и дальше скачет карьером по степи.

Прорвались... живы.... ушли...

XII

У Новороссийского вокзала, у закрытых семафоров, на путях необычайное скопление поездных составов, переполненных вооруженными матросами и красноармейцами. На теплушках коряво выведено мелом: «Да

здравствует мировая революция!» На вокзале, на полу лежат красные бойцы, меж ними на узлах бабы кормят плачущих ребятишек; с руганью сквозь толпу продираются солдаты с чайниками кипятку; а с заплеванных грязных стен на эту человечью давку глядят приказы о сдаче оружия под угрозой расстрела и об уплате контрибуции новороссийскому пролетариату.

С вокзала мать не знала, куда идти. Кругом одинаковые домики железнодорожных рабочих, чахлые палисадники и на холмах незнакомый город. Белые акации напоили неизвестные улицы пряным запахом. Тарахтя и поднимая облака известковой пыли, прополз полуразбитый грузовик; над виадуком засвистал паровоз; мать перешла площадь и в первой грязно-унылой улице остановила хохлушку в свитке и солдатских сапогах, спросив, как ей пройти на Серебряковскую.

Было за полдень, когда на Серебряковской, во дворе сумрачного казенного здания, мать разыскала, наконец, Марью Ивановну Полозову. Конспиративно работавшая для белых, Марья Ивановна оказалась женщиной на пятом десятке, с круглыми вишневыми глазами, мягкими чертами лица и гладкозачесанными назад волосами. Несмотря на рассеивающее подозрение письмо, она приняла мать почти неприязненно; и только по мере рассказа, с каким трудом мать добралась от Пензы до Новороссийска, Марья Ивановна смягчилась и, наконец, заговорила сочувственно.

Первое о чем предупредила: быть крайне осторожной, в городе свирепствует чека, по подозрению в связи с белыми уже расстреляны сотни людей. Что же касается дела, то как бы она ни хотела помочь, сама не знает, где теперь белая армия: в степях, а где — неизвестно. Подумав, Полозова проговорила: «Я вам записку дам к капитану Белову, может-быть, он чем-нибудь поможет». И прямо от нее мать пошла в порт искать неизвестного капитана. В порту — темносинее

море с далекими перевалами волн, у бухты серые очертания грандиозных элеваторов, над морем в ветре кричат уносящиеся чайки и далеко белеют трубами, как колоннами, цементные заводы на горной зелени. В однооконном флигеле, потонувшем в саду, мать нашла, жившего под видом рабочего, капитана. Загорелый, с наголо бритой головой, с беловатым вдавленным шрамом у переносицы, этот рослый рабочий в мазутом просаленной блузе, глянув на записку Полозовой, сразу в своих манерах стал офицером. Но ничего точного сказать не мог и он: белые штурмовали Екатеринодар, красные их отбросили, белые в степях, но где, неизвестно; кругом — всё красное.

— Знаете что, — раздумчиво проговорил капитан, поглаживая ладонью бритую голову, — пойдите-ка вы к генеральше Цуриковой, авось, что-нибудь узнаете, там бывают сведения, а если не узнаете, приходите ко мне, у меня есть один план.

Назавтра мать шла по адресу, данному капитаном. На Соборной площади она вошла в отворенные настежь ворота, спросила игравшую в пыли тряпочной куклой девочку, где здесь квартира номер три, и девочка указала на небольшой охряной домик во дворе. Там, в полутемной квартире, мать застала странное общество, какое можно увидеть только в революцию, когда в подполье ссыпаны самые разнообразные люди.

За чайным столом сидело человек десять мужчин и женщин. Статного господина, в военном кителе, без погон, присутствующие называли «ваше превосходительство». Это был сорокалетний голубоглазый человек с подстриженными усиками. Отношения его с генеральшей Цуриковой, пожилой, напудренной дамой с букляшками на морщинистом лбу, казались странно-близкими. Рядом с генеральшей грызла семячки женщина пронзительной и пышной русской красоты, приехавшая из голодного Петербурга певица. Возле нее, ухаживая и

улыбаясь, сидел штатский, с ассирийской бородой, по манере говорить показавшийся адвокатом. Он рассказывал, как пробрался из Харькова. В комнате сидело еще человек пять мужчин и женщин, из которых привлек внимание матери один, грузный, в косоворотке, показавшийся переодетым, остриженным священником; и тут же в углу, в кроватке спал чей-то ребенок.

— Вы, стало-быть, на Дон, к белым хотите? — щуря глаза, оглядывая с ног до головы мать, говорила подвитая, насурмленная генеральша. — Но ведь сейчас это много труднее, чем даже вот наша поездка с генералом в Москву. Вы удивляетесь? Да, да, в Москву, — улыбалась генеральша, как будто говорила, что едет в оперу. — Хоть Дон и рукой подать, а пробраться нет возможности. Вот Владимир Семенович, помогите-ка нам, — тоном легкого, но беспрекословного приказания обратилась генеральша к адвокату, вполголоса разговаривавшему с певицей, — дама приехала из Пензы, ее сыновья у Корнилова. Где теперь может быть его армия?

Полнокровным баритоном адвокат стал рассказывать, что белая армия, вероятно, уже на Дону и единственный путь, правда, рискованный, это ехать, скажем, на подводе в Анапу, а оттуда на каком-нибудь судне с контрабандистами по Черному морю в Крым.

— Ну, скажем, в Керчь, — поглаживая бороду, говорил адвокат, — и вот, если такое экзотическое путешествие удастся, из Керчи в Ростов уж можно ехать просто по железной дороге.

— Но кто сейчас в Керчи?

— Уверять не берусь, были и белые, были и красные. Но сейчас, по моему малому разумению, Керчь, как будто, заняли немцы, — показывая зеленоватую вставную челюсть, адвокат заулыбался, словно сказал что-то забавное.

Проведя вечер в этом обществе, где генеральша

обсуждала поездку в красную Москву, певица рассказывала об ужасах голода в затерроризованном Петербурге, а Владимир Семенович о том, каким остроумным способом избегши ареста, он бежал из Харькова, где зверствует чекист Саенко, расстрелявший больше трех тысяч интеллигентов и офицеров, — мать вышла на потемневшую улицу в тяжелой тревоге: квартира генеральши ей показалась подозрительной.

С этим тревожным чувством она и пришла к утонувшему в ржавой бузине однооконному флигелю капитана Белова. Но выслушав ее капитан, к удивлению матери, сказал, что адвокат прав и что сам он на-днях бросает этот флигель и вместе с своим другом поедут именно так, на Анапу, а там по Черному морю в Крым.

XIII

Ночью на товарном новороссийском вокзале нет огней, темнота, крики, выстрелы. Толпы красногвардейцев ломятся в поезда, тут же отряды матросов ловят мужиков-мешочников; слышен бабий плач, детский визг, мольбы, причитания и беготня вокруг вагонов.

В потрепанных рабочих пиджаках, в кепках капитан Белов и поручик Широ с бою влезли в освещенную огарком свечи теплушку; помогли влезть и матери. Теплушка с ранеными красными партизанами; в темноте курятся их цыгарки; полуощупью мать ищет место, а из вагонной глубины неясное очертание женщины продолжает, видно, давно заведенный рассказ: «...сама в Екатеринодаре видела, привезли к гостинице Губкина, все комиссары вышли, сам Сорокин был, сказывали, выкопали его в степях, где кадеты закопали... что народу сбежалось... тыщи... спервоначалу на столб повесили, комиссар под музыку речь говорил, а потом по городу проволокли и на площади сожгли и начисто развеяли...» — засмеялась с хрипотцой женщина.

У матери захолонуло сердце и всё ж она не верит рассказу о конце генерала Корнилова; а темная женщина рассказывала правду.

— Теперь мы их всех кончим, — сказал лающий мужской бас с верхних нар, — с нами нынче самые главные генералы идут, Брусилов и все фронтовые в Москве на нас работают, нынче кадетам канцырь пришел.

Поезд задрожал, пошел. Мать прислонилась к стене, но ей не дремлется. Она слышит удары своего сердца и гудящие голоса красных партизан, видит пронзающие темноту огоньки их вспыхивающих цыгарок.

— Под Белоглинской сонными сволоту, ихний разъезд, захватили: один прапорщик молоденький, сукин сын, годов двадцать, не боле, сгробастал я его, молись, кричу, буржуйский выродок на мою портянку, — а Семка руки ему назад вяжет; нет, говорит, постой, мы энтого буржуя ще по степи потаскаем, по-кавалерийски, — в вагоне захохотали, — тащит он его к седлу, а прапорщик помертвел, аж синий, а всё не сдается, гад, и взяла меня тут такая злоба́, как садану я ему штыком в брюхо, он кричит, стерва, как заяц... — слышно как рассказчик сплевывает и жирно растирает в темноте плевок подметкой.

— Они нашему брату тоже скидки не дают.

— Война она есть война, каку не возьми, что с немцем, что ета с кадетами.

— Эк сравнял козу с зайцем, — перебил прежний суровый голос, — ты на немца за што шел? Сам не знаешь за што, пер с винтовкой несознательно на твоего же брата пролетария. Он немец-то тоже больше твово воевать не хотел. А с кадетами смекаешь кого режешь, буржуй он везде одинакий.

И снова чей-то сонный, негромкий, слегка простуженный голос:

— А ты думаешь, им за погоны-то тоже сладко по

степям с казаками мыкаться, тоже поди на печь к бабе слазить хочется.

— К бабе... — угрожающе-злобно процедил первый, — ты погодь залезать-то, порежем буржуев, тогда и к бабе полезем... греться...

Сердце у матери бьется всё учащенней, ей кажется, что это и есть ее пензенский страшный сон наяву, что это ее сыновей в степях убили красные партизаны; капитан Белов тихо посапывает во сне и рядом с ним, свернувшись, спит поручик Широ.

XIV

К Черному морю, к Анапе подвода подъехала к вечеру. Пунцовое солнце, поджигая небо, погружалось в тихие воды. Соленый воздух, оранжевые, тающие сумерки над разбросанными одинокими домами, всё было хорошо и спокойно после шумящего пыльного Новороссийска.

Но и Анапа — красная. Каждый вечер по морскому берегу идут патрули, стерегут подплывающие парусники, баркасы, лодки. И всё-таки беглецы ежедневно бродили вдали от мола, по высокому берегу, ожидая, что на счастье, может-быть, и подплывет какое-нибудь судно. В дежурство капитана Белова к пустынному берегу причалил заросший ракушками катер, с него слезли машинист в замасленной русской рубахе и какой-то краснолицый, рыжий гигант, по виду человек дикой силы, оказавшийся владельцем судна.

Белов с ними закусывал в прибрежном трактире, угощал новороссийским самогоном, долго торговался и, наконец, рыжий согласился идти с беглецами в Керчь под условием: плыть, как будто, легально в красный Новороссийск, а уж в открытом море он положит курс куда надо.

— Дело сурьезное, расстрелом пахнет, — глухо проговорил рыжий, опрокидывая в широкий рот полстакана самогона.

К часу отплытия, мать спешила к молу с тоскливо обмирающим сердцем. На волнах уж качался катер, ожидавший беглецов, их собралось десять. Плыли: Белов, Широ, мать, под видом учителя полковник Каменский, впоследствии поднявший восстание на Тамани, худой болезненный еврей-интеллигент с двумя чемоданами, два грека-контрабандиста, военный врач, неповоротливый русский немец, будто слепленный из сырого теста и, под видом бухгалтера, сухенький кавалерийский генерал с нарумяненной женщиной, как казалось, легкого поведения.

Мрачный чекист с ртом лягушки и мутными, словно плавающими в грязной жиже глазами, мучительно долго проверял у сходен пропуска. Наконец, владелец катера не выдержал и, подмигнув, отвел в сторону чекиста. Пошептавшись с ним, он вернулся и чекист, действительно, быстро впустил всех на судно.

Подбрасываемый волнами катер заскрипел, среди бела дня стал отходить от красной Анапы в открытое море. С багровым лицом, обветренным морскими ветрами, рыжий капитан стоит у руля. Пока виден маяк, он держит курс на Новороссийск и переполнившие катер беглецы взволнованно ждут, когда скроется острый шпиль маяка. Волны топят его, но маяк еще виден, то исчезая, то мелькая над водой; наконец он затоплен; кругом только волны пенящимися, шипящими гребешками ударяют в борта, да низкие кубовые тучи идут над морем.

— Погляди-ка, что там такое? — проговорил Белову Широ, передавая большой военный бинокль.

У всех захватило душу: на горизонте, нагоняя катер, вырисовалось судно.

— Моторная лодка, идет прямо на нас, — не отрываясь от бинокля, произнес Белов.

И радостное ощущение побега ушло. В страшном ожидании беглецы глядят на близящуюся, подбрасываемую волнами моторную лодку. Но вдруг она круто легла влево и сгинула, словно утонула. И опять ничего кроме волн и туч, только тучи всё черней, волны высоко перекидывают судно, словно бросая его с мокрых рук на мокрые руки. Но Белова и Широ волнует рыжий капитан, он упорно не меняет курса. Может, большевик? Может, плывет к Таманскому полуострову, чтобы выдать? Может, он сговорился с чекистом? Волнение беглецов растет.

— Мы не на Керчь, а на Тамань идем, — говорит капитану Белов.

Рыжий не отвечает, пожимает плечом. Но возле него Широ и Белов с револьверами.

— Клади на Керчь! — разъяренно кричит Белов, — до Тамани всё равно не дойдешь, первую пулю тебе пущу!

Рыжий повернул темное от злобы лицо, с выставленной, отекшей челюстью.

— Становись сам на руль, если хочешь!

И Белов стал на руль, сменив капитана.

Ночью волны растут, начинается буря, вырастает новая опасность: потонуть. Сжатая на корме мать не заметила, как военный врач сел на единственный спасательный круг; каждый раз с ног до головы его обдают волны, но он сидит на круге. Еврей у борта страдает морской болезнью. «Ох, ради Бога, оставьте меня», стонет он, вырываясь из рук Широ. «Да, я же вас держу, вы за борт опрокинетесь!». И в эту бурю, в качку только десятилетний мальчишка, сын капитана, сладко спит в каюте катера.

Около трех часов ночи из морской черноты внезапно вспыхнули сильные огни. Генерал сказал:

— Господа, это «Гебен».

— Какой там «Гебен», это Феодосия, — засмеялся грек.

Никто не мог определить: что за огни? И решили до рассвета не двигаться, бросив якорь в утихающие воды.

XV

По весенним степям армия едет теперь на подводах: и строевые, и раненые. Кто говорит, что Деникин нас ведет в Терскую область, кто — на Дон. Движемся куда пробьемся. В зелени степей одна за другой проходят облитые яблоновым цветом станицы, берега тихих, стеклянных голубых рек. Все эти станицы схожи, но во всех веками слаженный быт теперь взломан гражданской войной. Дядьковская, Бекетовская, Бейсугская, Ильинская. В Успенской мы останавливаемся на отдых и в станичной церкви встречаем вербное воскресенье.

Стрельчатая деревянная церковь полна молящимися, раненые стоят, опирась на палки, на костыли, многие с забинтованными головами, с руками на перевязи, лица исхудалые, глаза впавшие, все с вербами и свечами. Поются тревожно-торжественные великопостные песнопения. Ближе к алтарю, с толстой свечей стоит главнокомандующий генерал Деникин с орденом св. Георгия на шее, чуть позади него генералы: Романовский, Эрдели, Покровский, атаман Филимонов.

На паперти вечерняя темнота пахнет жасмином. Раненые сидят на приступках. Василий Лаврович в обшарпанном штатском пальтишке, подпоясанном ремешком, рассказывает окружившим его офицерам, что в Успенской нас разыскала делегация донских казаков, зовут на Дон, а Дон весь уж в восстании против красных.

— Наконец-то раскачались донцы.

И этот неожиданный просвет всеми ощущается и как спасение, и даже как слабая надежда на будущую победу.

Из Успенской снова на подводах едет по степи армия; перемежаясь с подводами скачут конные черкесы, казаки; но теперь уж все знают: едем на Дон. Путь туда лежит через ту же Лежанку. Миновав несколько станиц, мы въезжаем в нее ранним утром, но теперь без боя и с другой стороны. И пока квартирьеры не развели еще нас по квартирам, наша подвода, запряженная парой вороных лошадей, останавливается на той же площади у церкви. Тогда здесь лежали трупы. Теперь на сочнозеленой траве, с редкими желтыми одуванчиками, пасутся словно фарфоровые, пятнистые телята и играют ребятишки.

На длинногривых потных конях на площадь вскакали два запыленных казака, в синих чекменях, в шароварах с лампасами, в фуражках удальски сбитых набекрень, с вырвавшимися на волю чубами; оба как сорвались с батальной картины.

Когда они спешились, их обступили слезшие с подвод раненые.

— Все встали, чисто как один, из половины области начисто большевиков выгнали, — говорит кривоногий, скуластый казак, потряхивая серебряной серьгой в пыльном ухе, — теперь их, гадов, до Москвы погоним, вас только и дожидаем.

— Стало-быть уж не будете нас обстреливать, как раньше-то, в феврале? — говорит худенький, в чем душа держится, раненый в голову шестнадцатилетний кадет.

Казак грубо расхохотался.

— Да рази ж мы кады обстреливали? Теперь не сумлевайтесь, на себе камунию испытали, и стар и мал за винтовку схватились.

Квартирьеры кричат на краю площади, разводят по улицам со скрипом тронувшиеся подводы. У небольшой мазанки, присевшей в зелени сада, мы слезаем с телеги: это наша квартира на эту ночь. В хате на столе

позеленевший самовар, кое-что нашлось и поесть, но хозяйка, тощая, темноглазая баба еле отвечает и не садится, а подпершись рукой стоит у стены.

— Что, хозяйка, не садишься-то?

— Да постою. В прошлый-то раз вы были что ль?

— В феврале-то? Были. А что?

— Ничего. Народу много побили.

— У тебя кого-нибудь убили?

— Мужа убили, — говорит она глухо и невнятно, без всякого выражения.

Но в избе сразу выростает связавшее всех молчание, вероятно, потому что она кормит нас, убийц ее мужа, и мы будем спать на той же печи, где она спала с ним.

— Где ж его убили?

— Недалечка, вышел он из хаты, его бонбой вашей и убило.

— Снарядом?

— Чи снарядом, чи бонбой, хиба ж я знаю, — хозяйка вздохнула, помолчала. — А сегодня к вашему начальнику комиссар с хлебом-солью выходил, всё народ уговаривал не бежать, так, говорит, лучше — не тронут.

— Да чего ж бегут-то?

— Боятся, вот и бегут, — и сильно оттянув нижнюю губу, хозяйка утерла рот подолом фартука и вышла в сени.

На утро она уж будто попривыкла, попригляделась к нам, страх и недоверие рассеялись; осмелела и ее дочка Маша, девочка в ситцевом в цветочках платьице, с глазами, как серебряные пятачки. Она улыбается нам и, сидя на корточках, заглядывая в бумажку, хрипловатым детским баском поет на мотив Стеньки Разина песню, явно только для того, чтобы мы ею заинтересовались.

— Это что же ты поешь, Маша, а?

Маша, улыбаясь, закрывается бумажкой.

— Песню, — говорит она грудным баском.

— Это у нас песню сложили про первый бой, — говорит ее мать.

— А ну-ка, Маша, покажи.

Зажав в протянутой руке бумажку, девочка смущенно прошлепала ко мне по земляному полу и отбежав, еще больше смутилась, и присела у стены. На бумажке каракулями выведено:

Долго, долго мы слушали
Этих частных телеграм,
Наконец мы порешили
Защищать лежанский план.

И вступивши мы в Лежанку
Не слыхали ничего.
А на утро только встали
Говорят нам все одно.

Что кадеты идут в Лежанку
Не боятся ничего.
И одно они твердят,
Заберем всех до одного.

Лишь кадеты выступали,
Выходили из горы,
То мы все приободрились,
Взяв винтовочки свои.

Положились мы в окопы,
Дожидались мы врага.
И мы их сперва пустили
До Карантирского моста.

Тут же храбрый наш товарищ,
Роман Никифорович Бабин
Своим храбрым пулеметом
Этих сволочей косил.

Он косил из пулемета
Как хорош косарь траву
Крикнем, братцы, мы все громко
Ура товарищу Бабину!

Пулеметы помогали
Пехотинцам хорошо.
Батарея ж разбежалась
Не оставив никого.

И орудья побросали
По лежанскому шляху,
А затворы поснимали,
Все спешили ко двору.

А пехота дострелялась,
Что патронов уже нет,
Хоть она и утеряла
Двести сорок человек.

Жаль товарищей, попавших
В руки кадетам врагам.
Они над ними издевались
И рубили по кускам.

Я спою, спою вам, братцы,
Показал вам свой итог,
Но у кого легло два сына,
Того жалко, не дай Бог!

— Кто это Бабин?

— Солдат был, — говорит хозяйка, — на площади его хата. Да, сказывают, на пулемете его ваши закололи.

Кругом мазанки деревенская тишина; степное высокое солнце; тихое хрустальное небо; в запущенном саду в ветре поблескивают листья тополей; за огородом, за гумном синеет река, а за ней ушли на Дон могучие степи. На дворе у заваленки соседской хаты, на солнечном пригреве сидит коричневая, как индеец, бабка и из морщин печеного лица на меня чуждо и непонимающе глядят глаза выцветшего голубого ситца.

— Здравствуйте, бабушка, вы уж простите, что поселились-то у вас, ничего не поделаешь, не наша воля, — говорю я старухе.

— Чего там сердиться, только говорю, праздник большой скоро, — прошамкала и отвернулась.

Но я не отступаю от старухи, говорю с ней о том, о сем; русскому человеку ведь надо только почувствовать душевную открытость собеседника и он побежден. Я вижу, как бабка уже смотрит на меня по-иному и даже сама позвала к себе в хату. В ее хате над столом висит карточка удалого унтер-офицера пограничника, на декоративно-фотографическом коне лихо взмахнувшего шашкой.

— Кто это, сын?

— Сын, — шамкает старуха и пожевав губами, глухо говорит, — ваши прошлый раз убили.

Теперь и в старухиной хате рождается то же неловкое молчание.

— Что ж он стрелял что ль в нас, что его убили?

— Какой стрелял, — пробормотала старуха и пристально глядит на меня спрятавшимися в морщинах, выцветшими глазами; и словно удостоверившись в сочувствии, заговорила, будто только и ждала, чтобы хоть мне, хоть кому-нибудь, в который раз выговорить всё свое жестокое материнское горе. — На хронте он

был на турецком... в страже служил, с самой двистительной ушел... ждала я его, ждала, он только вот перед вами вернулся... день прошел, к нему товарищи, говорят: наблизация вышла, надо к комиссару иттить... а он мне говорит: не хочу я, мама, никакой наблизации, не навоевался што ль я за четыре года... не пошел, значит, а они к нему опять, он им: я, говорит, в кавалерии служил, я без коня не могу, а они всё свое — иди, да иди... пошел он ранехонько, приносит винтовку домой... Ваня, говорю, ты с войны пришел, четыре года отвоевал, на што она тебе? Брось ты ее, не ходи никуда... што Бог даст, то и будет... и верно, говорит, взял ее да в огороде и закопал... закопал, а тут ваши на село идут, бой начался, он сидит тут, а я вот вся дрожу, сама не знаю, словно сердце что чует. Ваня, говорю, нет ли у тебя чего еще, выкини ты поди, лучше будет... нет, говорит, мамаша, ничего... а патроны-то эти проклятые остались, его баба-то увидела их... Ванюша, говорит, выброси их... взял он, пошел... а тут треск такой, прямо гул стоит... вышел он на крыльцо, а ваши вот и вот во двор бегут... почуяла я недоброе, бегу к нему, а они его уж схватили: ты, кричат, в нас стрелял! он обомлел, сердешный, — старуха заплакала, утираясь негнущимися старыми пальцами, — нет, говорит, не стрелял я в вас... и я к ним бегу, не был, говорю, он нигде... а с ними баба была, доброволица, та прямо на него накинулась, сволочь, кричит, ты большевик! — да как в него выстрелит... он вскрикнул только, упал... я к нему... Ваня, кричу, а он поглядел и вытянулся... плачу я над ним, а они все в хату... к жене его пристают, оружие, говорят давай, сундуки пооткрывали, тащат всё... внесли мы его, вон в ту горницу, положили, а они сидят здесь вот, кричат, молока давай, хлеба давай, а я как помешанная, до молока мне тут, сына последнего ни за что убили... и бабка заплакала, закрывая лицо жилистыми, коричневыми, словно глиняными руками.

— Он один у вас был? — сказал я после молчания.

— Другой на австрийском хронте убитый, давно уж — всхлипывает старуха и сквозь слезы говорит, — ...а парень то какой был, уж такой смирный, такой смирный, — и близко наклонившись, показывая на притаившуюся в углу хаты трехлетнюю светлоголовую девочку, старуха зашептала, — девчонка-то без него прижита, другой попрекал бы, бил, а он пришел, ну, говорит, ничего, не виню я тебя, только смотри, чтоб при мне этого не было... — и размазывая по страческим щекам грязные слезы, старуха снова беззвучно заплакала, затряслась

Я еще раз посмотрел на лихого русского пограничника, провоевавшего четыре года, посидел с старухой, но разговор уже не клеился, старуха выплакалась, выговорилась и молчала, теперь я ей был уже ненужен.

Я пошел к своим раненым, чтоб собираться в церковь: сегодня Великий Четверг.

И эту сельскую церковь, как всякую, обняла сплошная заросль сирени и жасмина. Ночь весенне-синяя, благоуханная. Из церкви нежными звуками выплывает великопостное пение «Разбойника благоразумного...», замирая в воздухе, напоенном сиренью.

После службы, дрожа в сельском мраке, уплывают желтые языки свечей от двенадцати евангелий; в слепых оконцах вздрагивает их свет, а где-то в далеких степях вздыхает артиллерия, это бьются казаки с красными.

— Тут, в церкви, служба идет, а на площади на виселицах какие-то повешенные качаются, — говорит кто-то в темноте.

XVI

Степь, степь, без конца, без краю, зелена ее самая далекая даль, только кое-где кровяными пятнами алеют воронцы, дикие степные тюльпаны. От станицы до станицы мы трясемся на подводах, мы вернулись на Дон.

Сколько дней, недель я не слезал с этой казачьей телеги? Еду, глядя то в знакомую голубь неба, то на тучи, то на зелень степи, то сплю под ветром в темноте ночи. Едучи, вспоминаю Пензу, которая летом всегда пахла известью и пылью. Вспоминаю из детства, как я, восьмилетний, иду по Московской с матерью, мать в каракулевой кофте, на морозе легко и приятно пахнущей какими-то тонкими духами. На углу она покупает у крикливого газетчика листок и, читая его, вдруг плачет, рассказывая со слезами о гибели русской эскадры в Тихом океане; и мне тоже необычно страшно от этой гибели людей в каком-то далеком океане. Пенза, мать, как всё это далеко. Жива ли она? — думаю я. Потом я вспоминаю Москву, как на Пасху студентами, целым скопом, ходили к светлой заутрени в Кремль и на кремлевском дворе, под гул пушек, под перезвон колоколов христосывались с кем попало; вспоминаю свою невесту, Олечку Новохацкую, как иду с ней по Тверской и у нее такие золотые и такие кудрявые волосы, что глядя на нее, прохожие останавливаются, а она, стесняясь, смеется и светлые глаза ее становятся и веселыми и застенчивыми. В революцию я потерял и ее, она бежала из Москвы с семьей куда-то в Закавказье, к границам Персии. Всё это сейчас в степи кажется утонувшим. Так мы и трясемся, шесть раненых корниловцев, на подводе в общем движении степного лазарета; каждый думает о своем. Я думаю и о том, что эта гражданская война *мне ненужна,* что мое участие в ней бессмысленно, что приехав в Новочеркасск, я уйду из армии. И я вспоминаю, как мы ночевали в станице Плотской, в убогой хате иногороднего столяра. С враждебным, наглухо закрытым лицом он, недоверчиво усмехаясь, спросил меня: «Ну, а скажите вот, за что вы воюете?». — «За Учредительное Собрание», ответил я и, чтобы пояснить ему, говорю: «оно было выбрано всем народом, большевики разогнали его, силой захватили власть, вот я и воюю против них, потому что думаю, что только

народом избранное Учредительное Собрание даст русским людям свободу и спокойную трудовую жизнь». Но столяр еще недоверчивей усмехается. «Ну, конечно, вы образованный... оно вам может и понятно. А вот скажите, именье-то у вас есть?» — «Есть... было...», говорю. И столяр вдруг хохочет, смехом показывая, что выиграл спор. Также как фронтовые солдаты, он искренне не в состоянии поверить, что именья для меня не существует, что у меня есть бóльшие богатства; у меня есть русская культура, есть Пушкин; и в эти степи я пришел защищать их. Но ведь и гвардии-полковник Пронский, также как иногородний столяр, этого не понимает; он, действительно, здесь защищает «именья». И в донских и кубанских степях мне «с моим Пушкиным» нет места меж смертельно схватившимися конногвардейцами и столярами.

Мимо наших подвод уходят станицы Егорлыцкая, Мечетинская, Кагальницкая, Хомутовская. В Манычской всех раненых перегружают на пароход и теперь, в предчувствии близкого отдыха, мы, радостные, плывем по желто-илистому Манычу. Ни свиста осколков шрапнелей, ни завываний гранат, ни пулеметного тявканья, всё это вместе с трупами товарищей осталось в степях. Раненые лежат на палубе и только теперь видно до чего измучены бледные лица, устали глаза; вместо обуви ноги обмотаны тряпками, шинели изорваны, прострелены. Пароход выпускает сизый крутящийся дым; сирена длительно замирает на водном просторе.

Мы выплыли из Маныча в светлосеребряный Дон, мощным разливом затопивший луга и леса. Водный простор Дона так велик, что не окинешь глазом. Пароход проплывает мимо древней казачьей столицы, Старочеркасской, где хранятся цепи Степана Разина и живет история казачьих смут. Но вдруг у борта кто-то вскрикнул:

— Господа, немцы!

На легких волнах Дона качается лодка. За веслами сидят немцы в стальных касках, а на руле барышня в чем-то кисейном, белом. Стало-быть, эти каски, подтаскивавшие к окопам «Русский вестник», дошли-таки до Дона?

— Это что ж, союзники или победители? — усмехается шесть раз раненый в войну с Германией, заросший грязной бородой капитан.

— А баба-то! Смеется еще, а?

Вдали на горе золотом горит Новочеркасский собор. Вшивые, голодные, оборванные, грязные, безрукие, хромые раненые уже сходят по сходням на берег; это Аксай. У пристани откормленный немецкий лейтенант, с моноклем в глазу, отдает какие-то приказания своим солдатам, стоящим с деревянно-откинутыми назад руками. Поодаль кучкой стоит много немцев-солдат и, показывая на нас, все чему-то смеются. Что ж, есть над чем и посмеяться.

Идущие по берегу русские прохожие тоже останавливаются перед нами с удивлением. Лабазник с лоснящимся из-под картуза лицом плаксивого жулика, подойдя ко мне, осторожно спрашивает:

— Откеля будете? Кто такие?

— Корниловцы, из похода вернулись.

— Аааа, — безразлично-успокоенно тянет лабазник, словно: «ну, это, мол, нам мало интересно», и спокойно ускоряет шаг.

XVII

Здесь в Новочеркасске недавно еще застрелился атаман Каледин и ворвавшиеся в атаманский дворец казаки, во главе с Голубовым и Подтелковым, зверски убили заместившего его атамана Назарова. Из госпиталей красные выбрасывали тогда в окна белых ране-

ных, добивая на мостовой штыками и прикладами. Потом, восстав против красных, казаки убили Голубова и Подтелкова, а оставшихся в городе красных раненых так же добивали на тех же мостовых. Много крови пролито в Новочеркасске. Но когда мы опять вошли в эту прекрасную донскую столицу, ничто, казалось, в ней и не менялось. Так же мелькают красные лампасы, околыши, чикчиры, шпоры, волнуются в ветре батистовые женские платья, стучат острые французские каблуки, блестят начищенные офицерские голенища, золотятся погоны. Только мы, вернувшиеся из похода, похожие на нищих корниловцы, нарушаем картину этой легкой городской жизни. Но я и не обращаю внимания на вопросительные взгляды и удивление останавливающихся перед нами горожан. Я сейчас счастливее всей этой толпы. Толпа не понимает ведь, какая эта радость, после всего пережитого, идти и вдыхать запах освеженных дождем тополей, видеть голубые лужи или вдруг услышать откуда-то вырвавшуюся музыку рояля.

XVIII

Когда по морю поползли полосы холодного рассвета, стоявший на корме капитан Белов закричал: «Господа, это Керчь! Ей-Богу! И мы, кажется, пролетели прямо по минным полям!». Выбрав якорь, катер тронулся к Керченской пристани. Несмотря на ранний час, на пристани у сходен беглецы увидели бритого человека с тяжелым животом, одетого в чесучевый пиджак и в пробковый шлем «здравствуйте-прощайте»; это был немец из комендатуры. На чистом русском языке он потребовал предъявить документы. И вместе с ощущением большого счастья, что, рискуя жизнью, всё-таки ушли от красных, в душе матери дрогнуло чувство унижения.

— Да-с, тело-то радуется, а душа-то болит, — уходя с пристани, кивнув в сторону немца, проговорил кавалерийский генерал, которому теперь уже не нужно было ни от кого скрываться.

На улице у пристани простонародная толпа; из нее кричат:

— Ну, как там в Новороссийске-то?

— Плохо в Новороссийске, — бросает Белов.

— Плохо? Тебе тут, под немцем хорошо!

И где-то в душе рождается зависть к чувствам простонародной рабочей толпы, могущей пришедших в Россию немцев только ненавидеть. Но от перенесенного путешествия, волнений, недоедания, качки, мать до того слаба, что еле дошла до первой гостиницы, легла и заснула.

XIX

В лазарете на окраине города, в старом липовом саду я и брат лежим в синеполосатых халатах. Какие-то газетчики пишут в ростовских газетах о нас, как о «героях духа», «титанах воли», «о безумстве храбрых», о «горсти горящих любовью к родине», а в лазарете нет ни одеял, ни простынь, ни белья, вместо хлеба за обедом нам подают на блюде хлебные крошки и по пущенному подписному листу ростовское купечество собрало для нас... 476 рублей.

Сюда в сад всё чаще приходят взволнованные женщины; это матери, жены, невесты, сестры; они ищут женихов, братьев, мужей, сыновей. Одни находят, другие узнают о смерти, третьи остаются в неизвестности и все плачут, не в силах сдержать ни радости, ни горя, ни своей тоски. Ко мне подошла высокая девушка с тонким смуглым лицом и широкими блестящими глазами.

— Простите, вы не знали корнета Штейна?

— Штейна?.. ннет... Господин ротмистр, — кричу я знакомому — подите, пожалуйста, сюда!

Как подстреленная птица, гусарский ротмистр прыгает к нам на костылях. Он, оказывается, хорошо знал корнета Штейна, но боевой гусар почему-то смутился и замялся перед девушкой.

— Я невеста корнета Штейна, — говорит она, — вы не бойтесь, я знаю, что он убит, я хочу только узнать всё о его смерти.

И сначала растерявшийся ротмистр теперь рассказывает ей, как жених ее поехал в разъезд в Горькую Балку, как разъезд этот выдала большевикам баба, у которой они заночевали, как большевики захватили кавалеристов и изрубили сонных, как потом, войдя в слободу, наши мстили за изуродованные трупы товарищей и расстреляли предательницу-бабу.

Блестящими, широкими глазами девушка глядит в цыгански загорелое лицо ротмистра и по этим глазам я не пойму, что она чувствует, что вызывает в ней жестокий рассказ о судьбе ее жениха и зачем ей нужны эти страшные подробности гибели корнета Штейна. Ротмистр кончил, больше рассказывать нечего; он неловко что-то бормочет, раскуривая старую трубку. Девушка встала, благодарит, протягивая руку, стянутую белой перчаткой, и в аллее скрывается ее стройно колеблющееся очертание.

В лазарет пришла и моя мать, добравшаяся, наконец, до донских степей. Она готова к самому страшному: убиты. Старшая сестра в канцелярии перед ней листает перечеркнутые, истрепанные списки участников «Ледяного похода». Тонкий палец сестры с обручальным кольцом, наконец, остановился, сестра разбирает имена и, не поднимая головы, спрашивает:

— Роман и Сергей?

— Да.

Молчание.

— Оба ранены, на-днях выписались на отдых в станицу Каменскую, — быстро произносит сестра, вставая и захлопывая книгу, и куда-то торопливо выбегает, кому-то что-то крича.

Когда, через день, я и брат вошли в гостиницу к матери, она бросившись к нам, была в силах выговорить только:

— Нашла... нашла...

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Неизвестный юнкер распахнул высокое красивое окно, в него врывается шум крушенья Киева, ржанье лошадей, перекаты выстрелов и украинские крики «слава»! Это Киев, взятый Петлюрой. Это было, конечно, безумно: в разгар всероссийской гражданской войны пытаться уйти с полей междуусобицы. Но уехав с Дона, я пытался стать в сторону; заняться под Киевом сельским хозяйством. И вот в числе трех тысяч, сдавшихся Петлюре офицеров и солдат, я сижу арестованный в Киевском Педагогическом Музее.

У меня, пензяка, нет никакого касательства к Украине. Но как все офицеры и я был мобилизован гетманом. Мы сражались на подступах к Киеву с сичевиками и гайдамаками; были убитые, раненые, зарубленные сонными в хатах у крестьян, сочувствовавших Петлюре. Теперь Петлюра въехал на Крещатик и ему поднесли шашку свежерасстреленного генерала графа Келлера. А мы, сдавшиеся ему, сидим в музее, в ожидании судьбы и хорошо знаем, что в революцию люди уничтожаются оптом.

По вестибюлю тяжело ходит задыхающийся русский генерал, ждет вступить в переговоры с победителями. Отовсюду накатывается стрельба. Вот совсем близко раздались азиатские крики и с лохмами, выбившихся из-под папахи волос, весь ограначенный, с маузером на перевязи, как сама олицетворенная революция,

в двери музея ворвался рябой, толстомордый солдат в желто-блакитных бантах. За ним такие же, набегу щелкают затворами, блестят штыками. Они называются: чорноморский кош. Русский генерал отброшен к стене, на него наставили штыки. Но с горловым криком «Halt!» кинулся подбористый немецкий лейтенант, похожий на молодого Шиллера. Его отряд рыжих баварцев предупредил революционную резню в стенах Педагогического музея.

Оружие сдано. В вестибюле встали два караула: сичевики Петлюры и сумрачные, в стальных шлемах, немцы, ничего не понимающие в украинской Мексике, но даже несмотря на свою германскую революцию, верные чувству солдатчины и дисциплины.

В постылом плену я лежу день и ночь на паркетном полу обширного зала. Перед музеем толпится толпа жен, матерей, сестер, невест. В вестибюль на свиданье к матери меня ведет, увешанный целым арсеналом оружия, гайдамак с нарочито запорожскими усами.

— Набалакались, — бросает гайдамак.

И едва успев рассказать то, что хотела, мать уже скрывается за дверью в толпе убитых горем женщин. А гайдамак ведет меня назад в зал, чтоб я там лежал на полу. Мне тяжело. В эти оборванные минуты я узнал от матери, что среди всероссийских казней за покушенье на Ленина в Москве, в Керенске убит дядя, Михаил Сергеевич. От толпы ли лиц, от спертого ли воздуха, от недоеданья ли у меня кружится голова. Штабс-капитан Саратов с лицом апаша, сидя на полу, перебирает гитарные струны и мягким баритоном поет:

«Ходят пленные, как тени,
Ни отчизны, ни семьи».

И сделав разухабистый перебор из минора в мажор:

«Ах, вы сени, мои сени,
Сени новые мои!»

Может быть нас скоро расстреляют украинцы, а если не они, то наступающие с севера на Киев большевики, взяв город, расстреляют нас уже наверняка, но пока-что капитан поет:

«Черноморец, как хозяин
Раскричится иногда».

И сделав тот же перебор:

«Что ты ночью бродишь, Каин,
Чорт занес тебя сюда!»

В углу зала, у полковника Калашникова нашлись карты; там по-турецки сидя, арестованные азартно режутся в железку; они забылись. А под высоким окном, возле пришедшей с воли сестры милосердия, хищной блондинки с шапкой золотистых волос, собрались кавалеристы и под общий хохот рассказывают ей соленые анекдоты.

Я наверное устал от войны. Всё мне представляется сумасшедшим. И несвобода невыносимо тяжела. «Хорошо бы из этого человеческого месива вырваться сейчас в какую-нибудь беззвучную тишину, в поля, в леса, иль уехать бы лучше всего на Афон, в монастырь, и поступить там в монахи». Я ясно представляю медлительного, статного, с густо зачесанными назад волосами дядю, всегда с университетским значком на защитном кителе. Арестовав, его вели из дома по Керенской площади, на которой он с детства знал каждую ложбинку; потом наверное заключили в острог, что всю жизнь белел напротив нашего дома и откуда по пятницам выводили арестантов убирать площадь. И когда большевистский керенский комиссар, бывший острожный сторож, тот что раньше, уходя в глубокий воротник чапана, недвижно сидел у полосатой будки и низко кланялся проезжавшему из управы дяде, когда этот темный сторож, по приказу Всероссийской Чеки должен был в Керенске

для казни выбрать десять «врагов народа», он сразу опознал «врага» в бывшем комиссаре Временного Правительства, в образованном юристе, в председателе управы, в моем дяде, и приказал его убить в числе десяти. Их убили на большой дороге, у урочища Побитого, погнав пешком на Пачелму, будто бы «ехать в Пензу, на суд». Всю свою жизнь, ребенком с отцом, подростком из гимназии, студентом из университета, дядя ездил на тройке мимо Побитого. Их убили прикладами и штыками и, разногатив трупы, бросили в чащобе осинника у дороги.

Я в подробностях представляю это убийство: лицо дяди, крики, борьбу, изуродованное голое тело; и со дна души поднимается такая ненависть, что словно вижу, как я въехал бы с отрядом в Керенск, разыскал бы убийц и сам, как собак, расстрелял бы собственными руками.

Двое украинцев несут большое ведро с мутным пойлом. Это обед. Мы садимся в круг, я из-за голенища вытягиваю деревянную ложку и хлебаю. Так нас кормят раз в день и раз в день, под конвоем, унизительно выводят на двор оправляться. В первый же день, на дворе, заговорив с каким-то бородатым офицером, я узнал от него о судьбе полковника В. Л. Симановского: его самосудом растоптала на улице родных Кобеляк случайно проходившая через город украинская банда атамана Ангела.

Люди могут привыкнуть ко всему. Мы привыкли и к музею. Кому-то даже пришло в голову устроить концерт. Украинский комендант разрешил и в громадной аудитории, под красивым стеклянным куполом, арестованные выступают. В первом ряду: сестры милосердия, украинский комендант, унылые, с споротыми погонами, наши генералы, караульные немцы в стальных шлемах и гайдамаки в великом многооружии. Позади — море заключенных.

Хор из арестованных чудесно поет лубочные солдатские песни:

«Неприятель удивлялся
Нашей стройной красоте!»

Хохочут и генералы, и гайдамаки, и комендант, и сестры, и арестованные, смеются даже немцы, всем весело. За песенниками выступает солист, из арестованных, бывший оперный певец, он по-собиновски нежно и легко поет арию Ленского «Куда, куда вы удалились»... На мгновенье он наверное забыл, где он, что он, кто его слушает; такова уж власть искусства. Бывший актер драмы декламирует «В шумном платье муаровом», а комик рассказывает смешные рассказы Аверченки. И, наконец, выходит арестованный с провалившимися глазами на страшном лице трупа, бывший циркач, факир-престидижитатор; он показывает, действительно, чудеса, без крови прокалывая свою голую грудь, ноги, руки.

— А вот если его расстреляют, врёт, кровь потечет, — усмехается мой сосед по концерту, пожилой арестованный в серебряных очках.

Престидижитатора все наделяют шумными аплодисментами, особенно немцы; но вспомнив свое ремесло, циркач увлекся и предлагает загипнотизировать зал, затопив всё водой.

— Топи, топи, просим! — кричат арестованные. Но украинский комендант, быстро встав, запрещает: с наводненьем не случилось бы чего нехорошего. За циркачем на сцену выкатывается кудрявый рыжий куплетист и вихляя задом под чечетку припевает:

«Эх, яблочко, куда ты котишься,
В музей попадешь, не воротишься!»

Этим и кончается концерт. А ночью я вдруг при-

вскочил от грохота, заколебавшего здание. Из высоких окон, дребезжа, летели стекла; казалось, рушатся стены, в страхе заметались вскочившие, полураздетые люди. «Господа! По нас стреляют из пушек!», в одних подштанниках кричит какой-то полковник. «Да, нет, это взрыв!», — кричит кто-то. Я сразу же подумал, что это адская машина; так чего ж метаться, кричать, бежать? Всё равно некуда. Я опустился с локтя на спину и лег, как лежал. Из аудиторий, где еще вечером давали концерт, сейчас несут окровавленных людей; на спящих с такой силой рухнул стеклянный купол, что осколками пробивало не только тела, но и стулья. А в вестибюле, куда в эту декабрьскую ночь кто то, подъехав, с автомобиля бросил адскую машину, лежат, как тряпочные, раскинув ноги, трое убитых часовых. Говорят, этот кто-то, вызвав панику, хотел расправиться с заключенными. Не вышло только потому, что караульные все-таки уцелели.

Провода порваны, электричества нет, темнота. Зал осветился несколькими свечами. В полусвете, гремя оружием, ворвались черноморцы. «Панове! Тихо, не то нагаями бить будем!» В пустые, бесстеклые окна несет снег, ворвался край отмытого черного зимнего неба. И из какого-то сказочного, древнего времени в сознанье приходит: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». По полуосвещенному залу, в направлении ко мне идет вооруженный до зубов невзрачный черноморец и пристально вглядываясь в арестованных, указывает на некоторых и говорит идущим с ним приятелям: «це убив бы... це убив бы... це убив бы...» Я понимаю, он выбирает наиболее ему неприятных: полковников с бакенбардами, как у Александра II-го, интеллигентов в золотых очках, корнетов в красных чикчирах. Сейчас парню не позволяют этого сделать немцы, но когда в Киев въедет чека, Лацис и Португейс разрешат ему «шлёпнуть» всех, кто «триста лет пили народную кровь».

II

Из пустых рам приятно обдает снежным ветром. Одних увезли в Лукьяновскую тюрьму, другие освободились благодаря связям, третьи откупились деньгами и бежали. Нас, без связей, без денег, осталось человек пятьсот. Я заглядываю в выбитое взрывом окно, авось увижу какого-нибудь вольного? Никого. Снег, мороз, пустота. Вокруг музея два квартала опутаны проволокой. Под окнами в зале ветер нанес снегу. Что с нами будет? Вряд ли что-нибудь хорошее. Но вот в этот полу-пустой зал, где гуляют сквозняки и под окнами лежит снег, вошел человек незаметной наружности. Он называется: командир украинского осадного корпуса полковник Коновалец. Он закричал, чтоб через час все были готовы к отправке.

— Куда?

На наши вопросы Коновалец не отвечает. Он — наша судьба. И всех облетает невероятный слух: полураздетых, голодных (хотим мы иль не хотим) нас вывозят в Германию. Я не могу себе этого даже представить. Но похожий на Шиллера немецкий лейтенант подтверждает, что именно он нас конвоирует до Берлина. И нет ни времени, ни возможности даже известить мать.

Я в солдатском бараньем кожухе, подпоясанном стертым ремнем, в седых разношенных валенках. Все мои и братнины вещи: жестяной чайник, две кружки, полбуханка хлеба, несколько кусков сахару. Но двери музея уже отброшены наотмашь, в них врывается холодный, кружащийся вихрь. По пустеющему залу шумят наши сапоги, шелестят валенки.

В улице нас охватывает темная тишина ночи, углубленная осадным положением. Под конвоем конных

петлюровцев, в снеговой тишине мы движемся к светящейся линии трамваев. Гайдамаки на круто вертящихся от мороза конях гарцуют с саблями наголо. Но ни на пеших, ни на конных я не гляжу. Этот сухой морозный воздух, эта ночь, этот скрип сапог по снегу, эти после неволи свободные движенья ног и рук, сейчас мне дороже всего.

Конный гайдамак саблей подает сигнал и непонятно что-то вскрикивает по-украински. Мы влезаем в охраняемые гарцующими конниками трамваи. Они трогаются в темноте; катятся их зеленые, красные, желтые огни. Кавалеристы скачут всё быстрей. Я вижу, рядом с окном еще на-рысях летит темный конный, лица не видно, а его запаленый вороной конь высоко подбрасывает левую заднюю; «попорчен», думаю я, «шпатит».

— Коля, гляди, у нас в столовой огонь, — и растирая замерзшее стекло, блондин прапорщик припадает к трамвайному окну, он впился в какой-то свой огонь, от которого его увозят. Мелькают столбы, дома, тумбы, улицы, снег и скачущие уже в галоп петлюровцы. Блондин прапорщик волнуется, хочет доглядеть огонь в своей столовой. У меня давно уж нет моего огня. Куда я еду? Что чувствую? Чорт знает что, ничего, что-то отвратительное. Эти киевские дома, эти улицы мне чужие, я гляжу на пеленающий их снег, вот этот снег только я, пожалуй, и люблю.

Трамваи остановились. Вокзал. На темной платформе зловеще чернеет строй солдат, нас ведут сквозь него.

— Эх, афицаришки бедные, тоже, поди, дома жана, дети, — тихо говорит голос из солдатского строя.

— А зачем против народу шли?

— От це гарний буржуяка! — смеется какой-то темный петлюровец, с издёвкой показывая на толстого офицера.

По сорок человек мы лезем в черную пасть рас-

крытых скотских теплушек, нас запирают на замок. Я ощупью устраиваюсь в этом временном жилище, ложусь на солому и мне кажется, что этот Киев, бои на снегу, концерт, взрыв в Педагогическом музее, эта ночь с поездкой в трамваях и то, что я сейчас почему-то лежу в безглазой темноте скотского вагона, всё это сон и будто во сне кто-то идет вдоль состава, ударяя молотком по колесам. Но вдруг, разноголосо завыв, поезд рванулся, застонал цепями, и сквозь ветер и метель пошел. Куда? В темноту России.

III

Дальше этой станции нет пути. Это Альтенау, Северный Гарц с вершиной Брокен, куда к ведьмам в гости на шабаш летали Фауст с Мефистофелем. Горный паровозик уперся в синий рассвет, за нами всего два вагона, остальные отцеплены, то-то ночью лязгали цепи и кто-то отрывисто кричал по-немецки.

Я выпрыгнул из вагона. Кругом всё сине, мутно-синие горы, ели на горах, как из каленой стали. В этом курчаво синеватом тумане немецкий городок в три улички кажется заброшенной в горы игрушкой; в долине еле видны его красные черепичные крыши.

После всероссийской стрельбы тишина Германии поражает и обволакивает душу. Этой тишине даже не веришь. Два немецких солдата-инвалида в заплатаных, но все ж аккуратных мундирах ведут нас под гору в Альтенау. Хорошо идти в горах в шестичасовом предутреннике. Мы спускаемся с кручи, ноги легко подсекаются. На гостинице, похожей на сказочный пряничный домик, прибита доска: «Здесь в 1777 году останавливался поэт Вольфганг Гёте во время своего путешествия по Гарцу». Вероятно, это было прекрасное путешествие. Цокая по камням деревянными туфлями, у ко-

лодца сошлись три краснолицых немки, без удивленья глядят на нас, за войну они привыкли ко всяким пленным. Тут они, вероятно, обмениваются сплетнями трех уличек и медленно расходятся скривленной под тяжестью вёдер походкой.

Вывесившись на подложенных под локти подушечках, из странного старинного дома глядит уже проснувшийся алебастровый старичек с трубкой в зубах и чему-то болванчикообразно качает головой.

— Дождался, дедушка, гостей с музею! — смеется, идущий со мной, полтавский вартовый Юзва, украинский люмпенпролетарий с лимонным лицом скопца.

За нами цокают деревянными туфлями немецкие мальчишки, кричат: «Русски капутцки!» Это замирающие крики войны. Но она уже немцами проиграна. С сосен и елей паром улетает туман. На полугорье у высоко обнесенного колючей проволокой дома проминается часовой с винтовкой. Нас вводят в калитку и часовой повернул за нами ключ в замке.

Это бывший лагерь военнопленных офицеров; часовой, вероятно, принял нас за запоздалую партию пересыльных на родину. А я даже не знаю, кто мы? И кто нас, без всякого нашего волеизъявленья, привез сюда, в Северный Гарц? Провожавший до Берлина лейтенант с лицом Шиллера сказал, что мы вывезены желаньем одного немецкого генерала из главного командования в Киеве, понимавшего, что Киев будет взят большевиками и что большевики нас наверняка расстреляют. Что ж, надо признать, что этот немецкий генерал спас нам жизнь.

В зале первого этажа нашего лагеря стоит пианино, здесь в годы войны коротали вечера пленные русские, французские, английские, итальянские офицеры. Сейчас у пианино сумерничает костромич прапорщик Воронкин, акомпанируя себе поет сладким-пресладким тенором гаремного евнуха: «Да, то был вальс, старинный, томный... Да, то был дивный вальс...»

Я открываю окно в отведенной мне комнате и вижу сначала решетку, потом голубое небо в рисунке этой решетки и далекие синеватые горы. Моя комната наполняется горной тишиной. Я слышу голос Воронкина. И вижу, как на дворе от его пенья, у кухни, краснорукая рыжая судомойка Матильда, перестав чистить оранжевую брюкву, замерла в женской вечерней тоске; возле нее рубаха-парень, сибиряк, Еремеев; он охаживает ее и Матильда, вздыхая, тайно из-под фартука дает ему кусок оленины.

В иглах сосен звенит ветер. На городок, на лагерь падают сумерки, филин плачет в далеких горах. Часовой в заплатанном мундире топчется у ворот, мурлыча в усы песню, с которой когда-то ходил по Бельгии: «eine Flasche Rothwein und ein Stückchen Brathen».

Тих горный городок Альтенау. Когда комендант разрешил нам выходить, я увидел всё его несложное бытие. С проблеском рассвета, раскуривая старые трубки, с мешками на спинах, в толстоподметных башмаках дровосеки и шахтеры едут на велосипедах на работу. У колодца горбун-пастух собирает стадо чернопегих коров, нежно позвякивающих привязанными под шеей бубенцами, и под гортанные крики пастуха овчарка прыжками и лаем гонит всё стадо по лесной дороге.

Жители Альтенау мрачны, неразговорчивы. Когда я отворяю дверь небольшого магазина, раздается дребезжащий звонок, звонящий так, может-быть, сто лет. Из задней комнаты ко мне идет аккуратненькая старушка в белой наколке, в никелевых очках, она спрашивает, что я хочу? Но это, по-привычке, еще довоенный вопрос: в побежденной Германии купить можно только мус из моркови и искусно сбитую из множества крошечных кусочков кожи подметку. Эту подметку я рассматриваю с любопытством, в ее мозаике заключена вся трудовая дисциплина этого народа.

С обрыва Вольфсвартэ над Альтенау я гляжу на

клубящийся туманный Брокен, хожу вокруг по горам. Меж строевых елей поднимаюсь на Брухберг, разыскиваю водопады, но чем больше я гляжу на немецкую природу, тем сильнее мной овладевает странное чувство. Я с большим уваженьем оцениваю и сделанные декоративные водопады, и картинно разложенные валуны, и правильность строя насаженных сосен. Всё это прекрасно, как вековое усилье народа, но волновать эта немецкая природа меня не может. Я знаю русский простор, ширь весенней Волги, туманные Жигули, разлив серебристого Дона, Кавказ, Днепр, гоголевскую Украину, тютчевскую Великороссию с берегами лесных речек и мордовскими дремучими лесами, я вырос в хаотической божественности русской природы. И вся эта, сделанная, немецкая мне узка и даже чуть чуть смешновата. Конечно, я понимаю, что военнопленный Франц Зонтаг с точно такой же отчужденностью глядел на наши пензенские темные леса и растянувшиеся ржаные равнины и, вероятно, также чуть-чуть тосковал. «Где он теперь? Должно-быть вернулся из Конопати к себе в Вестфалию», думаю я, спускаясь с Брухберга в Альтенау.

IV

Когда в соседнем городке Клаусталь нас всех, вывезенных из Педагогического музея, соединили, поместив в «Гостинице Павлиньего озера», наша жизнь приняла фантастический оттенок, потому что тут мы начали получать английские посылки с продовольствием. И в тихом Клаустале, где когда-то хаживал Мартин Лютер, мы, гулявшие по его старинным улицам в островерхих папахах, нагольных полушубках, кацавейках и валенках, у голодных немцев сразу же стали воплощеньем счастья, вызывая к себе уваженье и зависть. Галеты, варенья, печенья, мясо, сосиски, шоколад, кофе, чай, сыры, туалетное мыло, всё это в побежденной

Германии было давно уже силой покоряющей всякое воображение.

Киевского хлебороба Кривосапа немцы захватили в Клаустале в постели с двумя женщинами; ночью в лагерном бараке пришедшая полиция нашла сбежавшую от мужа немку в шкафу в комнате подпрапорщика Нескучайло; ежедневно в «Гостинице Павлиньего озера» рассказывали о невероятных происшествиях. Гостиница цвела пиршественным великолепием. Только, к сожаленью, многие наши по дурной русской привычке запили, кто от потери жены иль детей, а кто просто так, от беспредметного надрыва славянской души.

В курильной комнате открылась железка; здесь игрецкая страсть опрощала всё; ночь-напролет тут царствовала даже не демократия, а разумная анархия. За карточным столом, рядом с кавалерийским полковником Любимским, одетым в коричневый френч с колодкой заслуженных в мировой войне боевых орденов, сидели гетманские вартовые Пузенко и Юзва, штабс-капитан Саратов в костюме французского матроса, александрийский гусар смерти, ротмистр Кологривов, вольноперы, солдаты, офицеры в пестроте английского и французского обмундированья и в остатках русской военной формы, принесенной еще с полей войны.

— В банке сто, — сжимает колоду барскими когтистыми пальцами полковник.

— Ва банк.

— В банке двести, — бросает он сквозь щетину подстриженных усов.

— Крою во вись, — дрожит над картой вартовый Пузенко.

— Та ж, Пузенко, державня варта! — скопческим смехом заливается его земляк, Юзва.

— Ваше, — и полковник кладет перед Юзвой колоду.

До горного голубого рассвета в курильной клубится

табачный дым. Словно постарев за ночь, полковник с ненавистью взглядывает на кургузые нечистые пальцы Юзвы, мечащие банк.

А в зале, где днем стоят обеденные столы и устроена сцена, в углу прижался разбитый бехштейн. За ним в полутьме, со свечей, худенький брюнет играет скрябинскую «Поэму экстаза». Фамилия его неизвестна, все называют его паж, он очень молод, нервен, красив и любит только музыку. Но в «Гостинице Павлиньего озера» кроме маршей нет нот, а паж по памяти играет только «Поэму экстаза». И когда одни спят, а другие режутся в железку, паж ночь-напролет играет на рояле и под его пальцами разбитый бехштейн вспоминает лучшие времена. В эту лунную ночь он звучит прекрасно; по крайней мере мне так кажется из барака, а может быть это просто бессонница.

В соседней барачной комнате я слышу, как томский семинарист прапорщик Крестовоздвиженский шутит с сошедшим с ума жандармским полковником Кукушкиным. Не выдержав плена, два года назад, в их комнате повесился французский лейтенант Морис Баяр. Ночью у Кукушкина и Крестовоздвиженского фарфоровое блюдце бежит по разлинованному листу, выговаривая: «Святые отцы молятся о вас и России, молитесь обо мне и Франции. Морис Баяр». В темноте за блюдцем крутятся столы, стулья, кровати, а поутру полковник Кукушкин под подушкой находит таинственное письмо, которое, счастливо улыбаясь, убегает читать в лес, за озеро, а Крестовоздвиженский катается по кровати, на весь барак хохоча густым семинарским басом.

Так уж водится: русские везде поют и пляшут. Не только в Педагогическом музее, но и в Клаустале поручик Матунько составил чудесный украинский хор и каждую субботу в зале лагеря у нас дается концерт. Когда хор поет шевченковское «Як умру, так поховайте», не только у нас, даже у наших гостей, клаус-

тальских немцев, захватывает дух и навертываются слезы. Но, к сожаленью, этим программа не кончается. В балетных пачках на сцену выпархивает балерина, это кадровый капитан Мосин, единственный военнопленный, оставшийся в этом лагере с мировой войны. Не в силах сдерживаться немки хихикают в руку, а мы знаем, что этот замкнутый, желтолицый нелюдимый человечек уже давно не в себе, что здесь в «Гостинице Павлиньего озера» уже в годы войны он выказывал признаки душевного заболеванья. В грязных пачках Мосин танцует умирающего лебедя. Это тяжелое зрелище и, слава Богу, что капитана скоро сменяет всё тот же рыжий, порнографический куплетист с гитарой, что выступал еще перед взрывом в Педагогическом музее.

«Под опеку взяла нас Германия,
Знать достойны ее мы внимания!»

А наутро рассказывают, что поссорившись за картами штабс-капитан Саратов вызвал полковника Калашникова на дуэль, стреляться из винтовок, заложив в магазин по обойме и сходясь на сто шагов по клаустальскому шоссе; кто-то с трудом их помирил. Неизменны причуды и Алексея Жигулина. В этом богатыре я любил красочную первобытность натуры и безалаберную русскую дурашность. Но мне его было жаль. Этому ярославцу-купцу торговать бы красным товаром в Ярославле, а он ни с того, ни с сего попал в немецкую «Гостиницу Павлиньего озера».

У богатыря Жигулина светлые выпученные глаза, серебряные висячие усы и трещащая октава голоса. Однажды в воскресенье, когда клаустальские немцы в праздничных костюмах, с праздничными сигарами, под руку с женами, детьми и с собаками на ремешках пришли на обычную прогулку к Павлиньему озеру, Жигулин потряс их воображенье, надолго заставив говорить о себе. Он появился возле озера в полушубке, в папахе, в высоких сапогах, нетрезвый. Как бы в забытьи он

встал перед озером, невыразительно глядя на его тонкую ледяную корку, и вдруг, закричав что-то дикое, непонятное, сел на берег и начал раздеваться.

Через минуту перед остолбеневшими немцами Жигулин уже стоял в чем мать родила и, диаконской октавой продолжая рычать всемирные ругательства, с размаха, ломая тонкий лед, ринулся в воду. Хохоча, покрякивая из воды, он шел саженками, напрямик режа широкое озеро. Его товарищи с платьем бежали на другой берег, крича: «Сейчас сдохнет!» Но блещущий стекающими струями, гогочущий, рыгочущий Жигулин не только легко вышел на противоположный берег, но еще больших трудов стоило уговорить его одеться.

Мировая война, революция, русская междоусобица, а в особенности эмиграция Жигулину были совершенно неясны. «У меня от всей этой завирухи такое, знаешь, братец, чувство, будто мне кутёнок на сердце нагадил», говорил Жигулин. У себя, в Ярославле он понимал толк в ситце, сарпинке, миткале, успешно торгуя в своей суровской лавке, окруженный молодцами-ярославцами, а когда запирал лавку тяжелыми замками, то гонял по вечернему Ярославлю на рысаках, в которых тоже был знатоком.

Теперь в Гарце, в клаустальской «Гостинице Павлиньего озера» богатырь старался только забыться, залить всё алкоголем; и когда в бараке ночью с хохотом гремел какие-то песни о «денатурке», все знали, стало-быть, у Жигулина кончился коньяк и дымящийся, нетвердый, он веселится, хлеща с Червонцовым денатурат с плавающими в нем для вкусу перчинками.

«Алеша-ша!
Возьми полтоном ниже!»

— отвечает ему высоким фальцетом спившийся военный чиновник из Тулы Червонцов.

Любимский, Жигулин, Червонцов, паж, Саратов,

Мосин, рыжий куплетист, Пузенко с Юзвой, это всё горькая судьба русского народа, обломки от взрыва революции, перелетевшие через границы России.

V

Из Клаусталя апостольским хождением я ушел в путешествие по Гарцу, взяв направление на юг, на Нейштадт, куда с эшелоном эмигрантов из Киева приехал мой однополчанин по мировой войне Кирилл Ивановский.

Перевалив горную цепь «Auf den Acker», я вышел в перемежающиеся полями лесные долины южного Гарца. Обдавая собачьим запахом цветут желторозовые каштаны, сладостью дурманит белая акация; южный Гарц мягче, нежнее северного, от воздуха которого режет легкие. В горной деревушке Рифенсбек, отдыхая в стареньком ресторане, я пил пиво военного времени, безалкогольную безвкусную воду. Хозяйка с завистью смотрела, как в ее пустом зале я ел давно невиданное консервное мясо и белые галеты. По костюму она приняла меня за англичанина и молчала, но узнав, что я русский, старушка сразу встрепенулась, подсела к столу, взволнованно спрашивая, когда же теперь вернется ее пленный сын, работавший в годы войны в России на Мурманской железной дороге, от которого вот уж два года нет никаких вестей. Я знал, что на этой стройке погибли многие тысячи немцев, но успокоил старуху, как мог, и пошел дальше, один, по горам, по долинам к вечеру дойдя до Нейштадта.

Деревня Нейштадт приткнулась у подножья горы, под мшистыми развалинами средневекового замка. Тут, в русском лагере, я и нашел моего однополчанина Кирилла Ивановского. Он встретил меня у ворот. Но так уж всегда бывает, что встречи давно невидавшихся друзей оказываются затрудненными. Мы не знали с чего начать говорить, отыгрываясь на полковых воспомина-

ниях. В передней лагерного зданья я увидал какие-то выстроенные рядами длинные палки.

— Кирилл, что это за бамбуки? — спросил я.

— Это, кавалерия, — улыбаясь, ответил Ивановский.

— Какая кавалерия?

— Это по приказу генерала Квицинского для кавалеристов.

— Так, это лошади? — засмеялся я в восхищении.

— Нет, это пики.

Когда ж я с Ивановским заговорил, что в гражданской войне больше участвовать не буду, что в ней для себя места не нашел и искать не хочу, Ивановский не то что не понимал этого, а просто не хотел об этом думать. Ему уже было всё — всё равно. Это был не тот, остряк, хохотун, весельчак Ивановский, любимец полка, это был потерявший всякое душевное равновесие, разбитый войнами человек.

— Если ты не поедешь, что ж ты будешь здесь в Германии делать? — неохотно говорил он, — тебя ж лишат лагерного довольствия?

— Да я только и хочу уйти из лагеря, уйду к немцам, буду работать.

— То-есть как работать?

— Да как угодно, батраком, рабочим в городе, на любую работу.

— Ах, это всё твоя романтика, — затягиваясь папиросой и пуская медленные дымы цедил Ивановский, — я хоть тоже теперь ни в какую белую армию не верю, а чорт с ними, поеду куда ни повезут.

Так мы и расстались. Ивановский, как и Жигулин, попал на новый фронт русской гражданской войны, в Архангельск, где покорявший север России коммунист Кедров, после пораженья белых, грузил пленных на баржи и расстреливал их из пулеметов. Не менее страшно

погиб и другой мой друг, одаренный рыжий Борис Апошнянский, лингвист и востоковед. Он ходил по Клаусталю с вечно дымящейся трубкой, профессорски рассеянный, грязный и совершенно не имея музыкального слуха, всегда напевал на мотив вальса «На сопках Манчжурии» две строки собственного сочинения: «Дорога идет цум Кригсгефангененлагер». К войне он был неприспособлен, политикой совершенно не интересовался, даже газет не читал, а поехал из Германии опять в русскую гражданскую войну только потому, что везли через Англию, а он говорил: «сам не знаю почему, но с детства мечтаю взглянуть на Англию». И после того, как он «взглянул на Англию», взбунтовавшиеся солдаты армии Юденича в паническом отступлении от Петрограда подняли его в числе многих других офицеров на штыки; а он хотел жить и умел любить жизнь.

Из Нейштадта в Клаусталь я возвращался другой дорогой, по «тропе Гёте» поднялся на Брокен, но на Брокене большой ресторан и никакого следа ни ведьм, ни Фауста с Мефистофелем. С Брокена я стал спускаться вниз к Клаусталю. Была ночь, была темь, где-то плакал филин. Через шесть часов черного пути я устало подходил к «Гостинице Павлиньего озера», где паж играл ту же «Поэму экстаза», Жигулин с Червонцовым «изображали спиртовку», капитан Мосин танцовал умирающего лебедя, украинцы пели «Заповит», а полковник Любимский понтировал против горячащегося и жадного Юзвы.

VI

Гельмштедтского лесоторговца Кнорке я и брат ждали на дворе, сидя на бревнах. Так, бывало, у нас в Конопати нанимавшиеся мужики ждали управляющего именьем дядю Володю, отставного офицера, брата отца. Нанимался я на работу впервые и волновался, когда из балконных дверей вышел толстый немец с мясистым

лиловым носом и дряблыми, отвисшими щеками. Кнорке вышел медленно. Недружелюбно оглядев нас, он крикнул с тем оттенком пренебрежительности, как кричал мужикам и мой дядя.

— Давно работаете на лесных работах?

— Недавно, — ответили мы и точно также, как наши конопатские мужики, почему-то поднялись с бревен.

— Русские? — грубо спросил Кнорке и улыбнулся, приоткрыв золотую челюсть. Я понял эту скверную улыбку только тогда, когда лающе, будто подавая команду Кнорке прокричал: «Как иностранцам по тарифу платить не буду, хотите сдельно, по две марки с метра? Поняли?», и не дожидаясь ответа, лесоторговец показал нам свою толстую спину и гладко остриженный, скалообразный затылок.

Еще ребенком из окна детской я видел, как от нанимавшихся мужиков почему-то всегда вот так же, не дожидаясь ответа, уходил и мой дядя, одетый в зеленую поддёвку и высокие сапоги, а мужики у бревен начинали тогда бормотно переговариваться меж собой и чесали затылки. Сейчас мы с братом также бормотали, переговариваясь.

А в шесть утра в сосновом бору под Гельмштедтом приказчик-немец, вёрткий старичек с валленштейновской бородкой и серебряной цепочкой на вытертом бархатном жилете, отводил уж нам на порубе участок сваленных сосен, лежавших в голубой глубокой росе.

— Гутен морген! — кричит с соседнего участка дровосек.

Согнувшись над мачтовыми соснами, мы оголяем скрябками белизну их стволов. Кнорке нанял нас поделяцки, приказав поставить на давносваленный участок, где немцы не станут работать и за двойную плату. У этих сосен кора присмолилась, скрябка не берет, срывается и на порубе летят наши ругательства, поминающие всех родителей гельмштедтского лесоторговца.

Но вот на дороге задребезжали по корням колеса. И из-за поворота вынырнула голова белой лошади. Одетый в светлосерый костюм Кнорке объезжает в шарабане участки. Возле нас он натянул вожжи, передал их сыну, и тяжело зашагал через сосны. По походке я вижу, что он уже стар, артериосклероз делает свое дело.

— Морген, — бормочет он, тяжело переводя посвистывающее дыханье. Он встал позади брата: мутноватыми глазами следит, как двигается в его руках скрябка. Потом встал позади меня и я ощущаю, как неприятно, из-за куска хлеба драть сосну под взглядом твоего хозяина. Я чувствую глаза Кнорке на моих лопатках, бицепсах, пальцах. Но я не хочу испытывать этого рабьего состоянья и только поэтому разгибаюсь и ставлю скрябку стояком в сторону. Я отираю пот со лба, медленно из-под сосны достаю бутылку и начинаю пить из горлышка. Отпив, передаю брату. Мы нарочно перебрасываемся русскими фразами, а Кнорке цепко глядит то на нас, то на полуободранные сосны, которые он торопится гнать в Гамбург.

Когда я взялся за скрябку, услыхал удаляющиеся тяжелые шаги старика; Кнорке уходил к шарабану, где пофыркивала и от мух мотала головой его белая кобылка. «Хорошо так, утром, ехать по лесу в шарабане», думаю я, обдирая сосну. «Вот я так и ездил у себя в Конопати, только моя вороная кобыла Летунья была много резвее этой стриженой лошаденки, да и шарабан был не этому чета».

В углу поруба брат наткнулся на свежесваленные балки, зовет туда. В свежесваленную сосну приятно врезаться, кора взлетает с нее легкими, вьющимися лентами. Обдирая эти сосны я думаю, что, кто знает, потеряв Россию, может быть, я вот так и останусь на всю жизнь чернорабочим в Германии у лесоторговца Кнорке и буду проводить тогда в лесу по десять, двенадцать часов в день, в голове будет всё меньше мыслей, в душе всё меньше сложных чувств, ибо ничто так не отупляет

человека, как мускульная работа. Конечно, взамен этого я приобрету навык дровосека, научусь валить деревья, на глаз узнавать, когда срублена сосна и сколько в ней метров, буду обдирать сосны в три раза быстрее. Но после трудового дня я буду хотеть только есть и спать, а на рассвете опять пойду в лес обдирать сосны. В сущности, тогда я перестану *быть человеком,* я стану некой такой человековещью, скрябкой с двумя руками и двумя ногами, которая будет жить почти только для того, чтоб работать на лесоторговца Кнорке: в этом и будет состоять *моя жизнь.* Во мне, конечно, будет нарастать озлобленье против отнимающего мою жизнь лесоторговца. И это озлобленье приведет меня, наверное, к борьбе. К какой? Ну, конечно, к той самой, классовой, о которой пишется во всех социалистических брошюрах, но которую я сам еще никогда не испытывал на своей шкуре.

Сам себя мысленно спрашивая, я чувствую, что улыбаюсь: и так, стало-быть, жизнь перекроит бывшего корниловца в революционера-пролетария? Конечно. Жизнь мудра и не терпит пустот. Это сейчас я живу в состоянии, так сказать, неустойчивого равновесия: бытие пролетарское, а сознание барское, а когда я останусь в лесу навсегда, жизнь, разумеется, уравновесит сознанье с бытием.

Тусклое металлическое солнце медленно опускается за лес и когда его красные языки перестают мелькать меж деревьев, я выпрямляю уставшую за день спину, поднимаю с земли мешок и по-рабочему медленно, на плече со скрябкой, ухожу лесом в Гельмштедт.

VII

Тихи гельмштедтские вечера, тихо шелестят вековые липы, затенившие русский эмигрантский дом, под липами тихо гуляют светские русские старушки, меж

собой тихо французя. Тучный владелец дома, немец Гербст, крепко расставив тумбообразные ноги, стоит на крыльце своего ресторана, насупленный и недовольный французским языком. Он даже сделал бы старушкам замечание, но сегодня начальник эмигрантского дома, полковник Делягин уплатил ему за зал, где устраивается русский вечер и он только окрикнул подбежавшую было к дамам свою овчарку. Старушки вздрогнули, но опять тихо пошли машерить под липами, за вязаньем рассказывая, что пишет в Берлине русская газета «Призыв».

Опираясь на палочку, по аллее от русского дома, ссутулившись, идет небольшими шажками камергер высочайшего двора, бывший заведующий капитулом орденов В. П. Брянчанинов. В прошлом старик был близок к царю. У него тонкое, породистое лицо, курчавящаяся, растущая из-под шеи, седая бородка и отпадающая нижняя челюсть. Наперерез ему, из-за лип выбегает стремглав коротенькая девушка Маша в вязаной красной кофточке, резко обтянувшей ее груди; за ней гонится корнет Иловайский и Маша кричит: «Корнет, оставьте, корнет, не смейте!», а по голосу слышно, что Маше хочется, чтоб корнет и смел, и не отставал. Возле дома движется восьмидесятилетний, прямой, даже статный генерал Ольховский, бывший командующий войсками петербургского округа. Кто только ни живет в эмигрантском доме. Иерей из Владимира на Клязьме, отец Иоанн, в черной рясе гуляет по гельмштедтской дороге, говорит он сильно на «о» и ничто немецкое ему не нравится. «Был я и в ихней столице, ну и что же? Разве ж жалкое Шпре («е» отец Иоанн произносит резко по-русски) в состоянии сравниться с нашей порфироносной Невой?». И в своей тоске целыми днями метет отец Иоанн пыль шоссейных дорог, уходит и в лес, вспугивая там диких коз. А когда эмигранты, с котелками и кастрюлями, становятся в очередь за обедом у кухни, здоровенные немецкие девки, разливая суп, неизменно

фыркают перед батюшкой; им чудён мужчина с женскими волосами; но батюшка не обращает на них внимания. Рядом с ним в очереди всегда стоит невзрачный штабс-капитан Тер-Гукасов из Кутаиса, который ежедневно, получая суп, уныло всем говорит: «Раньше-то, вестовой подаст, уберет, а теперь...», и вздыхая, грустно шепчет, — «погибла бедная Россия...».

В трех этажах эмигрантского дома много эмигрантов. Но все дамы с пренебрежением сторонятся простоватой жирной Анны Ивановны Куклиной. Она ни интеллигентка, ни буржуйка, ни княгиня и сама не понимает, как случилось, что из Одессы попала в Гельмштедт. «Не знаю зачем ехала, пьяную французы вывезли, вот теперь и хожу недовольная», говорит вялая, одетая в неряшливый капот Анна Ивановна. У Анны Ивановны одно удовольствие: «Ох, пристиж что-то коньячку выпить», и подмигнув, она пробирается в ресторан за рюмкой дешевого «корна». Осуждая это пристрастие Анны Ивановны, ее хоть и снисходительно, но усовещевает бывший чиновник канцелярии тамбовского губернатора Н. А. Егоров. У Егорова на двери кнопками прижата немецкая визитная карточка: «Н. А. фон-Егоров». Этот милый, аккуратненький старичек всю жизнь мечтал дослужиться до личного дворянства и перед революцией дослужившись не в состоянии даже здесь, в Гельмштедте, расстаться с достигнутой целью жизни, хотя над его «фон» и подсмеиваются, приехавшие из Парижа, спесивые светские супруги де-Обезьяниновы, которых «шокирует» живущий рядом с ними, бывший военнопленный, вятский народный учитель, в плену сошедший с ума И. Р. Плушкин, уже два года, как созидающий новую конституцию Российского Государства, по его мнению долженствующую положить конец всему нестроению родины.

Рядом с эмигрантским домом — барак, где живет молодежь. В коридоре барака я и брат смешиваемся с друзьями, пришедшими с соляных шахт, обмениваемся

приветствиями. Все мы, человек десять, студенты, войной переделанные в офицеров и эмиграцией еще раз переделанные в шахтеров и дровосеков. Но это не так-то просто из потомственного интеллигента перейти в чернорабочие. Приятель, прапорщик Курносов, магистр математики московского университета, попробовал работать на соляных шахтах; мастер дал ему лампу, кирку, посадил с рабочими в клетку и бросил в галлереи на семьсот метров под землю. Он должен был взрывать соль, наваливать в вагонетки, везти по рельсам, опрокидывать вагонетки и снова взрывать, везти, опрокидывать; но в первый же день, не дождавшись еще свистка, Курносов поднялся из шахты и придя домой лег на постель, а вечером объяснял:

— Физически работа нетрудная, могу, но психологически никак. Как только представлю, что надо мной до поверхности земли пласт в семьсот метров — кончено, не могу, — и Курносов сам над собой смеялся.

В барачной комнате гудит печь-колонка. Почистив картошку, я поставил котелок и варю нам ужин. Я достал три картофелины, в побежденной Германии эту роскошь мне из-под полы продала старушка-крестьянка, сказав: ''Alle Menschen wollen leben, alle Menschen wollen Kartoffel essen''. Я сижу за столом, записываю подсчет заработанного за неделю; брат тоже подсчитывает свое; это когда-то, в Москве, я проводил вечера у лампы за философией греков, за поэзией символистов, за «Уединенным» Розанова. Теперь «читать» я и не хотел бы просто потому, что за время войны отвык от этого занятья, да и не могу, потому что за день слишком устаю от обдиранья сосен. Подсчитав заработанное, я лежу, глядя на нашего сожителя по комнате, штабс-ротмистра Белецкого, он смирно сидит на кровати и в тихом помешательстве прогрессивного паралича портняжными ножницами режет свою бекешу.

— Что это вы шьете, Белецкий?

Не отрываясь, он тихо говорит:

— Доломан шью.

Разгоревшаяся печь гудит, как мотор, ярым пламенем пылают опадающие сосновые поленья. Сейчас во всех беженских комнатах время еды и я слышу, как в соседней полковник Беличко кричит на француженку-жену: «Я не собака! Я не могу есть без гарнира!» — «Salaud!», взвизгивает жена и голос полковника переходит в приближающийся к жертве шепот.

По бараку стегает крупнокапельный дождь, застя окна мокрой кисеей. Над бараком шумят вековые липы. В другой комнате, готовясь к сегодняшнему вечеру, киевлянка Клавдия, заломив красивые руки, декламирует: «Я думала, что расцвели яблони, а это выпал первый снег... Петро», обращается она к вернувшемуся из шахты мужу, — «вы ждете, чтоб я варила ужин? Можете не ждать, этого не случится». И слышно, как с тяжелыми ругательствами, бросив наотмашь дверь, муж уходит к соседям.

Клавдии двадцать три года, у нее глаза цвета дождевой тучи, она обольстительна; в эмигрантском лагере она умирает с тоски, не желая становиться «женой шахтера». — «Коля, я маленькая, я хочу сказок!», ломается Клавдия перед вошедшим корнетом Иловайским, «Вы не знаете Северянина? Вы ничего не знаете, Коля, вы неинтеллигентны. А у него есть чудесные стихи про крылатую яхту: «Мы вскочили в Стокгольме на крылатую яхту! На крылатую яхту, из березы карельской!». Только наша яхта была совсем не крылатая, а противная и садились мы не в Стокгольме, а в Севастополе!».

Иловайский пришел от Маши. Маша на него рассердилась и сейчас, чтоб успокоиться, неровными быстрыми движеньями прибирает свою комнату и обертывая электрический рожок в розовую бумагу, сердито мурлычет высоким сопрано:

«Мне хочется любви
Неясной, как мечтанья...»

— Завела, фрайляйн, стучит в донышко, — смеются барачные соседи Маши, Бог весть как залетевшие сюда, пять военнопленных солдат мировой войны.

Под секущим дождем, стекающим с осенних, пахнущих сыростью лип, сжавшись под зонтиками, эмигранты бегут на вечер, в ресторан Гербста. Мужчины собрались вó-время; вспомнив старое, дамы пришли с запозданьем, некоторые даже посылали детей узнать, пришла ли та, после которой она хочет войти; но в начале десятого весь русский эмигрантский дом уже в сборе.

Светские дамы в черных платьях, с кольцами на пальцах, говорят вовсе не о гороховом супе, о дровах, о печках, а ведут словно только что прерванный разговор о Петербурге, о Родзянко, о здоровьи великого князя Николая Николаевича, о наступленьи генерала Юденича на Петербург, о том, что beau frère Ксении Петровны ведет на Гатчину кавалерийскую дивизию.

Мешаясь с дамами, за столы сели ушитые шевронами корнеты армии Бермонда, стройные, как женщины, тоже в браслетах, в кольцах, со шпорами. Вечер открывает заведующий эмигрантским домом полковник Делягин, произнесением вступительного слова и затем объявляет, что корнет Иловайский сейчас прочтет свое стихотворение. Корнет, идя к эстраде, позвякивает шпорами, с эстрады говорит, что это ошибка, что стихотворение не его, а французского поэта Сюлли-Прюдома в переводе Апухтина, но оно очень красиво и он его прочтет; и он читает «Разбитую вазу».

В зале тишина. В углу за дальним столом сидят пятеро военнопленных солдат. Раскрыв рот, невыразительно, непонимающе слушает корнета Иловайского солдат действительной службы, сибиряк Луновой, попавший в плен под Танненбергом. В былом ряжский стрелочник унтер-офицер Болмасов с смущенным смешком потупил глаза в толстую чашку. Корнет же, деклами-

руя, смотрит на Машу, а Маша от его шевронов, от розеток на узких сапогах, от шпор, от глаз с поволокой не знает куда деваться.

— Противно, — говорит Клавдия, — какие-то глупости про разбитое сердце.

Но раздаются аплодисменты и полковник Делягин объявляет следующий номер программы.

— Сейчас дорогой Валериан Петрович Брянчанинов любезно сыграет нам наш прежний и, надеемся, будущий петербургский парад войскам.

По залу пробегают легкие аплодисменты. Под них седой камергер дрожащей походкой поднимается на эстраду и говорит кланяясь и улыбаясь.

— Господа, я не буду сегодня играть ничего серьезного, я хочу сыграть то, что приятно каждому русскому сердцу: мою импровизацию «Парад войскам петербургского гарнизона».

По ресторанным столам еще раз пробегают аплодисменты. Камергер сел за рояль, из-под старческих рук метнулись бодрые и сильные аккорды. Но вот «преображенцы», говорит в паузу Брянчанинов и трудно аранжированный бьется, летит по залу преображенский марш; «семеновцы», кричит он, марш летит упругими гутаперчевыми звуками, старик склоняется к роялю, улыбаясь, вероятно, воспоминаниям. В туче звуков раздается генерал-марш, «кавалерия», кричит камергер и перед ним на гнедых конях гарцует конная гвардия; но вот «артиллерия» кричит Брянчанинов, он раскраснелся, взволнованно откидывается корпусом влево, артиллерия в левой руке гудит по мостовой орудиями и гул ее сливается с общим заключительным маршем и с аплодисментами зала.

Встав, камергер прижимает бледную, уставшую руку к сердцу, кланяясь легко и элегантно.

— Устал, — говорит он.

В зале общее движенье антракта, шуршанье платьев, шаги, смех, голоса.

— Valse générale! — в общем шуме, дирижирует полковник Делягин и на некрашеном досчатом полу ресторана шестидесятипятилетний генерал Юрлов с старушкой, бывшей фрейлиной Ланиной открывают танцы вальсом в три па.

— Grand rond s'il vous plaît!

Вальс сменяется мазуркой «Под тремя коронами», ее играет старик Брянчанинов, а дамы восхищенно смотрят, как в первой паре полковник Делягин танцует с Клавдией; он то быстро плывет мелкими шажками, то приостанавливается, притоптывает в углу залы и выйдя на прямую, опять стукнув ногой об ногу, лихо несется первым па.

Мазурка гремит пока с кухни не вбежала кухарка-немка, закричав:

— Русская барышня отравилась!

Старый камергер не слышит, играет, улыбаясь, мазурку, но дамы вскрикнули, корнеты бросились к двери, впереди всех с искаженным лицом бежит Клавдия. Отравившаяся лежала на полу грязной барачной комнаты без сознанья, изсиня бледная, известковая; стол повален, разлетелись чьи-то разорванные письма. На полу валяются «Четки» Ахматовой.

VIII

На сыром, до костей пробирающем рассвете, с мешком за плечами, в руках с наточенной скрябкой, я уже иду по лесу на работу, когда бывший заведующий капитулом орденов В. П. Брянчанинов, несчастная Клавдия, аккуратненький фон-Егоров, полковник Делягин, спесивые де-Обезьяниновы, запьянцовская Анна Ивановна, бывший командующий округом генерал Ольховский, умопомешанный учитель Плушкин, отчаявшийся отец Иоанн, все корнеты, все дамы, все эмигранты

гельмштедтского дома еще спят под шелест осенних лип.

Отдых мой только в воскресенье. Как всякий чернорабочий я живу, собственно, только один день в неделю. Но зато с необычайным чувством животного удовольствия я просыпаюсь в воскресное утро. Правда, все воскресенья я провожу одинаково и несложно, как проводят их чернорабочие: отсыпаюсь, не торопясь моюсь, спокойно ем и весь день приятно чувствую свое отдыхающее тело. А к вечеру, чисто одевшись, с приятелями ухожу в деревню Бендорф в ресторан «К зеленому венку», где собирается рабочая молодежь в дыму дешевых сигар пить пиво и под тренькающую музыку старых клавесин танцовать модный после войны «шибер».

IX

В Берлин я приехал, когда столица Германии под союзной блокадой сохраняла еще весь свой военный вид. Как древнеязыческое изваяние у Аллеи Побед вздымался исполинский деревянный монумент фельдмаршала Гинденбурга. В годы войны за плату в десять пфенигов немцы вбивали в него гвоздики, покрывая монумент броней железных шляпок; от горла и до колен богатырский фельдмаршал был уже сплошь в броне.

Иногда по Унтер ден Линден с отчаянным грохотом проезжали редкие автомобили на железных ободах; резиновых шин давно не было. Магазины пусты, люди бедны, лица немок в уличных очередях, прозванных «полонезами», унылы. У побежденной страны нет даже государственных границ, их только что создают. Берлин словно умирал, дрожа на ветру.

Я поселился в его рабочей части, у Штетинского вокзала, в тяжелом городском безвоздушье, среди вечного лязга, грохота, криков, где днем на улицах толк-

лись безработные, а ночью высыпала бесчисленная армия дешевых проституток.

Но вскоре же после моего приезда, выйдя однажды утром за газетой, я был поражен необычайной сонной тишиной города. Также в «полонезах» стояли немки, также тарахтели редкие бесшинные автомобили, но город был полон странной, внушающей тревогу, тишиной; и, наконец, от седовласого, беззубого газетчика я узнал, что этой ночью правительство бежало в Дрезден, когда в пролет Бранденбургских ворот неожиданно вошла железная бригада капитана Эргарда; это был Putsch заговорщиков «Свободы и действия», Каппа и Лютвица.

От нечего делать и я пошел в центр города, всё явственней чувствуя в этой странной тишине разливающееся немецкое медлительное волнение. Есть что-то затягивающее в волненьи больших городов. Вспоминая некрасовское «зато посмеивался в ус, лукаво щуря взор, знакомый с бурями француз...», я шел в толпе. На Шлоссплац кепками, шляпами, котелками уже переливается толпа. Я знаком с самой страшной бурей, русской, и в этой немецкой мне чудится ее отголосок, хотя музыка ее совершенно иная.

Над Унтер ден Линден в лучах солнца парят аэропланы заговорщиков, дождем сбрысывая вниз листовки. Ощетинившимися дикими зверями толпу медленно раздирают броневики «железных ребят» Эргарда. Но город всё-таки мирен; звонят идущие трамваи, у вокзала на козлах пролеток дремлят еще довоенные старики-извозчики. Какой-то разъяренный пивник с закаченными по локоть рукавами кричит окружившей его толпе о зачинании новой войны с Францией. В его сторону смеются всю войну провоевавшие рабочие; но ничто не переходит границ уличного возбуждения, словно немцы и здесь ждут приказания. И к ночи от бежавшего в Дрезден правительства получен приказ всеобщей стачки; он

застал меня на ночной Фридрихштрассе, в той же толпе, и я увидал, как по команде Берлин погас, лег и умер. Теперь напрасно, упираясь то в звездное небо, то бегуще скользя по матовости далекого асфальта, шарят мощные прожекторы заговорщиков. Железные ребята на грузовиках напрасно бороздят красными факелами черные улицы; Берлин не встает, умер и вместе с ним по команде всеобщей забастовки умерла вся страна.

А к утру столица уже гудит поднимающимся тяжелым волнением. На моей Инвалиденштрассе неизвестно кто рыл окопы, но она изрыта, забаррикадирована, по углам пулеметные гнезда. Заборы Шоссештрассе пробиты, в их дыры выглянули узкие собачьи морды пулеметов. Ни воды, ни света, ни движенья, ни хлеба, ни угля, ничего нет в Берлине. И из рабочего Нордена катится гул разжигаемого Москвой восстанья спартакистов; говорят, Москва против Веймара играет на обе руки, поднимая и «железных ребят» и красных.

По улицам, ставшим пустыми и необычайно длинными, текут миллионные толпы. Я иду в толпе. Чего я не видел? Устал от виденного. Но страшная вещь толпа, и я чувствую, как этим миллионным топотом ног, этим океанским стихийным движеньем она заражает меня, хоть эта немецкая толпа и совершенно несхожа с русской человеческой лавой. Немцы идут без слов, строем, в ногу, глаза опущены в пятки идущих впереди, по команде трижды вскрикивают «Hoch!» и трижды «Nieder!», но ногу подсчитывают, не сбиваются, заботливо обходя встречные газоны, цветники, сады; недаром эту немецкую стихию так ненавидел апостол русского революционного разрушенья, Бакунин.

Фридрихштрассе, Люстгартен, Унтер ден Линден, Шлоссплац всё запружено никогда здесь не бывающими рабочими, над ними красные полотнища, лозунги социал-демократов, профсоюзов, коммунистов, католиков и бок о бок в толпе едут тут же на грузовиках с вьющимися,

белочерными прусскими штандартами «железные ребята», крича Эргарду трижды «Hoch!», а Эберту трижды «Nieder!».

«Pfui, pfui!» свищет толпа, но никогда никто, очертя голову, не бросится на грузовики, не сомнет их в драке, как рванулась бы наша несдержанная в страстях славянская толпа Москвы, Пензы, Калуги. Сброшенных с аэропланов листовок уже по-колено, люди ходят весело шурша бумагой, но ночью с огнедышащими красными факелами всё еще ездят на грузовиках солдаты Эргарда, неуставшие от четырехлетней войны и желающие новой; правда, их факелы тонут в беспросветной темноте.

И вдруг в моей комнате, задохнувшись, из водопроводного крана брызнула вода, нелепо вспыхнуло среди дня электричество, а за окном зазвенели стоявшие в обмороке трамваи. Что случилось? Это железная бригада капитана Эргарда отмаршировала назад в Деберитц, а правительство Эберта возвратилось в Берлин, дав немцам команду: работать! Из германских берегов реки без приказанья не выходят.

Городские служащие подметают, убирают от листовок улицы. Берлин принимает свой деловой вид, будто ничего и не было. По Унтер ден Линден уже бездельно гуляют фланеры; торопясь на службу, девушки мурлычат модную песенку «Твои темные глаза, как два каштана»; в пивных какие-то бисмарковские старики-пенсионеры пьют пиво и ругают правительство; подземная дорога, словно выплевывая, выбрасывает немцев по всему Берлину.

X

Голодная, продрогшая, в туфлях, сшитых из лоскутов какого-то ковра, оставшаяся в Киеве, моя мать ежедневно выходила на Еврейский базар, чтоб у приезжих окрестных крестьянок выменивать скатерть, про-

стыню, полотенце на какую-нибудь еду. Это страшная первобытная эпоха военного коммунизма. В Киеве властвовал террор и сплошной голод. На Еврейском базаре шла древняя меновая торговля. Сытые краснощекие бабы-хохлушки из подкиевских сел и скупые на слова мужики за картошку и хлеб брали у горожан юбки, обивку с кресел, зеркала, гардины, графины, стулья, ножи, столы, даже ночная посуда и та шла в деревню. Так, чтобы жить, торговал весь когда-то богатый город, так торговала вся Россия. И те, у кого оставались еще силы, подсмеивались над всеобщим торжищем, говоря, что это и есть «национализация торговли», когда вся нация торгует.

Правитель Украины Раковский жил во дворце миллионера Могилевцева и на его парадной лестнице были установлены пулеметы. Перед зданьем чеки часовые сидели в национализированных буржуазных креслах. Киевские школы были без учителей, больницы без лекарств, мастерские без инструментов, магазины без товаров, дома без отопленья, у жителей были хлебные карточки, но не было хлеба, и обитатели многоэтажных домов стояли во дворах в очередь к единственному водопроводному крану, чтобы получить хоть немного воды.

В прекрасных киевских садах и парках деревья рубили на дрова. Город обезобразился гипсовыми бюстами Ленина. Изнуренные террором, голодом, сыпняком, киевляне ходили с тупо испуганными лицами. Киев стал коммуной перепуганных нищих. По ночам все спали с открытыми окнами, чтобы заранее услышать приближенье обыска иль ареста. Жизнь людей управлялась приказами, мандатами, ордерами, мобилизациями, уплотненьями, выселеньями, контрибуциями, реквизициями и расстрелами. Коммунистические газеты печатали списки расстрелянных «в порядке красного террора», а в органе чеки «Красный Меч», газетке никогда еще невиданной в мире, чекисты за всякое сопротивленье грозили новым террором.

На Лукьяновке, окраине Киева, в каменном флигеле жили моя мать, тетка полковница Е. К. Высочанская и их друг А. Д. Похитонова, дочь в былом известного генерала. Голод, террор, бездровье, безводицу, солдатские постои и все испытания, которым чернь подвергала русскую интеллигенцию, женщины переносили достойно. Жили тем, что выменивали на еду еще оставшиеся, не Бог весть какие вещи. А когда на базар нести уже было нечего, разошлись на работу по чужим людям. Мать пошла в услуженье к жившей неподалеку старухе. У старушки оставалась еще всякая заваль на мену, а главное, был сад с огородом, что в эпоху интегрального коммунизма всякому представлялось несметным богатством. Став прислугой за всё, мать носила на базар яблоки, стирала белье, мыла полы, убирала дом, работала в огороде и готовила на восьмерых буденовцев, стоявших постоем у тихой старушки. Эти удалые, нахрапистые парни тоже помогали жить; с кладбища, разрушая жилище мертвецов, они воровали кресты и могильные ограды и распиливая их, создавали дрова; в эту лютую зиму многие киевляне так спасались от замерзанья.

Старушка, из-за возраста, революции уже не замечала. Даже на дубасивших на рояле буденовцев глядела как бы из потусторонности. Только изредка, когда к ней приходила подруга по Смольному, она оживлялась и тогда обе старушки за желудевым кофе с лепешками из картофельной шелухи вспоминали о шифрах, о шалостях, о том, как в высочайшем присутствии на выпускном балу танцовали качучу. А за стеной политком учил только что обворовавших кладбище буденовцев тому, что красная армия есть передовой отряд мировой революции, которую Ленин ведет к победе над мировым капиталом. И мимо дома с грохотом пролетали темные грузовики с вооруженными кожаными куртками, везшими арестованных понурых каэров.

Но на вторую зиму у матери уже не было ни шубы,

ни обуви, чтоб ходить на базар и она поступила нянькой в детдом, переполненный беспризорными ребятишками, в буквальном смысле слова детьми революции, ибо родители их расстреляны, пропали без вести, умерли от сыпняка. Здесь в нетопленном детдоме мать и получила мое, отправленное с оказией, письмо из Гельмштедта, из которого узнала, что старший ее сын стал шахтером на соляной шахте, а младший дровосеком в брауншвейгском лесу. Счастье этой вести было велико, но оно смешалось со страхом: а вдруг из этой немецкой шахты, из этого брауншвейгского леса вздумают возвращаться в Россию, на родину? И в одну из морозных, зимних ночей, когда плакали некормленные ребятишки, мать решила уйти к своим сыновьям. Пешком из советского Киева в Германию? Да. И это решенье стало жизнью матери, благодаря ему она как будто даже жила уж не в затерроризированном, голодном Киеве, а где-то гораздо ближе к своим сыновьям.

У Анны Даниловны Похитоновой от отца генерала осталась военная семиверстка со всеми дорогами, селами, хуторами, лесами, местечками, реками. Приходя ежедневно к ней, мать наизусть заучивала путь своего побега из Киева до польской границы, выбрав, как верующая, направленье на Почаевскую лавру. Оставалось только ждать тепла, лета.

Майским погожим вечером, когда всё уже на Лукьяновке зазеленело, в заглохших садах пели невесть откуда залетавшие соловьи, а на согретых солнцем крышах, распластав хвосты и крылья, грелись серопепельные голуби, в калитку сада неожиданно вошла моя старая няня Анна Григорьевна Булдакова. Несмотря на теплынь — в валенках. В родном пензенском Вырыпаеве, получив письмо матери, Анна Григорьевна сразу поняла немудреный шифр и, правдами и неправдами, с палкой и котомкой, добралась до Киева.

После первых слез радости Анна Григорьевна сразу

же сказала, что одну мать не отпустит, а пойдет с ней. И тут же стала разуваться и отпарывать подметки валеных, в которых принесла остатки добра. Из стоптавшихся за дорогу валенок к всеобщему огорченью керенки вынули до того промокшие и порыжелые, что мать, няня, все тут же принялись разводить плиту, сушить и разглаживать их утюгами.

XI

Небо, ветер, облака. Длинными волнами рябится пшеница. От этого безразличья солнца, ветра, пшеницы, облаков людям на революционной земле еще страшнее. Нарочито отстав от неизвестных попутчиков — Бог знает с кем идешь в революцию? — мать и Анна Григорьевна идут от Бердичева по большой дороге, пылят по ней веревочными самодельными туфлями. В полдень под березами, обставшими шлях, набрали сучьев, со спины отвязали чайник, на костре вскипятили чай и, подкрепившись, зашагали дальше на село Чернобыль, скорачивая по проселочнику заученный матерью путь.

Странницы идут с палками, с мешками за плечами. Чтоб расплачиваться за еду, за ночлеги, за перевод через границу, в мешки натолкали отовсюду собранные полотенца, платки, кофты, салфетки, простыни.

— Замучились? — говорит Анна Григорьевна, глядя на мать, — вон девки с поля идут, попросим мешки донесть, по полотенцу дадим.

И странницы садятся на придорожный пригорок, поджидая девок, ситцевыми пятнами вышедших с межи. Девки идут неспешно, поют пронзительными голосами. Только подойдя, оборвали пенье, с любопытством рассматривая сидящих у обочины странниц. За полотенце, смеясь и давя друг друга, девки кинулись к мешкам. И порожняком Анна Григорьевна и мать легко ступают за

ними. Вот уж сельское кладбище, палисадники, хаты, тополя; на сельской тихой улице мать развязала мешок, расплатилась двумя полотенцами. В восточном лиловом сумраке и в западном алом закате темнеет сельская пузатая церковь с высокой звонницей. «Может, просвирня иль церковный сторож пустят?», говорит Анна Григорьевна; и палкой постучала в дверь двухоконного, присевшего на бок дома.

— Кто там? — небыстро ответил за дверью женский голос и на порог вышла женщина с гладко зачесанными волосами и закаченными по-локоть рукавами на жилистых и длинных мокрых руках. — Входите, входите, — сказала просвирня, — странных как не пустить, только горе у меня, дочь хворая, в горницу-то не зову, тут уж разбирайтесь.

В горнице на деревянной кровати, надрывая грудь, кашляла девушка. Просвирня взялась раздуть потухший самовар и вскоре в темноватой прихожей, освещенной светом розовой лампады, мать засыпала на лавке и этот сон у просвирни был как никогда отдохновенен. «Мам... а мам... кто пришел... а?». — «Странные, Лиза, странные», — слышит, засыпая мать. «Мам... а куда они идут?», заливается легочный клокочущий кашель больной девушки — «Далеко, Лиза, далеко...».

Звон к ранней обедне разбудил странниц. По церковному двору, вея космами, прошел священник. Охая и крестясь, на крыльцо кормить кур вышла просвирня. Солнце, куры, тишина, у церкви, обивая с него поржавевший, облетающий цвет, ветер треплет сиреневый куст.

Застив ладонью глаза, просвирня с крыльца глядит вслед уходящим странницам. Несмотря на шестьдесят четыре года Анна Григорьевна идет легко, отдохнула и мать. Проселочник стелется меж пшеничных полей, с них налетает духмяный ветер, а в полях тишина, только высоко трепыхается, словно не могущий улететь, утрен-

ний жаворонок, да где-то далеко в поле ковыряется скорчившийся одинокий мужик.

Знаток духовных стихир, Анна Григорьевна неестественным крестьянским наголоском находу поет тропарь покровителю плавающих и путешествующих Николаю Угоднику «Правило веры, образ кротости»; так всегда тоненько-тоненько, по монашечьи певала странствуя по святым местам. Мать наизусть знает, что пройдя за Романов им надо свертывать на Миргород. За ними, нагоняя, тарахтит телега, поднимает в солнечных лучах клубы горячей пыли; изредка возница лениво взмахнет кнутом; поровнявшись, мужик долго глядит на странниц, пока они не скроются у него из глаз; и опять поля, дорога, в небе длинные растянувшиеся облака.

В Романове мать постучалась в крайнюю хату; окошко приподнялось, выглянула повязаная платком баба с бельмом на глазу.

— Ночевать пустите?

Недружелюбно одним глазом оглядывая странниц, кривая баба не отвечала.

— Мы полотенце дадим.

— Идите, — сказала равнодушно и слышно, как босиком прошлепала к сеням, с шумом сняв щеколду, — только в хате-то местов нет, самих пятеро, под навесом переспите.

Навес обступили пирамидальные тополя с блестящими, словно отлакированными листьями; в лунном свете тенями на стене чернеют вымахнувшие саженные мальвы; с соломы матери видны небо, звезды, но дорожная усталось уносит мать в бессознанье, ей кажется, что она летит вместе с этой ночью, с лесным поселком, неразделимая от этих серебряных звезд, от тополей, освещенных желтым обрезком мусульманского полумесяца.

На рассвете баба хозяйски осмотрела полотенце и после этого рассказала, как идти на Миргород.

XII

Полями, лесами, межами, проселочниками, большими трактами уже давно идут странницы, делая в переход верст по тридцать. Растертые ноги лечат подорожником, недаром он и растет по обочинам дорог; иногда за день не встретят живой души, иногда от верховых, от подозрительных пеших, хоронясь, бросаются в хлеба. Раз испугались в поле двух вахлаков, один оборванный, взлохмаченный приостановился и с сиплым хохотом закричал: «Семка, а одна-то ще годится!». Молча, испуганно, не оглядываясь, уходили от них странницы.

После многих ночевок мешки поопростались. За долгий путь люди встречались разные, кто совсем не пускал ночевать, говоря: «много вас теперь шляется, может буржуи какие беглые скрываетесь», кто запрашивал и кофту, и полотенце, с ними торговались, а многие ничего не брали, кормили и указывали дорогу.

Уже давно странницы идут по следам войны, попадаются обвалившиеся окопы, разбитые артиллерией церкви, сожженные хутора, в изнеможеньи повисшие меж речными берегами взорванные мосты. Над безлюдными полями, через силу маша крыльями, тянут стаи грачей. В полевой тишине Анна Григорьевна поет «Волною морскою скрывшего древле», а мать идет с думами о своих детях.

После многих недель пути, подходя к Полонному, мать сильно волновалась: тут надеялась узнать, где лучше перейти границу. Но за неделю жизни в Полонном ни у кого не узнала, годно ли для перехода заученное ею по семиверстке направленье. А задерживаться нельзя, в волненьи и бездействии только падают силы, и мать решила все же идти на-авось по зарубленному в памяти пути, жившему в мозгу огненной ломанной линией, уводящей из России.

Перед уходом пошли на реку искупаться. Медленная река дремала на солнце. У мостков бабы полоскали белье, словно со злостью колотя его вальками. С мостков, завизжав, в реку бултыхнулась широкобедрая баба и поплыла, подбрасываясь лягушкой, показывая из воды ягодицы. Купаясь, баба перекликалась с товарками и, наконец, выскочив, схватив одежду и трепыхая грудями, согреваясь, побежала по траве. Возле поодаль раздевавшихся матери и Анны Григорьевны, она приостановилась и, присев на корточки, стала одеваться.

— Ох, тут глыбко, не суйтесь, у нас прошлый год тут парень утонул, — проговорила баба, останавливая пошедшую-было в воду мать. — А вы нездешенские?

— Нездешние, мы на богомолье идем, — и под влияньем все того же томящего страха за правильность взятого пути, мать неожиданно для самой себя вдруг добавила, — в Почаев хотим, да вот не знаем, как границу-то перейти.

— Ааа, — таинственно протянула баба и сделав значительное лицо, подсела поближе, подрагивая холодеющим под рубахой телом. — А я вам вот что, я вам человечка найду, через границу водит, — зашептала она, — брат мой, если хочете проведет и дорого не возьмет.

Прямо с реки мать пошла к бабе. Бабина хата темная, в красном углу смуглая божница с картинками святых, густо засиженными мухами. У печи что-то стругает хмурый солдат, бабин брат, контрабандист, ходящий за товарами в Польшу. Выслушав зашептавшую сестру, он не изменил хмурости лица и исподлобья оглядев мать, пробормотал, что раньше чем через неделю не пойдет. Но с ним мать и не согласилась бы идти, уж очень жуток, и мать ответила, что неделю ждать не может.

— Как хочете, ступайте сами, только вострей глядите, у границы-то там не милуют, — проговорил солдат и опять застругал, взвивая фуганком стружки.

Веря в свои молитвы, которыми горячо молилась на-ходу по лесам, по дорогам, по ночам в чужих хатах, мать решила завтра же идти на Шепетовку по заученному по карте пути. Последнюю ночь в Полонном мать молилась, как никогда. А в желтоватой мути рассвета, с полегчалыми мешками странницы уже шли вдаль новой дороги. Но чем ближе к границе, тем путь опаснее, состоянье томительней, иногда пугались случайного крика, подозрительно глянувшего встречного, часто бросались в хлеба, скрываясь от пеших, конных, от проезжавшей телеги.

Когда дошли до лесного железно-дорожного пути на Шепетовку и пошли по шпалам, вздохнули свободней: встречных нет, тишина; только раз издалека показалась дрезина и на ней, будто, вооруженные. Что было сил странницы сбежали под откос, залегли в чащобе. Были слышны голоса, гул колес и опять всё напоено лесной тишиной. За день увидели только один перегруженный пассажирами поезд, из которого какой-то ребенок замахал им белым платком.

К вечеру, дойдя до железнодорожной будки, решили попроситься переночевать у старика-сторожа. Старик принес сена, настелил на полу и, осмелев, странницы рассказали, что идут в Почаев на богомолье, да боятся пограничников.

— На Шепетовку ни-ни, упаси Бог, не идите, — проговорил старик, — в каждой хате солдаты, — и пригоршней чеша седую кудлатую бороду, добавил, — вы полотна держитесь и лесом на Словуту берите, а на Шепетовку ни-ни, пропадете, верное дело.

Мощные словутские леса ревут под натиском ветра; сосны, ели ушли в поднебесье; в бору пахнет смолой, грибами, всей пахучей духотой краснолесья. Приостанавливаясь, странницы собирают ежевику, костянику, на полянах не раз кипятили чайник, закусывали и снова идут по ревущему многовековому лесу, по до-

рогам, изрезанным сказочными корневищами. В отрочестве мать мечтала вместе с набожной теткой Варварой Петровной пойти богомолкой по России, но пошла вот только так на Почаев, в революцию.

В лесу Анна Григорьевна поет: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», а мать полна смятенных воспоминаний. То внутренно увидит на керенском балконе отца за чаепитием и словно услышит его ласковый голос и слезы позднего умиления подступают к горлу; то вспоминает рано умершего мужа, жизнь с ним в Пензенском доме, в именьи, как каждый год вот этой же дорогой через Варшаву ездили в Германию, в Бад-Наухейм, а потом после леченья мужа отдыхали всегда в Париже, а из Парижа в Пензу возвращались через Италию, Вену, с непременным заездом в Москву, чтоб в Художественном увидеть новые постановки, в Большом послушать Шаляпина и вечером с друзьями семейно заехать к цыганам в загородный Яр. Вокруг матери стонет словутский лес. На груди у нее, под кофтой еще бабушкин медальон с выцветшими фотографиями мальчиков трех и четырех лет и она никак не может представить их шахтером и дровосеком; и горло сжимается любовным ощущеньем близких слез...

Когда в Словуте странницы вошли на базар, матери стало не по себе от пестрого базарного гомона. Ржанье лошадей, крикливые бабы, красноармейцы, мычанье коров, евреи в лапсердаках, еврейки в париках и чтобы как-нибудь разобраться в этом чужом мире, она поторопилась зайти в подвальную харчевню. За немытым веками прилавком стояла пожилая еврейка в засаленной кофте, под которой, как рыбы, волновались большие груди. Увидав новые лица, словоохотливая корчмарша затараторила со странницами и пока женщины ели и пили, она подсев рассказывала им то о том, что ее сын пропал без вести в Сибири, то о том, что у здешних красноармейцев деньги по карманам тыщами, то о том, как под Словутой убили князя Сангушко и

как разграбили княжеское именье. «Такой погром стоял, такой страх...», быстро шептала корчмарша и вдруг словно увидев что-то ее поразившее, схватила мать за руку. «Руки-то у вас какие белые? Кто-ж вы такая?»

— Портниха... из Киева.

— Ах, портниха? — протянула корчмарша, с недоверием выпуская руку матери.

И хоть не зла наверное была корчмарша, и хоть совладела с собой мать, а все-ж поторопилась уйти из харчевни.

На окраинной словутской улице, играя в чижик бегали ребятишки, скакали на одной ножке. Уж виднелись поля, когда прямо из проулка на странниц вышел скуластый, толстоплечий человек в рыжем френче. «Комиссар», пронеслось у матери и сердце захолонуло, а френч остановился, коротко крикнув:

— Документы есть?!

— Есть, — ответила мать и от взгляда скуластого стала снимать со спины мешок. Мгновения ужасные: документов никаких. Стараясь сдержать овладевавшую телом дрожь, сама не представляя, что сейчас произойдет, мать хотела лишь дольше рыться в мешке, оттягивая ужасную минуту. Комиссар, хмуро покуривая, пытливо взглядывал то на мать, то на Анну Григорьевну и вдруг из того же проулка стремглав выбежал молоденький красноармеец, бешенно закричав:

— Да иди же, ты! Готово!

Наотмашь отбросив бычек, выпустив стаю соленых ругательств по адресу матери, что не может найти документы, комиссар бросился бегом и в проулке они оба скрылись. Только тогда Анна Григорьевна увидала до чего бледна еле держащаяся на ногах мать, завязывавшая дрожавшими руками мешок.

— Заарестовал бы, Бог нас хранит, — зашептала старуха.

Почти бегом женщины заспешили из Словуты и в

вечернем поле на пшеничной меже затерялись. Вечер, ветер, тишина. Вышли на старый, обсаженный ветлами тракт с столбами в уходящих белых телеграфных стаканчиках. Кругом та же бесконечная Россия, безразличные к человеку жестокие вечерние поля, синечерные леса и катящаяся дорога; только чем ближе к границе, тем сильнее гудят телеграфные провода, тем напуганней люди и страшнее идти, словно подошвы пристывают к земле.

С плеском быстрых крыл пролетела с полей голубиная стая. Под селом Панорой дорогу пересекла ржавая, мутная речужка, вместо моста перекинуто бревно и на берегу валяются две слеги для перехода. Ими опираясь о дно, мать и Анна Григорьевна перебрались через шелестящую темную речку и в улице у крайней хаты, заметив у заваленки копавшуюся девчонку, мать спросила ее, не знает ли, где б пустили переночевать?

Девочка повела их вдоль темной улицы, доведя до хаты, где возилась в сенях простоволосая баба. Чтоб расположить хозяйку, мать в сенях же развернула перед ней оставшиеся юбку и платок, и взяв за ночевку эти драгоценности, баба даже растрогалась.

— Вы мене слухайте, — шептала она, сидя на лавке со странницами, — у мене крестник есть, парень тихий, все тропы знает, вы ему заплатите, он и переведет вас через границу.

И баба тут же послала девочку за крестником, а пока его ждали, хозяйка всё хвалила юбку, всё примеривала ее к себе, поглаживая ладонями.

— Сама бы на Почаев пошла, жизнь-то какая, — завздыхала вдруг баба, — у мене вон зять маво мужа убил. Сам курицы не зарежет, а вот поди ты, попутал сатана, поссорились, схватил ружье, да и убил враз, — и вдруг неожиданно, длинно, ручьисто баба заплакала, утираясь подолом.

В хате родилось молчанье, но в сенях кто-то заво-

зился. Мать обрадованно подумала, что пришел крестник, но вместо него в хату вошел низкорослый мужик какого-то забитого, несчастного вида и мать почему-то сразу поняла, что это и есть убийца. Оглядев странниц, мужик поздоровался даже как-то застенчиво. Баба тут же отвела его вглубь хаты, заговорив с ним полушепотом, но мужик сразу же отмахнулся.

— Я таких делов не делаю, — сказал строго, — за такие дела нынче пропасть можно, пускай Сенька хочет и переводит.

И вдруг непреодолимый ужас охватил мать; болтливая баба, убийца-зять, какой-то крестник, всё стало страшно в полутемной избе; выдадут, донесут, захотят ограбить. Зять стал возиться у печи, что-то доставая из темной бочки, а баба всё расспрашивала мать, лезя в душу, кто, да откуда, да к кому идут, да когда вернутся?

Тощий, квелый паренек лет семнадцати с рано выцветшим лицом вошел в хату в сопровожденьи девочки. Выслушав мать, он деловито помолчал, потом сказал, что пробраться через границу можно, только с опаской, пограничники в хлебах залегают, ловят и арестовывают.

— Да мы ночью прокрадемся, — проговорила Анна Григорьевна.

— Ночью ни-ни, убьют, иттить середь дня надо, — с знаньем дела произнес паренек, — когда солнце высоко, солдаты на обед уходят, вот и надо иттить.

За пятьсот рублей керенками и две оставшиеся в мешке Анны Григорьевны простыни паренек согласился вести через границу России. Эту последнюю в России ночь нужно было выспаться, собраться с силами, но несмотря на усталость от четырехсотверстного пути мать заснуть не могла. То стонал на печи убийца-зять, то переворачиваясь с боку на бок, чешась от блох, кряхтела баба. В темноте сеней мать лежала переполненная

волненьем, всё молилась Богу и какими-то обломками громоздились воспоминанья счастья прожитой жизни, с которыми прощалась, ужас возможного ареста, лица сыновей, всё наплывало жестоко изнуряющей смесью бодрствованья и сна и опять уходило в темь ночи.

Еще только свежел восток, а тихий паренек уже вошел в хату. С сильно бьющимся сердцем, подрагивая от холода рассвета и от волненья, мать вышла. «С Богом, с Богом», шептала в сенях заспанная баба. Паренек проворно пошел шагов на двести вперед. Странницы еле поспевали за ним, всё боясь упустить из глаз его пеструю рубаху. Как только он оборачивался, делая условный знак, мать и Анна Григорьевна бросались в пшеницу, залегая в ней, а когда раздавался его далекий свист, выходили и опять шли за его мелькающей, удаляющейся рубашкой.

Мать всё чаще взглядывала на поднимающееся солнце, оно уже высоко, стало-быть и граница близка. Сейчас собрав все силы, надо решиться на самое страшное: перейти границу России.

Паренек манит, подзывает к себе; странницы заспешили.

— Нельзя мне дальше, теперь одни ступайте, — зашептал он, — вон, луг видите, за лугом хата под новой крышей, там и стоит польский кордон. Да вы не бойтесь, идите спокойно, быдто вы никуда и не бегёте и никакой границы тут нет, а луг он луг и есть, — и взяв уговоренные керенки, паренек заспешил от странниц.

Зеленый луг в полевых цветах на опушке леса, это и есть та заветная граница России, о которой изучая карту, думала мать. Вот она дошла, она перед цветущим лугом, за которым уж Польша, поход кончен, но нужно еще самое страшное усилье: среди бела дня, у всех навиду перейти этот зеленый в белых ромашках, в кашке, в желтом зверобое простой и словно заколдованный

луг. Это жутко. Кругом лесная тишина, никого. А матери чудится будто каждый куст, дерево, рытвина, поросль всё живое и всё стережет ее каждый шаг.

Как сказал паренек, мать и Анна Григорьевна по лугу стараются идти «быдто спокойно», но ноги не слушаются, почти бегут, сердце их торопит. Мать чувствует, что это нехорошо, что это может стать подозрительным, но удержаться уж нет сил. Сейчас луг кончится, с ним кончится и Россия. Еще каких-нибудь пятьсот шагов и они заграницей и надежда увидеть сыновей будет настоящей. Кругом знойная полуденная тишина, ни звуков, ни голосов, только лесной звон в ушах. И вдруг где-то совсем рядом, с русской стороны: «Эй, тетки, тетки, куда вы, кудааааа?!». Мать и Анна Григорьевна бросились бегом, а вслед всё летит длинный крик и хохот. Это посмеялся сидевший у дерева, на русской стороне дуралей-пастух.

Но они уже бежали по Польше, хоть им всё и не верилось, что это не Россия. И только когда навстречу раздались польские голоса и из кустов вышли человек шесть пограничников, женщины поняли, что они уже не в России.

— В комендатуру! — проговорил старший, и от польского языка, чужой формы, чужих лиц повеяло чем-то, от чего беспомощно сжалось сердце.

Пограничники вели их к той хате под новой крышей, что показывал паренек с русской стороны. В хате их оставили наедине с хитроглазым пожилым хуторянином. «А вы, чтоб в комендатуру-то не вели, заплатите им, тут завсегда так делается», подмигнул хуторянин. У него мать и обменяла керенки на злоты, он их и передал старшему команды; на границе двух держав хитроглазый хуторянин был и адвокатом, и маклером, и менялой. Но как только женщины вышли из дома, молодой солдат с отталкивающим лицом куницы двинулся за ними.

— Он вас до дороги проведет, — проговорил старший.

Увешанный винтовкой, револьвером, гранатами, одетый с иголочки солдат повел женщин напрямки по чаще; они еле продираются, а чащоба березняка всё глуше. Мать замечает, что поляк сворачивает туда, где продраться почти уж нет возможности и обеих женщин все уверенней охватывает страх. Еще в Киеве рассказывали, что пограничники убивают и грабят перебежчиков. Издали слышен только стук топоров да голоса дроворубов и будто от этих голосов солдат и сворачивает всё глубже в чащу.

Анна Григорьевна с матерью переглянулись.

— Где ж дорога? — остановившись, проговорила мать.

— Идите! — яростно закричал солдат.

Но женщины не идут. Мать видит разгоряченное, хищное лицо мальчишки, узкие рысьи глаза словно ощупывают ее, словно ищут где спрятаны на ней деньги.

— Я к сыновьям иду! — вскрикнула мать, — у вас тоже мать есть, куда вы нас ведете? Отпустите! Я вам отдам всё! — и мать полезла за деньгами.

Это движенье, могло их только погубить, ободрив еще не решавшегося на убийство мальчишку. И словно поняв это, Анна Григорьевна вдруг с палкой рванулась к нему и, как сердитая старуха ругает на деревне хулигана, закричала:

— Подлец ты! Креста на тебе нет! Деньги взяли, ограбили, а ты еще, негодяй, хочешь! Нехристь ты окаянный! — наступала с палкой вне себя от ярости Анна Григорьевна.

От ее ли криков, от донесшихся ли звуков топоров, но солдат оторопел и выхватив у матери из рук деньги, бросился в чащу. Женщины с испугом ждали: будет стрелять иль уйдет? Но бегущими, замирающими шага-

ми солдат ломил кусты. И им вдруг стало слышно пенье птиц, которого раньше не было.

Из последних сил продираясь сквозь мелколесье, странницы пошли на стук дроворубов. Над ними прокатился теплый гром. Из подбитых желтой подкладкой туч, прорезая чащу белыми струями словно кипяченой воды, по лесу вдруг зашумел дождь. По пояс мокрые, женщины всё лезли чащобой, пока наконец не вышли на просеку, с которой увидели, как дроворубы канатом валили богатырский, трепещущий ветвями дуб, словно сопротивляющийся им всей своей обреченной листвой.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

Лев Толстой где-то очень хорошо писал «о любви к земле по купчей крепости». Этот дом мы строили сами. Клали фундамент, выводили стены, настилали черепицу, красили полы, клеили обои, устанавливали печи. И на самом краю немецкой деревни вырос наш двухоконный сероватый дом. Весь участок земли обнесли забором, вдоль него посадили любимые русскими березы, тоненькие, нежные, но уже в первый год затрепетавшие легким ситцем листьев. Перед балконом — кусты роз, всякие цветы, пестрый строй георгинов. А дальше фруктовые деревья, груши, яблони: весной, когда они зацветали, везде, даже в комнатах, пахло леденцами.

Этот дикий песчаный участок разделан любовью нашей семьи к земле. Вспоминая пензенское именье, мы шутя называем его «местоименьем». Земские корни оказались глубоки, тянут к земле. Кто-то из древних говорил, что человеку нужен не столько дом, сколько сад. Мне он нужен. И вот я сажаю, поливаю, полю, копаю песчаную немецкую землю, превращая ее в свой сад. Только в этом саду нет былого душевного покоя, оттого и нет возможности вполне им насладиться. Это чувство спасшихся после кораблекрушенья, ноги всё еще не верят суше. Русскую грозу носишь в себе, словно от русского землетрясения никуда не ушел. И в острые минуты такого ощущенья, здесь на бранденбургском песке чув-

ствуешь себя нежилецкой луковицей, пустившей корни без земли, в воздух. Тогда и этот разделанный цветник, и деревья, и огород кажутся почти несуществующими. Но всё-таки к весне я рою новые ямы, смешиваю песчаную землю с черноземом, с удобреньем и сажаю новые яблоневые и грушевые сорта, которые зацветут только на вторую весну; и всё-таки хорошо свежим солнечным утром выйти из своего дома в свой сад.

На подловке голуби уж заждались лёта и черношалие, синеплекие, белые, краснопузые, желтые, чугунные выносятся в прозрачность утреннего воздуха с стремительным звоном крыл, словно под рукоплескания. Играя, они дают сначала низкие, блистающие, взволнованные круги, потом набирают высоту и в солнечных лучах кажутся прозрачными, белосеребряными «как святой дух», а залетев на оловянную тучу сразу проявляют всю разнобойную пестроту окрасок. Это тоже счастье: следить за полетом своих голубей. На большой высоте, отстав от стаи, лентовый красношалый начинает кувыркаться, стремительно падая вниз, и кажется, вот-вот ударится о крышу, но у крыши внезапно он выравнивает паденье и тяжелыми кругами снова начинает набирать высоту, догоняя снизившуюся за ним стаю. Взвинчиваясь в поднебесье, голуби почти скрываются, также как мои русские голуби в Пензе, когда мальчишкой, стоя с махалом на крыше, я спорил в голубиной охоте с приказчиками соседней мануфактурной лавки братьев Кузнецовых; водить голубей, это сильная и непроходящая страсть.

В подберлинской деревеньке Фридрихсталь я живу уж давно. За двенадцать лет жизни хорошо знаю Германию. Берлин знаю лучше Москвы. Знаю суровые берега Северного моря, живописный Шварцвальд, солнечно-гётевские Веймар и Иену, где идя по улицам, из уюта цветущих розариумов я всегда слышал то набежавшего скрипичного Моцарта, то рояльного Баха; знаю деловые немецкие города, Лейпциг с вокзалом в трид-

цать шесть платформ, безличный Магдебург, скучный Брауншвейг, пестроту старинного портового Гамбурга, изящный Гановер, оставивший в душе легкое воспоминанье, знаю Франкуфрт, Штеттин, но больше всех немецких городов люблю столицу Саксонии — Дрезден с его синей Эльбой, с дворцом, с Брюллевской террасой, с недалекой крутизной Кенигштейна, с воспоминаньями о Достоевском, Бакунине, Вагнере. Я не только привык, я люблю весь этот добротный, скучноватый рай — Германию. И ценю немецкий народ за становую черту его характера, за трудовой пафос, за неодолимую страсть благоустройства своего дома на земле — своей страны; а немецкую интеллигенцию люблю за ее взволнованную фаустовскую душу.

II

Ночью я стоял на Унтер ден Линден. Я всегда ощущал, что надолго покоя не будет и всё-таки этот предчувствуемый обвал, настав, кажется внезапным... Тревожно и разноголосо гудят сгрудившиеся автомобили, где-то с нетерпением названивают застопорившиеся трамваи, ночное движенье пришло в замешательство. На тротуарах к домам жмется толпа и ликующих, и охваченных страхом. А по мостовой густыми колоннами движутся коричневые рубахи, несут дымные красноватые факелы, гул их шагов, как чугунный; они тяжело, каменно поют: «Blut muss fliessen! Blut muss fliessen!».

Глядя на их мерцающие, плывущие в темноте огни, я думаю о том, что это настает немецкий всесокрушающий октябрь. В страхе от огненных орд с тротуаров шарахается беспомощная толпа. Оранжево вздрагивая в окнах старинных домов всё кровавей разгоралось пламя мощного костра, разложенного перед старым университетом. Бой барабанов, визги флейт, военные марши. Мечущиеся снопы прожекторов. Колонны гитлеров-

цев с свастиками на рукавах. Кольцо полутемной толпы. Всё создавало необычайность этой картины. И вдруг, подняв правую руку к огнедышащему небу, толпа запела «Die Fahne hoch!». Это гимн новой Германии. Когда песня замерла, от костра в красноту ночи громкоговоритель прокричал:

— Я предаю огню Эриха Марию Ремарка!

Будто с плахи упала отрубленная голова. Как морской гул по площади прокатилось одобренье. Под этот гул с грузовиков чьи-то красные руки — множество рук — стали сбрасывать в пылающий костер книги и пламя внезапным прыжком прыгнуло на темное небо, высоко, как живыми, закружив книжными листами.

Толпа ликовала. Я тоже был захвачен зрелищем этой ночи. Плотно сжимаемый, я плыл в водовороте откуда-то вырывавшихся темных страстей, и так же как в нашем октябре, я словно осязал эту заманчиво гибельную стихию потопа, но идущего уже по Западу Европы.

С пламенем пожара Рейхстага и у нас в деревне, как во всей стране, тоже сместилось всё, пониманья, чувства, взаимоотношенья людей; сместились плоскости исторического бытия. Вздрагивая на мотоциклах и здесь мчались коричневые рубахи. Из домов выволакивают врагов «проснувшейся Германии», тащут в ресторан «К трем липам» допрашивать, избивать до тех пор, пока не запоют нового гимна. А если не поют, тащут дальше, в концентрационный лагерь Ораниенбург: пытать и убивать. Это не вчерашняя Германия. Это не розариумы Веймара и Иены. Крепость правового государства, пафос труда, фаустовская душа, бебелевский социализм, папское католичество, лютерово протестантство, всё исчезло в огне и дыме дьявольского пожара Рейхстага. Это те же октябрьские голые люди, только музыка здесь не нашего октября с его сверхмотивом всемирного революционного разрушенья. Это культ дру-

гой варварской силы, культ всемирного порабощения. И люди кричащие по радио под стон воинствующих маршей, и по дорогам несущиеся на автомобилях в руках с автоматическими ружьями, и марширующие военным строем ударники, это всё уже не вчерашнее, это взломавшие культуру страны, проснувшиеся варвары.

Стоя у горбатого деревенского моста я видел, как перед отрядом въехавших гитлеровцев, в ноги начальнику упала простоволосая немка и в беспамятстве обнимала его сапоги, умоляя не пытать, не избивать, не убивать ее сына, которого он увозит в концентрационный лагерь. Деревню сковал террор, страх. Это «Le massacre des innocents» Питера Брегеля.

III

Подъезжая на велосипеде к своему участку, я вижу светлое платье согнувшейся над грядкой матери, она обрезает усы у земляники. Этот небольшой кусок земли на окраине немецкой деревни она любит так же, как любила Сапеловку и Конопать. У калитки меня встречает жена, та Олечка Новохацкая, о которой я так часто думал в донских степях, раненым, на телеге; с которой юнкером, козыряя генералам, ходил по Москве; студентом танцовал на балах в их институте, когда в камлотовых платьях до пят, в кружевных пелеринах и шелковых передниках институтки парами плыли по бальному залу, отдавая глубокий реверанс величественной начальнице, баронессе. В огороде, белея рубахой, сгибается брат, с которым вместе прошли с винтовками по донским и кубанским степям; нас вместе взорвали в Педагогическом музее и мы вместе работали дровосеками в гельмштедском лесу у старика Кнорке. Брат окапывает яблони. Нет только моей няньки Анны Григорьевны; истосковавшись по России, по православным церквам, не выдержала и с немецкой швейной машиной

уехала назад в родное село Вырыпаево, где и погибла вскоре во время сплошной коллективизации. Жена подвязывает ее любимые георгины. Я слез с велосипеда, поговорил с ней и стал таскать воду, чтоб поливать яблони, когда в калитку нашего сада, блестя каской, в зеленом мундире вошел жандарм. На ходу он вынул из портфеля какую-то бумагу, заглянул в нее и спросил:

— Вы русский писатель Гуль? Вы написали роман из жизни русских террористов ?

— Да.

— Берите мыло, полотенце, подушку, поедете со мной в концентрационный лагерь.

— Куда?

— В Ораниенбург.

— За роман?!

— Там разберут, что вы понаписали.

Над садом, садясь на крышу, лощила моя пестрая стая голубей. Я простился с семьей и мы с жандармом поехали на велосипедах по лесной дороге. Под шинами мирно похрустывала хвоя. Так, почти не разговаривая, мы доехали до Ораниенбурга. В городе у древнего герцогского замка переехали площадь и в прилегающей улице у больших деревянных ворот с надписью «Konzentrationslager Oranienburg» слезли с велосипедов.

Жандарм провел меня мимо коричневого часового. Толстый увалистый, он шел быстро, мы пересекли вымощенный двор, поднялись на третий этаж высокого кирпичного зданья и наконец вошли в пахнущую всемирной канцелярской духотой небольшую комнату. Здесь сидел такой же, как он, жандарм. Они о чем-то тихо поговорили. Сидевший тут же позвонил по телефону. И вдруг дверь порывисто растворилась и на пороге я увидал высокого гитлеровца, настоящего розенберговского голубоглазого нордийца с множеством шевронов, с черной свастикой на рукаве, во всей военной фигуре которого было что-то необычайно резко-заносчивое. Это —

начальник концентрационного лагеря, штурмбанфюрер Шефер.

— Почему вы арестованы? — бросил он.

Я рассказал, что вахмистр мне передал, что мой роман конфискован тайной полицией, как неотвечающий духу новой Германии, добавил, что книга в Германии имела хорошую прессу и вышла в десяти других странах.

— Я уезжаю, — повернулся Шефер к жандарму, —поместите этого господина в амбулаторию, а назавтра я запрошу Берлин, — и также шумно, словно военным маршем, Шефер вышел.

IV

В первые дни тюрьма особенно тяжела, вероятно, потому, что ты весь еще не применился к несвободе и всё в тебе ропщет. Со временем резкость спадет, тоска притупится, свободы будешь хотеть, быть может, еще страстнее, но научишься жить и в рабстве, а в долгой тюрьме, может, отвыкнешь и от свободы, как отвыкают от нее канарейки.

В амбулатории шумно толкутся сменившиеся с караула гитлеровцы и меня не покидает чувство, что всех их будто я где-то уж видел; я знаю и эти крепко вырубленные брутальные лица, и грубобранную речь, и рукастые жесты, и животный хохот; это наши октябрьские латыши, думаю я, то же площадное отребье, чернь всяческих революций.

— Наверх, к вахмистру Геншелю! — закричал вбежавший приземистый гитлеровец в рыжих сапогах с ушками навыпуск.

И я поднимаюсь к неизвестному вахмистру Геншелю, ненавидя и приступки лестницы, и белокрашеные нумерованные двери, и надраянные дверные ручки, и

весь этот душный ораниенбургский пивной завод, наскоро превращенный в тюрьму для рабов Третьего Царства.

На втором этаже в комнате за столом — пожилой человек, вместо лица у него — «полицейское клише»; это и есть вахмистр Геншель. «Что это, допрос о романе?», — думаю я. Но отталкивающим от себя голосом вахмистр говорит:

— Я должен вас сфотографировать и снять оттиски пальцев. Сядьте вон там и ждите.

Я чувствую странную физическую тошноту. Я сел в углу и жду очереди. Перед вахмистром — старый немец, крестьянин безнадежно дикого вида; самое большее, он мог быть арестован за то, что обругал Третье Царство, и теперь в печатные бланки вахмистр заносит фамилии его жены, матери, бабушек и глухие ответы старика по всем пунктам длинного опросника; потом вахмистр переходит к описанью примет: рост, нос, глаза, но на волосах произошло замешательство. У старика не было волос: только сзади меж ушей узкой полосой они окаймляли череп, но и то цвет их был неопределим. Вахмистр на минуту насупился, потом быстро встал и взял аппарат: на полированной деревяшке болтались разноцветные косички и одну за другой он накладывает их на туповатую добрую голову дикого старика. Наконец цвет волос преступника установлен; и вахмистр, отпустив его, крикнул:

— Следующий!

Следующим был я. Я сел на теплый стул проковылявшего за дверь старика. Я тоже называл фамилию жены «Новохацкая», матери «Вышеславцева», бабушки одной «Аршеневская», другой «Ефремова» и от этих неудобопроизносимых для немца славянских фамилий вахмистр впал вдруг в раздраженное оцепенение и злость.

— Теперь мойте руки, — злобно пробормотал он.

Я опустил руки в таз с грязной жижей, обтер их о какую-то тряпку и каждым моим пальцем вахмистр водит по лиловой краске и по разграфленному листу, а в дверях взатылок выстроились преступники: члены рейхстага, ландтага, чиновники, журналисты, ремесленники, крестьяне, рабочие, бывшие граждане вчерашней Германии.

V

На дворе лагеря беловолосый немец, с глазами как большие стеклянные пуговицы, окрикнул меня. У него семеняще-танцующая походка, он похож на хищную птицу. Это следователь лагеря — штурмфюрер Нессенс. Не глядя на меня, а как-то хватая исподлобья, Нессенс спросил, кто я и почему не на общем положении? Отвечая, я глядел в его подергивающееся, розовое, словно пудреное, тонкое и очень жестокое лицо и думал: «садист».

Каждый день я вижу, как караульные водят арестованных к нему на допрос. А сегодня в амбулаторию гитлеровцы внесли на руках молодого заключенного и в ожиданьи санитарной кареты положили его на мою койку. На губах у него пена, лицо бурое, он в беспамятстве и, вырываясь из их рук, мыча словно от нестерпимой внутренней боли, он вдруг с грохотом упал на пол; он умирал после допроса у Нессенса.

Чтобы хоть как-нибудь *не быть в концлагере,* я ухожу на опутанный колючей проволокой луг. Он всё же зелен и над ним всё же повисло жидкое солнце. Тут я ложусь, глядя на уже приглядевшийся вид: уездная немецкая улица, белые дома дешевого конструктивного стиля и протестантская церковь с шпилем, ускользающим в облачном небе. Церковь вызывает во мне воспоминанье о Лютере: «Da stehe ich und kann nicht anders!». У проволоки проминается часовой-гитлеровец с автоматическим ружьем. Я гляжу вслед пронесшейся стае во-

робьев, словно ими кто-то выстрелил, как картечью, из пушки. Но скоро мне уж не на что смотреть. Тогда, скинув рубаху, я ложусь под солнцем голый до пояса: на грудь, на закрытые веки падает красноватое тепло и, не улавливая причинности, я вспоминаю, как в отрочестве охотился с отцом в Косом Враге. Может быть Россию напомнили прошумевшие воробьи? Может быть тянущиеся с востока снеговые ветхозаветные облака? Не знаю. Лежа я от нечего делать воскрешаю в себе весь тот день: осенний, мокрый, с резким воздухом; чернолесье тогда было уже охвачено концом осени, опадали последние лимонные листья с берез и бурокрасные с осинника. За ночь выпала пороша, забелив лощины. В Косом Враге лес перемежался полянами, оврагами. Когда на рассвете мы спустили гончих, первым громыхнул бас старого кобеля Валдая. Охотники уже все рассыпались мастерить. Сквозь вязаные перчатки стволы двустволки волнующе холодят пальцы и от азарта у меня, мальчишки, ёкает сердце и подрагивают поджилки. На краю поляны я затаил дыханье. Гон приближающейся музыкой всё отчаянней катится на меня. И вдруг по гнилому, мокрому листу мне слышатся пугливые скачки и передо мной в белорыжей траве вырастают уши русака; он прислушивается к гону, но вдруг заложив уши, прыжком кидается в сторону и от охватившей меня дрожи я забываю всё и только с стучащим сердцем ловлю на мушку бегущего зайца... отдача в плечо, выстрел... И я бросаюсь по кочкам к убитому зверю, а гон вокруг разливается с остервенением, ахают дуплеты за дуплетами, собаки выбегают на поляну, а я уж несу зайца за теплые длинные уши, спеша к привалу похвастаться и получить поздравление с полем.

В эту же охоту я понял, как сильно я любил отца. Оба в бобриковых куртках, в подшитых кожей валенках, подпоясанные патронташами, мы возвращались домой в розвальнях, но к вечеру дождь смыл порошу и ударивший мороз превратил всё в гололедицу. А ехать в гору.

Когда на паре лошадей мы добрались до середины обрывистой горы, лошади вдруг заскользили и пристяжная, упав на колени, покатилась в овраг. «Упадем, упадем, барин!», закричал кучер. Я быстро выпрыгнул, но отец выпрыгивая зацепился валенком и еще б мгновенье — его б подмяли накатывающиеся сани. Вот в этот-то миг, когда я увидал для него смертельную опасность, я и ощутил, как люблю его. Бросившись к саням, я обхватил его верблюжий валенок и, что было сил, вырвал его из розвальней. И ощущенье этого теплого верблюжьего валенка осталось на всю жизнь ощущеньем любви к отцу и неизжитый отголосок этого чувства есть во мне даже сейчас, когда я лежу на солнце, на лугу концентрационного лагеря; я словно и теперь вижу темную гололедную дорогу и в темноте вечернего зимнего неба каким-то чортом прочертился наш, напружившийся, выгнувший спину коренник.

Караульный что-то напевает. Я приподнялся. Как я хочу свободы! Какой? Самой простой! Идти вон так по той улице, как там идут какие-то немцы, не понимающие, какое несказанное счастье эта обыкновенная телесная свобода. О, как я ее хочу! Но я заперт, лежу под караулом, за проволокой и мысленно спрашиваю себя: «ну, о каком бы предельном счастьи ты сейчас бы мечтал? Чего б хотел, пусть совершенно несбыточного?». И отвечаю: «вот еслиб, пусть без денег, без крыши, без работы, но внезапно бы очутиться вдруг свободным на улицах Парижа! Это было бы предельное счастье!». Но — свисток. Гитлеровец свистом сзывает заключенных на поверку и отовсюду тянутся понурые люди, походкой, усталыми движеньями рук и ног выражая какое-то невыразимое отчаянье. Я смотрю, как они строятся солдатским строем. Пожилой гитлеровец подает команду и с деревянно-откинутыми руками, с бессмысленными лицами все они остолбенели. Я думаю о том, как глубоко надо презирать свой народ, чтоб воспитывать его так, как воспитывает Гитлер. Но я тут же останавливаю

себя: может быть я чего-то в этом всё-таки не понимаю? Ведь Гитлер знает свой народ и это он загнал его в эту тюрьму. И в стране не нашлось даже горсти молодежи, которая, как мы, с оружием в руках пошла бы за свою свободу? На похищенье свободы Лениным русский народ ответил многолетней борьбой. А тут? Я знаю, что арифметическое большинство немцев не за Гитлера, но почему они сдались? Может быть потому, что Гитлер уже овладел их душами изнутри, заворожив их чем-то исконно-немецким, связанным со всем арсеналом идей великого германизма? На лугу концентрационного лагеря я вспоминаю и Фихте с его «законом силы» в речах к немецкому народу, и Гегеля, утверждавшего государство как «абсолютный дух», и Вагнера, обожествившего в звуках германскую варварскую силу, и многих великих немцев. И я внутренно уверен, что в этом насильническом лагере, я вижу всё ту же грубую германскую силу, охваченную непомерной гордыней величия, только для площадного пониманья сниженную в гитлеризм.

На булыжниках двора горнист в коричневой форме трубит зорю. По трубе заключенные расходятся спать на солому в корпусы пивного завода. Сумерки. У караулки неуверенно закувыркались звуки гармоньи ненаучившегося еще играть ударника. Склонясь на табурете, он с трудом, но упорно разучивает гимн новой Германии; из-под его пальцев плоская мелодия вырывается несвязными обрывками. Сквозь большое окно подвального помещенья я вижу, как арестованные укладываются спать на соломе. На подоконнике у кого-то стоит красная роза в консервной банке.

VI

А в шесть утра тот же горнист играет подъем и тюрьма оживает. С ночью ушла возможность остаться наедине с собой. Позевывая, почесываясь, потянулись

вереницы грязных заключенных к клозету, к кранам умываться. Кряхтя под тяжестью бидонов, в проходную комнату, куда из амбулатории перевел меня Нессенс, вошла курносая молочница, в очках. Я давно заметил эту бабу, перед каждым гитлеровцем поднимавшую руку римским приветствием с вскриком «Heil Hitler!».

Возле моего соломенного мешка поставив бидоны, она из-под очков удивленно взглянула на меня и тихо спросила:

— Тоже арестованный?

— Арестованный.

Сердобольно закачав головой, баба вздохнула, но из амбулатории грохнули шаги и тут же, подняв руку навстречу гитлеровцу, молочница вскрикнула «Heil Hitler!». Невыспавшийся парень налил молока и ушел. И опять из-под очков на меня бабин соболезнующий взгляд; она протягивает кружку молока и шепчет:

— Знакомые тоже тут сидят, ох, что с людьми делают, а за что? Кто им что сделал? Муж безработный, трое детей, вот я и ношу сюда молоко.

Но слышны тяжелые сапоги и, торопясь, баба побежала отнести утреннее молоко коменданту Крюгеру и следователю Нессенсу. Оказывается, они тоже любят молоко. А когда возвратилась, губы ее дрожали, она закрывала лицо руками. «Ох, лучше смерть, чем здесь... ох... доску... доску...» лопотала баба, показывая ладонью под подбородок. Но через комнату пробежал телефонист и, встрепенувшись, баба зазвенела кружками, бидонами и, собравши их, не глядя на меня, выбежала из комнаты. Я понял, что у Крюгера и Нессенса она увидела что-то страшное. Но только позже я узнал, что при допросе в Ораниенбурге употреблялся средневековый прибор «Gänsebrett», доска, надеваемая на шею нескольким людям, как гусям на базаре.

На луг, чтоб *отсутствовать*, я ухожу каждый день, но сегодня из лагеря не уйти. Во двор, барахтаясь,

один за другим врываются затянутые тентом грузовики с арестованными. Привезенных выстраивают, разводят и по камерам, и по двору на работы. У моего окна человек пятнадцать пожилых немцев в тугих воротничках, добротных галстуках, сидя на корточках, перочинными ножами вырезают меж булыжниками траву. По виду аккуратнейшие чиновники Веймарской республики. Конечно, двор зеркально чист и травы на нем нет, но они выполняют особую шутку гитлеровцев, называемую: *воспитательные работы*. Об этом еще Достоевский писал в «Записках из мертвого дома»; «Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался бы его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если б заставить каторжника, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, я думаю арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленным потому, что не достигало бы никакой разумной цели».

Высокое солнце нестерпимо палит. Мешковатый, обрюзглый, старомодный немец, всем своим видом напоминающий уютную, старую невоинственную Германию, изнемогая от трудности позы, попробовал было с корточек опуститься на колени. Это вся свобода, которой он захотел. Но караульный сразу заметил его движенье и крикнул: «на корточки!». И отяжелевший старик, вероятно больной, грозя разорвать надувшиеся брюки, снова унизительно присел и стал искать и вырезать перочинным ножом признаки несуществующей травы. И опять я думаю о том, что этого пожилого

старобытного немца мучит, конечно, не этот рыжий караульный малый, а его окриками мучит та же, солдатская, варварская Германия; и старик должен либо здесь умереть, либо влиться в гитлеровских сверхчеловеков; такое воспитание не пустяки, я видел лица этих порабощенных людей.

На лугу гусиным шагом маршируют молодые гитлеровцы; их учит унтер-офицер, уже в годах, провоевавший войну и готовящий теперь эту молодежь ко второй. Под его лающую горловую команду парни машинно маршируют с видимым удовольствием. А я, легши в самом дальнем углу луга, вспоминаю как вчера на свиданье ко мне приходила жена, как войдя в этот дантов ад, в этот особый мир концлагеря, под взглядами гитлеровцев она шла не своей походкой, будто у нее приклеивались к булыжникам ноги, будто она переставляла их с усильем. За дни моего ареста она исхудала, исплакалась, когда караульный отошел, успела рассказать, что по ночам к нам прибегают соседи-немцы поужасаться над совершающимся, соболезнуют, приносят для меня, кто кусок сыра, кто два фунта яблок, кто четверку масла и, чтоб никто их не увидал, так же тихо скрываются в темноте. В тюрьме люди всегда становятся сентиментальны, таково уж свойство тюрьмы и людей; и переданная от этих немцев еда трогает и радует меня.

Но на лугу зашумели голоса, ввели новую партию арестованных. В середине их почти богатырь, старик на седьмом десятке, с висячим животом, его седорыжие волосы причесаны на пробор, одет он в темнокоричневый костюм, по виду и повадкам типичный парламентарий и, если хотите, «бонза». Как истый буржуа, он против воли сторонится на лугу полуголых заключенных-пролетариев и стоит словно топором по лбу ошарашенный мастодонт. Через проволоку с улицы смотрят какие-то вольные, но часовой окрикнул зазевавшихся и они заспешили по своим делам. А часовой опять проминает-

ся вдоль проволоки по кайме шириной в два метра, на которую арестованные не смеют ступать.

Но вот, в раздумьи, опустив голову, от вновь привезенных арестантов медленно отошел краснощекий немец с остро-общелкнувшимся под жилеткой животом. На нем легкий летний костюм, брюки тщательно заутюжены. По лицу, по виду это благонамеренный демократ. Глубоко задумавшись он то приостанавливается, то снова движется к запретной черте. Вот он уж шагнул на эти два метра, из кармана пиджака вынул аккуратно сложенную, вероятно, заботливо данную женой, знаменитую «Stulenpapier», оторвал кусок приблизительно в свой зад и, чтоб не запачкать брюки, положил бумагу на траву, аккуратно на нее сев. Часовой идет к нему спиной, но он сейчас повернется. Я гляжу. Нет, он не заорал ему издали. Но подойдя, серьезно сказал: «Здесь сидеть воспрещается!». И несмотря, на брюшко, ловко привскочив и подхватив с собой кусок бумаги, немец проговорил:

— Ах, здесь воспрещается? Danke schön! А где ж разрешается?

— Здесь, — мрачно указал гитлеровец на место рядом, но так, чтобы зад заключенного не приходился на роковой двухметровой черте.

И сделав два шага, демократ снова расстелил кусок бумаги и аккуратно, но уже уверенно на нее сел; из кармана достал «Völkischer Beobachter» и погрузился в чтение.

Я и не хочу улыбнуться и улыбаюсь. Я не профессиональный бунтарь. Мы все знаем, что такое революция и, конечно, всякая революция есть человеческое несчастье. Но на толстого, краснощекого немца с заутюженной складкой, на эту тщательно подложенную под его зад бумагу, я гляжу с легким славянским презрением, ибо это его отношение к «воспрещается» и «разрешается», это не бессильная тюремная покорность пора-

бощенного, нет, это какая-то несомненная попытка приятия нового, обнародованного порядка. И тут не только мы, славяне, но все «не немцы» чего то не понимаем в этом германском тяготении к тому, чтобы быть управляемыми, быть командуемыми, быть под, а не над. Глядя на читающего газету немца, я вспомнил, как после краха не бурной немецкой революции 1848 года берлинские портные шли к королевскому дворцу с плакатом: «Unter deinen Flügeln kann ich ruhig bügeln». И вот те из немцев, у кого эта шишка «тяги под» не слишком еще развита, должны ее доразвивать в концентрационных лагерях. В этом вся суть этих насильнических лагерей, где по команде труфюреров заключенные бессмысленно бегают кругами по двору, перочинными ножами вырезают траву, роют ямы, которые, раз вырыв, немедленно же засыпают. Спору нет, «der Mensch ist nicht gebohren frei zu sein», но должна же жить в человеке, пусть даже ложная, но всё же мечта о свободе? А вот Германия больше всего возненавидела «беспорядок».

VII

В лагерь въехал лаковый черный автомобиль с восемью арестованными. Худой и высокий, как каланча, гроза лагеря комендант Франц Крюгер выстроил их всех на дворе и, наизмывавшись над ними, потоком брани особенно осыпает одного молодого, спортивно-одетого, широкоплечего шатена с очень немецким округлым лицом.

— А ну-ка посмотрим, как он бегает! — вдруг с хохотом вскрикивает Крюгер. И по его команде молодой человек побежал по двору, но он сыроват и бежит не очень шибко. Крюгер махнул одному из гитлеровцев: «Наддай!». И под хохот всех гитлеровцев, побежавший нагоняет арестованного и наносит ему удары в спину, в затылок, в шею. «Упадет или выдержит?», — думаю

я. Нет, молодой человек выдержал, бежит, теперь я вижу его лицо, судорожно перекошенное в ожидании удара.

— В одиночную! — крикнул Крюгер.

Двое гитлеровцев повели арестованного в одиночку. Но вскоре же провели назад по двору на допрос. Идя через двор, молодой человек ладонью отряхивает пиджак, по испачканной спине видно, что в одиночке он лежал на полу. Что его ждет? О чем он думает, идя на допрос в эту страшную комнату № 16? Он, конечно, знает, что будет истязанье, пытка, быть может, убьют. Но идет с гитлеровцем твердо, иногда приглаживая рукой поднимаемые ветром светлые волосы.

Перед сумерками в ворота лагеря вошел Нессенс. Возле столпившихся на дворе караульных приостановившись спросил: «Сюда прислали брата...?» (но как я ни напряг слух, я не расслышал фамилии). Караульные ответили утвердительно. Нессенс сказал: «Приведите-ка его ко мне», и стал похаживать мелкой танцующей походкой перед главным зданием. Я видел, как из казарменного здания одиночек вывели этого самого круглолицего молодого человека, вероятно, брата какого-то крупного врага гитлеризма. Перед Нессенсом арестованный встал руки по швам. Но не поглядев на него, Нессенс почти ласково сказал: «Пойдемте ко мне», и тихо двинулся в Главное Здание.

Они прошли через мою проходную комнату, вошли в соседнюю, с надписью «Главная касса». Судьба этого немца, окруженного ненавистью гитлеровцев, меня волновала. Я сел на свой соломенный мешок и вдруг услыхал понесшиеся из «Главной кассы» исступленные крики Нессенса и звуки ударов, вероятно, по лицу. В ответ ударам раздавалось сдавленное, будто коровье мычанье. В потемневшей комнате я лег на тюфяк, прикрылся одеялом. Долетавшие крики Нессенса становились дики и вдруг сразу оборвались, пошла какая-то глухонемая

возня с придушенным бормотаньем. Оставаться в комнате становилось невозможно. Не подавая виду стоявшим возле здания гитлеровцам я вышел.

— Ну, показывает он ему номера, — услыхал я голос гитлеровца Брукмана, уголовного вида сырого парня, одетого в грязный пиджак и синюю блузу.

Стоявший с краю, крутоплечий, животносильный трупфюрер Вилли затянулся папиросой, лениво сплюнул на сторону, ничего не сказал. Вдруг из Главного Здания выбежал тяжелодышащий Нессенс, ни на кого не глядя пробежал в караулку и тут же в руке с резиновой палкой побежал обратно.

Замотав головой, Брукман засмеялся, — «Испестрит он его!» — и пошел в здание, но тут же с порога высунулся и, всё еще смеясь, крикнул: — «Вилли, тебя зовет!».

Разъевшийся трупфюрер Вилли затянулся последний раз, отбросил докуренную папиросу и по-солдатски легко и быстро пошел к Нессенсу. На дворе мутно темнело. В подвалах пивного завода арестованные уже лежали на соломе. Я попробовал было войти в свою комнату. Но за дверью «Главной кассы» шла тупая возня, слышались стоны, хрипы, становилось ясно, что Нессенс убивает молодого немца. И вдруг меня охватило чувство рвоты. Я поспешно пересек двор, вошел в клозет. Кружащее рвотное чувство не покидало меня. Из темноты отхожего места, в оконце я вскоре же увидал, как танцующей, семенящей походкой, в пальто внакидку, Нессенс пересек двор и скрылся за воротами лагеря. За ним, насвистывая тустеп, прошел в караульное помещение Вилли. Идя назад в Главное Здание, я думал о том, что сейчас Нессенс идет по улицам мирного, укладывающегося спать, вечернего Ораниенбурга и никто из встречных немцев не знает, что этот человек только что убил другого. Дома его, вероятно, ждет любящая жена, она уже приготовила ужин, на столе кофейник, накры-

тый пестрым вязаным чехлом, чтоб кофе не остывало. Нессенс поцелует жену, сядет за стол, разговаривая, начнет резать мясо, жевать, глотать, пить. Вероятно он проголодался и устал; всё-таки убить, это не так уже просто; и усталый он раньше обычного ляжет спать на удобную широкую постель.

В своей проходной комнате я взглянул на дверь «Главной кассы». Она заперта. Тишина. Я лег на соломенный мешок, поджавшись, завернулся в принесенное женой одеяло. Зеленоватая луна выкатилась над лагерем и повисла, освещая в моей комнате на полу длинный ромб. Через комнату прошел телефонист, свободно раскрыл дверь «Главной кассы». «Стало быть, они вытащили труп в смежную комнату?», — подумал я. От ворот долетел неестественно взвизгивающий хохот девушек, под луной пришедших на ночное свидание к уставшим за день гитлеровцам. Кто-то начал играть на гармоньи. Лежа, я представлял себе гостиную в немецком доме среднего достатка, с вышитыми подушками, ковриками, с обрамленными фотографиями, с натертыми до метафизического блеска полами; и в этом холодноватом уюте седую, рыхлую, но энергичную немку-мать; сейчас она в думах о сыне, боится за него и еще не знает, что на полу грязной комнаты лагеря вместо сына уже валяется окровавленное мясо.

Ударив створкой, в окно потянул сквозной ветер. Кто-то напевая пошел по двору и напев словно уплывал один, без человека. Ораниенбургская церковь начала отбивать часы. Я зарубал в памяти это немецкое округлое лицо, его спокойное выражение, мелочи одежды, красные туфли, коричневые «гольфы», как заставляли его бегать, как вызвал его Нессенс, и неизвестный немец мне говорил: «запомни меня хорошенько, чтоб хоть когда-нибудь рассказать, как они меня убили». Прервал меня задрожавший, подъехавший к лагерю грузовик, он разрывал ночную тишину нетерпеливыми гудками, словно кричал: скорее! И в караулке и в амбулатории всё

ожило, зашумело, закричали голоса. Над зданием, осветив двор, вспыхнула сильная электрическая лампа. Грузовик въехал во двор и было слышно, как с него спрыгивают люди. Потом со двора в амбулаторию через мою комнату прошел, окруженный гитлеровцами, приехавший Шефер. Из амбулатории донесся шум голосов, возня, словно из соседней комнаты тащили что-то тяжелое и вдруг это тяжелое с грохотом бросили на пол. В наступившую паузу донесся с усмешкой голос Шефера: «Kinder! Wie haben Sie ihn beschmutzt!». Это, конечно, ему показывали труп убитого Нессенсом немца. Бодая сапогами, несколько гитлеровцев выбежали в темноту двора, закричали: «Стаскивай!». И по наполненному звуку шагов, по кряхтенью и полусловам было ясно, что они тащут какие-то тяжести и в узкой двери протискиваются с трудом. Снова в амбулатории голоса, возня и опять грохот брошенной на пол клади и тут же дикое страдающее мычание, словно человека с заткнутым ртом. Меня обдавала лихорадочная дрожь, я не мог ее осилить. А из амбулатории — голоса, шум, возня, стоны. Будто кто-то, прыгая на связанного и нанося ему удары, полуголосом выпытывает: «где Гофман? говори, где Гофман?». В ответ — глухонемые мычания. Потом всё стихло. Из открывшейся двери блеснул углом свет. Шефер с гитлеровцами прошли по моей комнате в «Главную кассу». Слышно, как с аппарата кто-то взял телефонную трубку и голос Шефера произнес: «Ораниенбургская полиция? Начальник лагеря Шефер... Чорт возьми!», — закричал он, — «Я же приказал немедленно!.. Да, к Хафелю...», — и трубка брошена. Название реки, на которой стоит Ораниенбург, ошеломило меня. Ночное действо становилось ясным; последний его акт: гитлеровцы везут что-то топить в Хафеле. Я ждал. Вскоре на дворе зацокали подковы, по булыжникам загремели колеса и тут же из амбулатории послышались шаги нагруженных тяжелой кладью людей; путаясь в дверях, они что-то выносили, укладывали

и вскоре, вертясь по камням, зашумели уезжавшие колеса. Уехали. Всё замерло, всё угасло. Гитлеровцы разошлись спать. Над лагерем глубокая тишина, будто никогда она и не была нарушена. Только зеленая луна за это время поднялась несколько выше. Где-то залаяла собака. На колокольне медленно прозвонили часы. И всё. Тишина. Связанный путами изнуряющей бессонницы, лежа на соломенном мешке, я всё прислушивался к этой ненарушаемой ничем земной тишине.

VIII

На дворе буйно свистали флейты, стонали трубы, корнет-а-пистоны и, как живой, бухал большой барабан. Одетые в коричневые рубахи, красношеие музыканты играют марш. В воскресенье в лагере всегда играет военная музыка. Только свидания сегодня отменены комендантом Крюгером, потому что в берлинском предместьи Кепеник молодой социалист Шмаус при аресте оказал сопротивление, убив двух гитлеровцев. Его, раненого, схватили вместе с отчаянной матерью, кричавшей сыну: «Стреляй в них, Антон, стреляй! Чего ж ты не стреляешь?». А отец Шмауса не дался живым, забаррикадировавшись на чердаке, повесился. Для нас, заключенных, лишение свиданий — большое наказание, ибо тюремное свидание есть всегда еле уловимое прикосновение свободы.

Чуть подпрыгивая, толстоплечий, животастый капельмейстер дирижирует знаменитым Баденвейлерским маршем. Это любимый марш Гитлера, марш полка, где в мировую войну он служил ефрейтором. На улице худая, беременная немка сопротивляется часовому, отгоняющему пришедших на свидание. Этих женщин трудно отогнать. Немка вцепилась в лагерную проволоку, стараясь хоть взглядом разыскать мужа за решеткой в арестантской толпе. Возле нее пухлая блондинка с

непокрытой головой подняла двухлетнего мальчика и показывает его отцу за решеткой. Заглушая плач, крики, голоса, Баденвейлерский марш сотрясает воздух. И нежным сиянием солнце обдает начищенные трубы оркестра и посреди двора стоящего коменданта Крюгера, празднично одевшегося в черный мундир с кровавыми петлицами. Крюгер чему-то улыбается, слегка похлопывая хлыстом по своему начищенному голенищу.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

I

И вот серый рассвет, мелкосеющий дождь, и пустоватый поезд несет меня к Парижу. Каруселью отбегают сиреневые домики, плещущие розами палисадники, как картонные вертятся серостволъные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущается близость Парижа.

Прикусив опушенную усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрит плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмит выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делает свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж уже близок. В это туманное утро, заволоченное дождливой мглой, кто-то встретит ее на вокзале и под локоть подсадит в дешевый автомобиль. Француз с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами, в веселеньком галстуке, что-то напевает укладывая чемодан. Он улыбается тоже, вероятно, парижской встрече. Даже лукавый, седорозовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждет их всех. А ведь всего несколько часов назад не было ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений, ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Я признаюсь, всего этого не видел уже лет двадцать; с

того самого дня, как из родного дома ушел на войну. После войны из окопов возвращаться было почти некуда; а там две гражданских войны и невольное путешествие в побежденную Германию.

Я забыл даже, что существует еще вот такая беспечная жизнь, с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей рекламной пестротой алкоголей. От этого отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными куклятами-детьми, от всех французов, от всей Франции веет наслаждением жизнью.

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегает по мостам, насыпям, откосам, с приятным разговором перепрыгивает с рельс на рельсы и наконец, шипя, вплывает под стеклянный дымный колпак парижского вокзала.

Я себе так и представлял Париж. С низко опустившегося неба, как с потрепанной декорации несет липкая сквозная мгла; тускло блестит грязнота асфальта. В этой сырости, кажется, не может быть солнца. Я останавливаю, по воде с брызгами шуршащий, красножелтый, попугайный автомобиль и в этой мокрети, в общем потоке машин, я уже двигаюсь по улицам, входя в жизнь Парижа. На него я гляжу с приготовленной русской любовью. Но, Боже мой, как заброшены эти седые улички, как грязны тупички, как нечистоплотен, сален великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера. На тротуарах из железных коробок вывален вонючий мусор, в стоках мостовой, как живые, распластались грязные тряпки, волнуемые водой; какая-то ребрастая, подыхающая сука обнюхивает выставленные у молочной бидоны, и из-под открытых общественных уборных по мостовой текут ручьи. О, Париж!

Вот он, дряхлый чаровник мира! Как же ты грязен, старичек, пока тебя еще не побрили и не сделали утреннего туалета.

Но вот вместе с потоком машин мы влетаем в широкую светлость улиц и Париж словно поворачивается другим боком. Это — Лувр, Тюильери, «батюшка Палэ-Руаяль», места великих французских волнений, священных безумий, убийств и смертей. Вот когда-то глотавшая головы гильотиной Площадь Согласия, как она хороша в это синее утро и как тиха через полтораста лет! От нее потянувшиеся утренние Елисейские Поля дышат прелестью французской деревни, на их каштанах поют птицы и за ночь взмокшую гладь мостовой, позевывая, подметают какие-то старички в смешных картузиках.

Резко мелькнула зеленоватая, мутноилистая Сена с белыми горбами ее мостов. И вдруг блеском ослепляет перспектива Площади Инвалидов, а за ней зеленые деревья и кусты Марсова поля с поднявшейся воздушным кружевом состаревшейся знаменитостью, старушкой Эйфелевой. И опять кварталы открытых базаров, шумливых лавченок, подозрительных кабачков, подслеповатых публичных домов, это опять тот же Париж, повернувшийся ко мне уж не знаю каким боком.

В узкой, зловонной, как немытая кишка, улице, среди человеческой толкотни красножелтая машина останавливается. Я, оказывается, приехал. Улица, конечно, грязна, безалаберна, бестолкова. Гораздо было бы лучше, если б она пестрела газонами и цвела липами, но на свежем воздухе зеленого луга немецкого концентрационного лагеря я мечтал ведь о свободе вот на этой парижской улице? Так, чего же мне надо? Вот она и есть: и улица, и свобода! Счастлив? Ну, еще бы! Франция подарила мне мою мечту.

И всё же, медлительно расплачиваясь с шофером новыми для меня монетами с изображением Марианны, я испытываю жесткое чувство бездомности и странного

волненья. Но я уже поднимаюсь по осклизлой винтовой лестнице гостиницы «Золотая лилия», дурно пахнущей неубранными постелями, уборной, пудрой, дешевой смертью. Отяжелевший, небритый хозяин даже ранним утром дышит на меня красным вином; в его гостинице живут арабы-торговцы орехами, забытые жизнью проститутки, негры-продавцы ковров и кокаина, и русские эмигранты, офицеры и солдаты мировой войны, ставшие почти что нищими.

В центре довольства, блеска, утонченности, изысканности, мод, вкуса, богатства, свободы, в Париже судьба дает мне переспать в комнате бедного русского шофера, пахнущей кошками и немытым бельем. Откуда-то доносится неприличный грамофонный мотивчик, куплетист поет, что на свете нет ничего приятней парижской любви. В этой комнате гостиницы «Золотая лилия» трудно даже представить, что так недалеко существуют еще немецкие концентрационные лагеря, «воспитательные работы», «гусиные колодки», громы Баденвейлерского марша и убийства заключенных. Я знаю, что это есть, но для меня это тоже уже ушло и после утомительного пути я засыпаю в чужой постели и мне снится мой детский, всегда пугающий меня сон, как к моей постели медленно приближается человек без головы, в черном сюртуке, и что-то мне шепчет...

II

Что это за пестрота вьющихся дешевеньких занавесок? Что за заплеванный умывальник? Что всё это такое? Но я прихожу в себя: это мой Париж, это одна из станций многолетней бездомности.

Париж одет в голубоватую старинную дымку, это его единственная одежда. Я иду в подвижной парижской толпе, шумно стучащей миллионами женских вы-

соких каблуков, мелькающей женскими икрами в шелковых чулках. Париж отовсюду кричит ртом уличных торговцев; мясники в белоснежных, но чуть-чуть закровавленных передниках зазывают за мясом, арабы предлагают орешки, хрипят лотошники, продавая фрукты, овощи, запыленные конфеты, небритые газетчики выкликают клички газет, а у туннеля подземной дороги уличный певец с лицом бандита поет под гармонью песенку о любви, о Париже; и тут же неподалеку на улице стоят три козы, пастух и овчарка; слушая песню, этот пастух всё же не забывает предлагать прохожим козий сыр и козье молоко.

Мимо книжных лавок букинистов, где приколоты раскрашенные портреты каких-то генералов, великих людей, куртизанок, я выхожу к закопченным скалам Notre Dame. По зеленоватой Сене медленно плывут груженые диким камнем баржи, какие-то белые пароходики, баркасы и на оковавших реку гранитах полудремлют парижские лентяи-рыболовы, закинувшие удочки в муть Сены.

В голубой дымке под золотым солнцем, потоком, как будто беспечной и веселой, но страшной и напряженной жизни течет беспощадный Париж. Он дробится во мне картиной кубиста, вероятно потому что я чужероден и чужд очарованию этой греческой свободы уличной жизни. И какая это тягость в шуме чужого языка, на чужих улицах, среди чужих жестов, в движении чужой стихии, быть совершенно свободным. Я это внезапно с отчаянием ощущаю, ненужно стоя у какого-то фонтана на площади Saint-Michel. Я гляжу на весь этот движущийся вокруг меня Париж и думаю: «да, какая это тягость, жить без своего неба, своего дома, своего крыльца, своего языка, своего народа, своей родной стороны!». Это, конечно, слабая минута, это пройдет и я позабуду всю разъедающую соль этого ощущенья. Но сейчас никто не знает, как вблизи желто-

черноватых стен Notre Dame, я в первый раз за всю свою бездомную жизнь завидую и этому неспешному старичку-французу в какой-то старомодной разлетайке с седой бородкой Наполеона III-го, и седокам сгрудившихся у моста разноцветных автомобилей и пассажирам трясущихся зеленых автобусов, всем им, французам, только потому, что они у себя дома и у них дома, в Париже, очень хорошо. Я внезапно понимаю, что никакой России у меня нет и быть уж не может; это — химера, ночной эмигрантский бред и самоулялякивание; жизнь потеряна раз и навсегда и на ее конец остается только классическая тяжесть чужих порогов и горечь кусков чужого хлеба.

Это, конечно, неспаная ночь, ошеломительное впечатление. Я стыжу себя за слабость вырвавшихся чувств. Я иду к Люксембургскому саду. Все французы кажутся мне неживыми, ускользающими, движущимися сквозь затуманенный бинокль. Они весело обедают на открытых верандах ресторанов и кабачков, они смеются; едят со смаком устрицы, сыр, виноград, пьют вино. Я давно отвык и от этого обилия явств и от этого пиршественного веселья, для которого, вероятно, нужнее всего душевное спокойствие. О, у них его, до зависти, сколько угодно! Правда, мне чудится и иное, но это за мной вероятно, идет тревожная тень Германии: а не опасно ли так уж ублажаться устрицами, вином, мясом, салатами и время ли так уж подолгу сидеть на этих чудесных, располагающих к лени и разговорам верандах кофеен? Ведь в Германии встали беспощадные мифы XX-го века, там сейчас презирают и отдохновенье, и свободу, и праздность, и изнеживающее обилие явств. Там едят грубо, работают без роздыха, создавая полуголодных, выносливых новых людей, которые будут безжалостны, если им придется разрушить с воздуха этот хрупкий Париж и всю эту наслаждающуюся Францию, немогущую оторваться от хорошо приснившегося сна.

Вот он, Люксембургский сад, памятник Верлэну, памятник Бодлэру. На фоне зелени застыли в движении темные бегущие скульптуры. Над цветами, бассейнами, газонами, детьми играющими в мяч и буржуа стучащими молотками довоенной игры крокет, над всем чудесным садом, где в вакхической бесплановости разметаны желтые железные стулья, на которые многие положили ноги и, греясь на солнце, полудремлят, над всем изяществом этого нежного Люксембурга летит размягчающая душу и волю песенка гармониста о том, что мимо него проплыла любовь на речной шаланде и он тоскует об этой уплывшей любви. Конечно, может быть, вывезенное из Германии мое чувство тревоги и ложно; вероятно, я ничего не понимаю в этой светло-льющейся латинской стихии. Может быть в последнюю минуту в смертельном страхе за свой очаг хромоногий гармонист, забыв уплывшую любовь, и бросится храбрым солдатом к границам Франции. Я, беглец из двух тоталитарных стран, просто гуляю в Люксембургском саду и думаю. Я думаю даже о том, что бездомность иногда становится достоинством, давая и опыт, и облегченность пути, в котором ничего уж не остается для потерь. Так я хожу среди французов в музыкальном сумбуре Люксембургского сада, как в пустыне. Но начинает смеркаться, сторожа звонят, сад запирают и надо куда-то уходить. Сейчас, в сумерках, каждому особенно нужен порог, к которому бы прийти.

А я вот ночью один на скамье неизвестного парижского бульвара. Над головой стонут рельсы надземной дороги, темь и грязь, колоннада, составленные спинками скамейки. Между двух скамей вставив деревянные култышки, к которым приделаны его обрезанные ноги, примостился какой-то француз, вероятно, участник мировой войны; в такой позе он уже не может упасть и, положив на руки курчавую, в грязном берете, голову, спит, обдавая окрестность перегаром вина. Где он потерял свои ноги? Под Верденом? На Сомме? Когда ему

оторвало их, он был молод, теперь заросшее щетиной лицо налилось застоявшейся лиловой кровью, он почти стар. А на противоположной стороне ослеп публичный дом, сквозь его железные ставни радио сипло выбрасывает в ночь что-то веселенькое, как она его обманула и как она от него ушла. Песенку глушат харкающие гудки ночных автомобилей; пары бензина и истертая подметками пыль заменяют бульвару воздух. Я свободен. Я один. Я на парижской улице. Но мне кажется, что всё вокруг меня движется страшной, уродской бессмыслицей. Чересчур уж много на темных тротуарах проституток, чересчур уж много шляп и пиджаков у кабацких оцинкованных стоек перед рюмками разноцветных алкоголей.

В кровяных огнях неоновых ламп тают очертания женщин, голоса их ржавы, девочки стары, дешевы, только за три франка зазывают в темноту черного переулка. На его углу одна, блеснув куском панталон, присела, зашуршав струей, и, неверно привстав, пошла вертясь на острых каблуках, останавливая темных мужчин, кивая на тупичек. Из публичного дома гурьбой высыпали солдаты в голубой военной форме, все смеются, облегчились в этой первобытной ночи.

Раскорячив черные ноги над всем Парижем темнеет Эйфелева. В змеящихся огнях по бульвару толкаются без дела солдаты, арабы, негры, девки, где-то поются куплеты и с музыкой вертится электрическая карусель. Это апокалипсис парижской ночи. А мне бы заснуть, а спать негде, даже бульварную скамью и ту занял безногий участник войны. Где-то над нами потерялось никому ненужное в Париже небо, его мелкие запылившиеся звезды, как сыпь. Кто выдумал эти огни, эту толпу, этот ночной бульвар? «Броситься бы с него в какие-нибудь прохладные сады», думаю я, от усталости смежая глаза. К скамье подошел негр, на обвислых черных щеках всклокочена седая борода, он раздробленно дышет и ругается, что-то довело его до ярости. Он

тяжело опустился на скамью, неверно выбросив ноги, и развертывает газетный сверток с хлебом, сыром и початой бутылкой плещущегося красного вина. Чавкая он начинает ночную трапезу; в ползущем червивом человеческом месиве, на сцене этого темного бульвара, негр неплохой персонаж; негр жует, бормочет, ругается. «Но неужели это мой брат во Христе?», — думаю я, рассматривая черного старика. Я очень устал, я даже внутренно жалуюсь кому-то и тот, кому я жалуюсь, начинает мне отвечать. Мы разговариваем с ним давно, с детства. Он один знает меня изнутри, из-под кожи; но мы говорим только в минуты потрясенности и тревоги. Я помню, мы говорили еще в Пензе, когда умирал отец, в бою под Млынскими хуторами, когда я лежал на луговине, когда был ранен вечером под Кореновской, когда гитлеровцы в Ораниенбурге убивали молодого немца. Сейчас я говорю ему, что так жить мне трудно, почти невозможно. Кто он? Эхо? А может быть, это и есть Бог?

III

Вдали синеватым сахаром блестит хребет Пиренеев. На тяжелом крутосклоне я пашу на паре бланжевых кóров. Небо еще не нагрелось, воздух звучен, как в концертном зале, отовсюду слышны долетающие, однообразные понукания пахарей. В матерчатых занавесках на мордах (чтоб не кусали мухи), в проволочных намордниках (чтоб не хватали траву) коровы мои, выгнув спины и медленно переставляя ноги, волокут плуг, отваливающий блесткие пласты суглинка, а по борозде, сзади меня, гомозятся куры.

Это небо не наше. Это небо с полотен французских импрессионистов. Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с празеленью, неба в России не бывало. На воспользовавшихся моей задумчивостью, затихающих

коров я кричу: «Ха, Верми! Ха, Верро!»; и коровы вновь натягивают плужную цепь, ускоряя движение. До чего умны эти гасконские коровы, ими управляешь голосом. Я задумался о том, о чем, собственно, никогда не надо думать: о прошлом.

После теплых дождей пашется хорошо. Я пашу крутосклон второй раз; теперь плуг идет уж легко, почти не приходится придерживать ручку, я лишь медленно двигаюсь за коровами и разговариваю сам с собой. В это утро я вспомнил, как подростком в своем пензенском имении тосковал по трудовой жизни. «Ну, вот она и есть. Правда, с запозданием на двадцать пять лет, но пришла именно она, мускульная, трудовая, крестьянская жизнь». Под широкополой соломенной шляпой я улыбаюсь тому, что это утро, пашня, коровы в русском переводе именно и значат: «Ну, тащися, сивка, пашней десятинной, выбелим железо о сырую землю!». Только на этом гасконском крутосклоне мне кажется теперь, что тогдашняя тоска мелкопоместного пензенского барича была зряшней. Ну, разумеется, ну, конечно, и в ней, как во всей катакомбной философии Толстого, жила какая-то пленительная социальная правда; но сказочная, а потому вредная людям. Этот кающийся нерв русской интеллигенции революцией с кровью вырван из русской жизни. «Аррэ, Верми, ха, Верро, орэ сай...», по-гасконски кричу я, перевертывая плуг. Тяжело переступая, коровы неуклюже крутятся и снова, натянув цепь, медленно волокут его.

За работой я часто мысленно разговариваю с Львом Толстым. Мне раньше всегда казалось, что он, как никто, умел чувствовать и любить землю. Но став крестьянином, я понимаю что Толстой чувствовал и любил ее сверху, по-барски. Крестьянин любить земли не может. Он, если хотите, любит ее, но так, как корова любит траву, которую ест, как лошадь любит дорогу, по которой бежит. То-есть, живет землей. Став сам мужиком, я хорошо теперь знаю эту человеческую особь.

До чего он, мужик, глух, нем, жесток, первобытен, неблагостен и всегда хитер, как хитры окружающие его животные, и всегда нечестен, как нечестны с ним природа и Бог. Мужик должен быть таковым, ибо таковы силы земли, иначе мужику с землей и не сжиться, и не справиться. Он с рождения знает неблагостность своей земли. Мужик всегда сумеречен, суеверен и никогда не может быть истинно религиозен, оставляя это пастухам, поэтам, бродягам.

Небо надо мной уже другое, яро-лазоревое, с ослепительно тающим солнцем. Овода и слепни облаком вьются над спинами коров. Солнце почти что отвесное. Я знаю: скоро полдень. На краю поля, зайдя головами в тень кустов, коровы мои не хотят поворачиваться. Я даю им отдохнуть. Эта гасконская глина тяжела: если нет дождя, она клёкнет, становясь камнем, если польют дожди, она разойдется месивом и пахать нельзя. Это не пензенский чернозем, который паши, когда хочешь. Здесь надо еще уметь выбрать время пахоты. Но русская революция заставила меня вздирать именно эту французскую глину и я ее вздираю. При чем иногда даже сам себя спрашиваю: а не выиграл ли я на всероссийской революционной лотерее? Кто из нас, русских спасся от всесокрушающей революции? Большевики, что окружая Ленина, зачали октябрь, в большинстве расстреляны в подвалах своей же чеки. Рабочие? Те, что верили в «кто был ничем, тот станет всем», вот уже больше двадцати лет ведут рабью жизнь египетских феллахов. Мужики, солдаты, вся Россия, что из окопов бросились делить землю? Революция давно их лишила земли, превратив в полунищих государственных батраков. Интеллигенты? Свободомечтатели? В революцию их погибло множество, а те, что остались, влачат тяжкую жизнь несвободы. Так что в предгорьях Гаскони моя судьба совсем не худшая. Повернув коров и перекинув плуг, я спрашиваю себя: но разве я не тоскую, что выброшен из России? И идя за коровами, с предельной

искренностью отвечаю: в моей скитальческой жизни я всегда чувствовал облегчающее душу удовлетворение, что живу именно вне России. Почему? Да, потому, что родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, но всё-таки остается свободой. «Ха, Верми! Ха, Верро!», — подгоняю я моих затихающих коров.

IV

Нетерпеливо отмахиваясь хвостами и ногами от оводов, ощутив ослабленность ремней ярма, коровы сбрасывают его с головы и смешной рысью, как неумеющие бегать женщины, трусят в стойло к охапкам маиса. А я иду в свое крестьянское жилье, которое каждому художнику захотелось бы написать. Старый крестьянский дом из дикого камня; стены увиты виноградом, от купороса яро-голубым, голубоваты даже камни, легшие фоном винограда, а виноград перерезали розовые, желтые, вытянувшиеся до крыши, мальвы. У порога пунцовым огнем цветет гранатовое дерево. В этом многовековом доме прохладно в жар и сыро в зиму, греет только камин в полстены.

У нас в красном углу — икона, копия Св. Троицы Андрея Рублева, на стене дешевая автотипия: А. С. Пушкин, с портрета Тропинина. Александр Сергеевич глядит на свисающие с балок пучки укропа, связки лука, чеснока, на всё бедное убранство комнаты.

Старчески сгорбившаяся, с широкогрустными глазами, словно ставшими еще шире и темнее, мать на этой ферме больше всех беспокоится, уродится ли маис, взойдут ли арбузы и дыни, встанет ли полегшая после бури пшеница, оправится ли неладно отелившаяся корова? Она любит и этот, наверное уже последний, кусок французской земли. И здесь все ее дни, как всегда,

в материнском беспокойстве за утлый корабль нашей уплывающей жизни. Иногда невзначай глянув на нее, я с большим напряжением заставляю себя представить, что там, в Пензе, в зеленой гостиной, игравшая вечерами Шопена и Моцарта, это была она же, связавшая в моей памяти тот свой молодой облик с убегающими, ускользающими звуками «rondo alla turca».

Сам-шесть мы садимся за стол, обед весь свой; овощи с огорода, хлеб своего зерна, молоко своей коровы, вино своего виноградника, яйца своих кур, всё что дали труд, земля, животные. По земляному полу комнаты ходят цыплята, утята; выгнув спину, у ножки стола вьется кот; тут же рыжая овчарка, помощница в пасьбе и я считаю, что если мы и не в интеллигентном, то в очень приятном обществе. За обедом наши разговоры однообразны и для постороннего совершенно скучны; это всё заботы хозяйства; появившиеся на картошке дорифоры, на винограде оидиум, плохие всходы кормов, запор у теленка, базарные цены на цыплят и всякие соседские несложные сплетни и новости.

V

Первым косцом идет брат, вторым Иван Никитич, третьим я, а моя жена и жена брата вяжут снопы, кладут их в крестцы и от крестцов желтое поле как бы приподнимается. Так мы работаем до полдня. А в полдень, обедая в тени фигового дерева, Иван Никитич, отирая потную сморщенную, словно замшевую шею и вместо русского кваска отпивая из бутылки «пикет», рассказывает как смолоду служил в урядниках в сальских степях и какие видывал там священные калмыцкие праздники. Иван Никитич донской казак, бывший атаман своей станицы, живет по соседству, на ферме в развалинах древнего католического аббатства; земля у него неудобная, безводная, скалистая, казаку пошел седьмой

десяток и он, как перст один, ковыряется в этих скалах, а ночь напролет спит с горящей лампой, ибо как только потушит, то в развалинах, говорит, поднимается такая шамата, такая шамата, что тут же зажигает лампу и шамата тогда, со светом, исчезает.

В революцию Иван Никитич потерял трех сыновей, двух в белой армии и одного в красной, девочка-малолетка умерла без него, а о жене он так ничего и не знает. За годы странствований чего только Иван Никитич не перевидал: Турцию, Болгарию, Румынию, Германию, Корсику, север Франции, Гасконь, но лучше Тихого Дона для него нет страны и он очень любит вспоминать донские степи, где гонял табуны долгогривых дончаков, где осенями с станичниками охотились на дроф, увозя битую дичь телегами, а когда ездили на рыбалку, то неводом захватывали столько рыбы, что и вытащить бывало не под силу. Иван Никитич помнит еще стародавние времена, когда казаки еще не садили картошку, помнит как земля была еще неделеная и по весне казаки выезжали всей станицей в степь и каждый сколько хотел, столько для себя и запахивал.

— Да рази хранцузам такое снилось?! — улыбаясь в седые усы, с искренним сожалением говорит Иван Никитич, — да у нас же везде простор, поэтому наш брат тут в тесноте по заграницам-то и пропадает, иэх... — Иван Никитич глубоко и грустно вздохнул. — Вот работал я в Эльзасе, был там у нас один русский, Полем звать, то-есть Павел, значит, так такой чудной был, ни с кем, бывало, слова не говорил, как есть, ни по-русски, ни по-хранцузски, ни по-немецки; ты к нему, Поль, мол, сколько время? а он улыбнется, покажет часы и всё. Ему скажут, Поль, подай, мол, вилы, он ногой их швырнет и вся недолга. А завтракать завсегда отойдет к сторонке, сядет один и ест. И не старый, годов сорок, не боле. Говорили про него, будто гвардии-офицер был, а как приехал заграницу, будто, зарок дал ничего не говорить, пока не вернется к себе в Россию.

И молчит. А работать примется, за мое почтенье, только как бы онемел.

Я плохо слушаю, я вспоминаю классическую толстовскую косьбу Левина с мужиками; тоже «барская была косьба», — думаю я.

— А чудной всё-таки народ калмыки, — вспоминает Иван Никитич, — помню, вот, служил я в сальских степях и приезжает ко мне раз богатый калмык, Горгульгой звать, и плачет, что, говорит, ночью у него дочь умыкали. Я, говорит, знаю кто умыкал, его юрта верстах в двадцати стоит, поедем, говорит, с нами отымать девку. Не хотел я ехать, да он пристал, возьми, говорит, Бога ради три рубли, только поедем. Ну, дело, конечно, не мое, а делать нечего, взял я три рубли, седлаю коня, поехали. Едем мы по степи человек десять верхоконные и стали только доезжать до этой самой юрты, как, заслышав нас, из нее выскакивает молодой калмык. Мои калмыки сразу с сёдел да на него, сгробастали, Горгульга кричит: «Он, окаянный, он дочь умыкал!». Повалили они его и давай плетить. Плетят, а он как резаный боров визжит, ох, что смеху тут было! — рассыпчатым стариковским смехом смеется Иван Никитич. — А из юрты на крик выбегает вдруг эта самая девка, здоровенная, лет осьмнадцати. Калмык то этот как рванется, так, не поверите, вырвался, схватил девку да к коням, да кошкой на седло, да вместе с ней по степи! Калмыки на коней, я за ними. Скачу с ними, куды тут, ветер в ушах! Нагнали они их под откосом, сшибли вместе с девкой, с лошадью в овраг и не пойму я как они все костей не переломали; схватили их обоих, а девка кричит: не хочу к отцу, не поеду! Ну, тут уж они его еще пуще плетить зачали... — и Иван Никитич замолкает.

— Ну, и что же?

— Как, что же? — обидчиво, что его не поняли, говорит Иван Никитич.

— Что же с ним сделали-то?

— Как что? Заплетили, конечно, — говорит Иван Никитич.

— Как? До смерти?

— Ну, а как же?

— И ничего им не было?

— Да от кого же им быть, ежели у них в степях, к примеру, обычай такой?

— Ну, а девка?

— А девку, конешно, назад увезли, да за девку я там не знаю, влезла в юрту и шабаш. Дддааа, — глядя в гасконское небо, лежа на траве, заложив руки за голову вздыхает Иван Никитич, — сызмальства привычный я к степи, у нас осенями дрофы кады по-над степью летят, ну, верьте, хмарой небо застят и шум такой, что твои ероплany..

Брат кончил отбивать косу, поднялся; встали и мы с Иваном Никитичем, заходим за край поля и снова в этот зной идем друг за дружкой с общим звенящим шуршаньем кос. Пот выступает на лбу, на скулах, стекает по лицу, солит губы, а в ушах стоит протяжный звон, не то миллионного комариного пенья, не то это кровь звенит в ушах. Я стараюсь идти вровень с Иваном Никитичем, а у казака-старика силищи! И мне радостно от мерного взмаха кос, от здоровой усталости мышц, оттого, что с крутосклона рябит ушедшая цветная даль, оттого, что моя пшеница уродилась и я, кажется, на ней заработаю.

На закате мы уходим с поля усталые. С возвышенности пестрят те же лоскутные одеяла полей, виноградников, лесов, дороги обсаженные платанами. У тенистой реки тонет очертание древнего замка времен тамплиеров, он повис над обмелевшей рекой; в нем живут три семьи мужиков-итальянцев, ничего, конечно, не смыслящих в музыкальной строгости пропорций строения, в летящей красоте замковых лестниц и галлерей, в чем

кто-то из строивших его тамплиеров понимал толк. Зато крепкие богатеи знают толк в откорме свиней, в отпое телят; денным и нощным трудом, сметкой, хищностью, ловкостью богатеют эти крестьяне и дай им Бог здоровья, хоть они и загадили видавшие виды, великолепные залы тамплиерского замка, а часть замковых стен даже развалили, сделав из камня совершенно замечательные свинарники.

— Вот живал я и в Париже, чтоб его намочило, — идя рядом со мной говорит Иван Никитич, — а нет, никак не выжил, камни одни и выйтить некуда. Я уж там, бывало, слободной минутой в Булонский лес ездил, только чтоб подошвами по земле походить.

Я молчу, я устал, в голове занозой сидит глупейшая стихотворная строка «так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук», и я никак ее не могу из себя вытащить.

— Вот вижу я вчерась сон, — продолжает, тихо идя, Иван Никитич, — будто как я посреди своей семьи, всё дети мои и будто они собираются обедать, да только толкутся, толкутся, а ничего у них не выходит. Я смотрю, смотрю, да и говорю им: «Да што ж вы? Сначала надо умыться, Богу помолиться, а потом уж об обеде думать, обед собирать». Ну, они меня как-вроде послушались, стали мы все на колени и начали «Отче наш» читать. Стою это я на коленках, обернулся назад, смотрю, мама моя стоит, а до этого ее тут не было. Стоит она в сереньком таком платьице своем и как у нее голова часто болела, платочком таким повязана. Я это говорю ей: «Да откелева ж вы, мамаша?». А она мне ничего не сказала, а я это упал перед ней, целую ей руки и говорю: «Мама, да не могу я так больше жить!». И почему я ей так сказал, сам не знаю, вроде это как дети што ль меня не слушаются, а только она положила мне руку на голову, да и говорит: «Нет, Ваня, ты еще можешь...».

Я молчу. Я, конечно, знаю, что даже на этой гасконской земле Ивану Никитичу легче, чем на парижском асфальте, но и здесь, разумеется, казаку не прижиться, он дерево непересадочное, оттого и тоскует. Есть пословица: без корня и полынь не растет. С тоненьким звоном кос, задевающих за ветви вязов мы по лесной дороге подходим уже к ферме. Иван Никитич вздохнул, что-то пробормотал и начинает старческим дрожащим тенорком напевать:

«Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, кого-то ждет».

— А на прошлой неделе вот опять сон снил и опять не знай к чему, — вдруг говорит Иван Никитич, — вижу будто вместо нашей станицы вроде как какие-то цементные домики понастроены, квадратные такие, без окон, без дверей, и вижу жену с сыном и хочу их догнать, а они всё уходят, а я им кричу: «Да, куда ж вы! Постойте! Марья!». А она не отвечает, идет. Потом дошла до одного такого цементного домика, а там как вроде дверь какая открылась, она с порога повернулась ко мне, махнула рукой, вроде как «не надо, мол, мне тебя», и взошла туда; подбегаю я к этому самому домику, а никакой двери найтить не могу».

VI

Страдная пора здесь не жатва, а молотьба, когда по фермам ездит молотилка и соседи сходятся друг к другу на помочь. Гасконцы веселый, солнечный народ, хохотуны, хвастуны, безалаберники, но всегда себе на уме. С соседями я хорош, хоть и замечаю, что эти кондовые потомственные мужики относятся ко мне чуть-чуть свысока, с еле замечаемой усмешкой. Это потому, что я человек не их круга, а себе равноценными все люди признают только людей своего круга. Так свет-

ские люди относятся к «parvenu», так же стадо рабочих коров относится к замешавшейся в нем молочной корове. Это вполне естественное, зоологическое чувство.

Из крестьян я сошелся ближе всего с Гарабосом. Может быть оттого, что он странноват. Над старым бобылем подсмеиваются все соседи. Мне же он нравится из-за моей любви к хорошей породе. А Гарабос — столбовой гасконец, оставшийся здесь, как невыкорчевывающийся виноградный корень, даже после того, как всю округу залили итальянцы. Лицо у него будто сшито из кусков коричневой замши, до того закоржавело складками, морщинами. Губы украшены грязными седыми усами, изо рта торчит единственный черный клык, а слезящиеся зеленые глазки всегда издевательски смеются; основной же чертой характера семидесятишестилетнего гасконца остается, конечно, веселость.

В закопченное жилье Гарабоса страшно войти, тут круглый год то тлеет, то пылает камин. Жена давно умерла, сыновья ушли в город. В ветхой разваливающейся усадьбе старик один. В часы отдыха, бросив в камин бревешко, он дремлет у огня, радуясь пламени согревающему старческое тело; у огня лежит и его голодная коричневая сука.

На этой виноградно-пшеничной земле Гарабос родился и прожил жизнь, как прожили ее здесь его прадеды и пращуры. Гарабос дремлет от выпитого вина, от теплоты огня, от старости. Жизнь в старике сделала полный круг и вот уже застывает; он скоро умрет и смерть его, может быть, никто даже и не увидит, кроме его худой голодной собаки.

В свежие утренники с усадьбы Гарабоса видны вечные Пиренеи, по ним старик предугадывает погоду, иногда дребезжаще поет с детства заученную песню: «Les montagnes des Pyrénées, vous êtez mon amour». Старик — философ. Ему всё ясно. Как-то я заговорил о войне 1914 года, но он не поддержал разговора. «Это

северным округам надо было воевать, — сказал старик, — а нам здесь воевать не с кем!». И это искренне, это то же крестьянское чувство враждебности к государству: «мы тульские, до нас не дойдут». Да другое представление было бы и противоестественно, ибо весь мир Гарабоса здесь, на восьми гектарах пшеницы и виноградника, с которых он никуда не сходит. Только раз, ребенком, отец возил его на ярмарку в окружной город и это единственное путешествие до сих пор старик вспоминает, как лежащее в бесконечности. Остальные его передвижения коротки и однообразны: отвести корову к соседскому быку, сходить на помочь, занять у соседей для клушки яиц, взять винную бочку и лишь в субботу, с раннего утра, когда на ферму глядят далекие, за ночь словно отмытые, светящиеся Пиренеи, Гарабос собирается в самое большое путешествие. Он надевает тогда черную, гасконскую рубаху навыпуск, оставшуюся еще от времен, когда торговал скотом; маклаческая рубаха сразу же скрывает нечистоплотность костюма старика; шпяпу он сменяет на широкий черный берет и посасывая самодельную старую трубку тихо спускается на еженедельный базар ближайшего городка. Тут на скотьем базаре старик приценится к бычкам, которые, как фарфоровые, привязаны пестрым рядом; узнает цены на яйца, на кур; с своими сверстниками, такими же стариками, посасывающими такие же трубки, он нашутится остротами и поговорками, какими они острят вот уж шестьдесят лет; и если кто-нибудь угостит, то старик выпьет рюмку анисовой водки. А когда начнется разъезд, Гарабос той же тропкой поднимется домой, на гору, на ферму, чтоб на рассвете на паре белых волов, с черными, словно обугленными глазницами и такими же черными метелками хвостов, выехать пахать свое поле, на котором он знает каждую ложбинку, ибо старым ручным плугом пашет его больше шестидесяти лет.

Раз, после базара, я помогал старику резать вино-

град. День стоял сентябрьский, виноградник был уже в утомленной желто-лазурно-красной листве. Вдруг, перестав резать и вынув изо рта стертую трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, проговорил:

— Ты знаешь, это только дураки ведь думают, что там, — он указал старым, закорузлым пальцем на нежно-осеннее небо, — ничего нет. А кто ж тогда этим всем управляет, а? — и, подмигнув слезящимися глазками, старик рассмеялся с хрипотцой.

Мы продолжали резать матово-чугунные, черные, переспелые гроздья, от сладкого сока которых слипались пальцы. Мне всегда трудно было распознать отношения Гарабоса с Богом, но сейчас я убедился, что эти отношения существуют, хотя они понятны, вероятно, только им двоим. Этот гасконский вольтерьянец всегда подсмеивался над аббатами, церковью, над Богом, но сегодня в осеннем винограднике его должно быть что-то волновало. Вскоре он опять заговорил, рассказывая о том, что ночью в прошлую пятницу у вдовы, соседки увидал в самой середине виноградника какое-то сияние, на следующую ночь опять, в воскресенье ночью то же самое, тогда он пошел к ней посоветывать, чтоб отслужила по мужу панихиду; и действительно, после отслуженной вдовой панихиды ночное сияние в винограднике исчезло.

— Что же это такое было? — продолжая резать переспелые гроздья, спрашиваю я.

— Не знаю, что было, а вот было, — и зеленые глазки старика смеются, при этом он щелкает губами и произносит любимое «хок-йок!».

Трудно распознать душу этого старого гасконца.

Философия хлеба, постели, могилы у Гарабоса по-крестьянски жестока и ясна. Когда умер восьмидесятилетний сосед и я сказал об этом Гарабосу, он снял соломенную шляпу, неожиданно обнажив совершенно

круглый безволосый череп, и произнес с сожалением: «Жаль». Потом помолчав, добавил: «Ну, пахать-то он уж не мог, а вот мотыжить мог еще». Я понял чувство и мысль старика, что каждому нужно свое отпахать, отмотыжить, а потом идти в землю. Зато живя здесь, на земле, старик, как истый галл, страшно любит всякие плотские радости: красное вино, жирный кусок баранины, пахнущий овчиной сыр. После еды Гарабос желтым пальцем набивает обсосанную трубку горлодерущим табаком; а за едой он неизменно, со всей соленой откровенностью, балагурит о женской любви и сам первый заливисто хохочет, сотрясая высохшее, костлявое тело.

В склонах Гаскони Гарабос произростает, как старый корень, дожидающийся естественного умирания.

VII

На молотьбе всё ведется по исстари заведенным правилам: и угощенье, и работа. Подняв соломотряс к голубому небу, машина нетерпеливо ждет рабочих; засаленные машинисты отрывистыми свистками созывают их. В спадающих с костлявой поясницы, заплатанных широкими латками портках, с свисшими седогрязными усами, но тщательно выбритый, с вилами на плече Гарабос идет к нам на молотьбу первым. На помочи старик, конечно, уж только ловчится, приходя, чтоб задарма поесть кур, мяса, сыру, попить вина, кофе, арманьяку, потолковать, посудачить. Он издали уж кричит какие-то «патуасские» остроты, это значит, что от предвкушаемого пиршества старик в хорошем расположеньи духа.

За стариком сходятся человек двадцать соседей, французов, итальянцев; в гасконской рубахе, в соломенной шляпе пришел и Иван Никитич. Кругом смех, остроты, у южан сильно развита шишка жизнерадост-

ности. Но вот паровичек застучал, все по местам и за шумом машины уже еле слышны выкрики голосов, а скирд начал мерно таять под вилами залезших на него мужиков, споро кидающих тяжелые снопы в подрагивающую пасть машины.

Дубовые столы уж приготовлены, накрыты скатертями, на них встали пузатые пятилитровые бутылки с красным и белым вином. Гасконцы идолопоклонники хорошей кухни. Окончив молотьбу и перетаскав к амбару мешки, соседи в очередь моют у ведра руки и с веселым говором садятся за столы. Церемония началась, как надо. Закуской подаются сардинки; за ними национальный наполеоновский суп с вермишелью, доев который каждый обязательно наливает в тарелку вина и, вкусно ополоснув, спивает. А хозяйки несут уже жирный кусок вареной говядины, ее каждый вдосталь запивает красным вином уже из стакана; за мясом салат, за салатом разварные куры, за разварными жареные, золотистые; и как только жареные куры приносятся на стол, происходит всегдашний отказ гостей от чести их разнимать. Это — дело и честь старейшего. Золотая курица плывет вокруг дубовых столов от отказывающегося к отказывающемуся пока, наконец, не дойдет до Гарабоса. Старик, смеясь, и всегда с одними и теми же прибаутками крепкого полового свойства, не спеша, берет свой сработанный, но острейший нож и ловко начинает разнимать тело птицы. На его искусство глядят молодые, отпуская такие же остроты, сопровождаемые дружным хохотом здоровых, уже наедающихся тел. Солнце юга, его блеск, вино, мясо, чеснок, кофе все тут землянее, кровянее, чувственней, чем у нас северян. За дубовыми столами от простоты плотского веселья, от крепкоядения стоит всё усиливающийся гомон голосов. Эти пиршества молотьбы мне всегда напоминают старые полотна Босха и Брегеля. По-локоть засученные мозолистые руки, крепкие челюсти, проголодавшиеся желудки, ничем не сдерживаемый хохот, грубость острот, звуки

еды, крики, икота. Даже пришедшие с хозяевами собаки, подхватывающие оброненные со столов куски, и те вкусно пахнут «Деревенским праздником» знаменитого голландца. Подвыпившие и наевшиеся кидаются друг в друга хлебными шариками, сливовыми косточками, ударяют разговаривающих соседей головой об голову. Под общий хохот на лугу, у столов, парни повалили здоровенного малого и, стащив с него штаны, ищут со смехом, есть ли у него то, что бывает у всех. Крестьянское веселье несложно, это детское веселье. Может, оно и тяжеловато, но, в сущности, не всё ли равно, как веселятся люди, главное, чтоб веселились, а остальное — воздух, климат, кровь, нация, класс.

Наконец подается кофе, арманьяк, печенье, фрукты, сыр и на блюдах табак с папиросной бумагой для заверток. Этим должен заканчиваться каждый праздничный обед на молотьбе. Это всё обязательно. И после этого наполнение желудков окончено.

На поля, луга, виноградники ниспадает тихая оливковая сумеречность. Вся помочь, покачиваясь, расходится по домам, чтоб назавтра так же собраться за столами у соседа. Я чувствую, что устал от работы, вина, мяса, арманьяка, кофе. У сарая сложены дышащие хлебным теплом мешки с пшеницей: годовой пот и труд. Вокруг дома пахнет хлебом и пролитым вином. На шоссе крякает спешащий автомобиль. В небе вызвездились первые звезды, они словно нетверды, вот-вот звездопадом просыпятся вниз. Звеня стаканами, тарелками, жена и мать убирают со столов, похожих на поле после побоища. И мягко из-за холма, как громадный искусственный лимон, вышла луна и залила всё призрачным светом, в котором резко заострился выросший после молотьбы омет соломы.

Вино лишает меня чувства действительности, мне всё кажется, что это и не молотьба, и не я, а какое-то театральное представление, освещенное громадной электрической луной-лампой

VIII

Выросшие до крыши розовые, белые, желтые мальвы обступили наш дом. Увивший стену виноград цвел, испуская сладкий запах, будто кто-то пролил у крыльца душистое вино. В переднем углу комнаты, под темным образом Христа мать лежала в гробу маленькая, пожелтевшая, с странно молодым лицом.

Сквозь окно виднелась качающаяся в ветре айва, желтеющая пшеница и высокое ровное небо. Перед смертью сознание матери не выдерживало напирающего хаоса пережитого. В жизнь на бедной гасконской ферме врывалось далекое, русское, война, революция. И с широко-раскрытыми глазами мать произносила жуткую путаницу. Но потом, словно борясь с ринувшимся в сознание хаосом, она с отчаянием выговаривала: «Господи, да как же всё это было? Ведь я же путаю...». Я помогал ей выправить мысль. Закрывшись желтоватой, когда-то необычайно красивой рукой, она лежала детская. Взглядом страдающих глаз глядела на нас, своих детей, словно прося простить за причиняемое болезнью страдание. А когда ей становилось легче, пыталась расспрашивать о хозяйстве, сенокосе, о саде; сказала: «сливы в этом году много, если, Бог даст, встану, наварю вам варенья». Но вскоре с взглядом напряженно ищущим, испуганно-безумным, стараясь приподняться на слабых руках, она тревожно произнесла: «А, знаешь, в этом году большевики, пожалуй, придут... в прошлом не пришли, а в этом придут...». Я понял, что это вспыхнувшая жуть ожидания большевиков в Киеве, двадцать лет тому назад. Внезапно замолчав мать откинулась на подушку и вскоре заснула. К ночи она страдающе проговорила: «Как это страшно, что человек так близок к безумью... один шаг и начинается безумье...». Я успокаивал ее. Над домом теплое небо расписалось созвез-

диями, плыла ночь, ни ветра, ни собачьего лая, будто всё к чему-то прислушивается и вдруг от шороха и шепотов матери я вскочил, но я еще не понимал, что это *пришла смерть,* что сейчас начнется единственно-страшное человеку: телесные страдания перед уходом с земли. Верующая, всю свою жизнь она не боялась смерти, но всегда болезненно страшилась возможности телесного уродства и наступало именно это: мать лишалась души, речи, сознания.

Рассветало медленно и безжалостно. Сквозь окно качалась та же айва, пели те же птицы, желтели те же пшеничные склоны. Полупарализованной рукой мать показывала мне на ногу и на голову, объясняя этим, что понимает происшедшее с нею: от закупорки вены в ноге — закупорка в мозгу и полупаралич. Хлопоча у ее постели, я вспоминал, как двадцать пять лет назад, закаменев в своем горе, мать вот так же в Пензе хлопотала возле умирающего отца, и мне казалось, что времени нет, что это было вчера и вот ее самое теперь уж не отнять, не вырвать, расставание настает, надо прощаться.

Мать пытается перекреститься на темный лик Христа, но рука непослушна. Я взял эту бессильную руку с пальцами сжатыми крестным знамением и помог поднести ко лбу, груди, плечам. И вдруг, глядя на меня, мать тихо заплакала. Это были те большие, запрокинутые в вечность мгновенья, что переживаются только, когда смерть подходит вплотную и своим током, веянием крыл обдает до дрожи. Мать пытается говорить, но всё, что произносит, это уже не речь, а отчаянный поток нечеловеческих звуков и в нем различимо только «Господи... Боже мой...». Словно она молится Богу и видя, что мы ее уже не можем понять, просит Бога, кричит к Нему, чтоб он помог ей досказать что-то самое главное, самое нужное, самое последнее, но у нее нет сил это выговорить.

Рассвело. За окном пели птицы. Остановив на мне потухающие глаза, мать неожиданно произнесла: «Умру». Это было последнее. Силы уводящие ее из жизни брали верх. Мы сидели в тишине, нам показалось, она может быть заснет, но, полуоткрыв глаза, она вдруг, с трудом приподняв еще непарализованную руку, сделала ею в направлении нас движение, словно прощалась с нами уже оттуда, с пути, уходя навсегда.

Вздрагивая и стоная, она лежала в бессознании. Силы смерти уже несли ее всё стремительней по страшному переходу из жизни в нежизнь. Вокруг — полевая тишина, трепет деревьев, долетают понукания пахарей. И нет для смерти окружения лучше, чем цветущая земля. В этой полевой певучей тишине и провожать и умирать легче, тут земля нестрашна, с землей слипся, сжился.

Так же, как в отрочестве, в Пензе, когда умирал отец, в нашем доме стала жить смерть, и от ее присутствия лица всех стали иными, все заговорили шепотом, заходили тише, жизнь пошла оторванно от быта, смерть словно говорила: «смотрите, как всё это ни к чему и как всё это просто, вот я пришла и беру, и очень скоро возьму вас всех».

Боролась со смертью только земля, не позволяя себя забыть. С запада набежали фиолетовые дождевые тучи, сильно понес влажный ветер: будет дождь, надо свозить сено; корова пришла в охоту, ее надо вести к соседскому быку. И подчиняясь земле мы работали и возвращались к лежавшей без сознания умиравшей матери.

У матери закрыты глаза, в тишине она дышит всё чаще. Мы стоим у ее постели, сквозь окно я вижу, как в ветвях деревьев прыгают и перекликаются маленькие оранжевогрудые птицы. Мать дышит словно торопясь. Мать умирает и, несмотря на сорок лет жизни, я ощу-

щаю, что остаюсь потерянным, словно соединявшая меня с миром пуповина будет сейчас перерезана. Вот мать глубоко перевела дыхание и вдруг всё стихло. Это останавливается сердце. Бившееся шестьдесят пять лет оно биться кончает, еще мгновенье и оно остановится. Остановилось? Нет еще. В тишину с пашни ворвался чей-то непонятный далекий крик. И еще глубокий, всей грудью, вздох матери. И снова захлебывающееся, учащенное дыхание и опять одинокий длительный вздох будто сладко просыпающегося человека. За ним из мира в мир страшная влекущая тишина. Вот — запоздалый, всеотпускающий последний вздох и наступает совершенная тишина. В этом мире уже нет ее дыхания... мать умерла...

IX

Есть в уничтожении много страдания, но есть и необъяснимое, радостное. Вот ушла мать, и с страданием смешалась непонятная, противувольная, неопределимая, невозможная для высказывания радость. Что это? Радость возвращения? Радость покоя? Того, что зовется вечным упокоением?

Из своего источника мы принесли воды, обмыли давшее нам жизнь маленькое тело, одели и уложили мать на прибранную постель, потом срезали незатейливые цветы, положили у тела и в сумраке прикрытых ставень в комнате настала пустота горя и тишина без дыхания.

Когда сосед привез гроб из свежих досок, мы бережно переложили мать в него, на свое только что скошенное свежее сено; и сухонькая, она, чья жизнь сложилась трудным женским подвигом, лежит скрестив восковые руки.

Русский священник читает ей отходную. Отрываясь от кадила ладанный дым летит, своим запахом вызывая воспоминания детства и России; дым улетает в раскрытое окно. С свечой в плоской руке, немигающе уставясь в пространство, стоит Иван Никитич, что-то шепчет, перебирая синими губами. Батюшка служит за священника, за дьякона и сам поет за хор, но чин православного отпевания так умиротворяюще прекрасен и глубинной мудростью смысла и радостно-страдающими напевами, что даже служба одинокого священника снимает животную боль, соблазны, лукавства, искушения, давая душе благость успокоения.

На рассвете сосед-итальянец, одевшийся в праздничный темный костюм, подводит к дому двуколку, запряженную красными молодыми коровами в белых попонах и пестрых занавесках на мордах. Он управляет ими движением вишневой трости. Это здешний обычай: покойника на кладбище везут соседи; и мы подчиняемся ему.

В скуфье, с серебряным крестом в руке, в черной метущей дорогу рясе, за двуколкой пошел русский священник, я, брат, наши жены и Иван Никитич. С возвышенности бесконечен вид лугов, полей, виноградников. Встречные крестьяне, снимая шляпы и береты, пропускают горькое сельское шествие, с любопытством глядя на шагающего вразвалку русского священника. Я вспоминаю пышные похороны отца с громогласием дьяконов, с священниками в парчевых ризах, с звучным хором, чужими и своими рысаками, извозчиками, роскошным катафалком, изобилием живых цветов, искусственных венков, и бедные крестьянские похороны матери, на сене, с немногими полевыми цветами, кажутся и легче и правильнее.

Кладбище заросло акацией, бузиной, сиренью, будто русское уездное кладбище. В ряду крестов — открытая

яма, из нее тянет сырой холодок. Мы ставим гроб над ямой на два горбыля, под ними веревка. Француз-могильщик с любопытством рассматривает русского священника с длинными волосами и удивленно слушает непонятную службу. В груди пустота и остро прорезающее чувство бездомности. Сейчас тело матери уйдет в эту гасконскую землю. Как часто в предчувствии смерти мать говорила, что хотела бы умереть в России, где похоронен муж, дети, отец, мать, все родные. «Надгробное рыдание!». И, снижаясь, гроб опускается в могилу. На крышку упали комья глины. Я и брат закапываем мать, а над нами поют какие-то кладбищенские птицы, им хорошо, их тут никто не спугивает.

Наплывают свежие кучевые облака, сквозь солнце начинает сечь теплый слепой крупнокапельный дождик. Полями, мы молча возвращаемся на ферму, к дому, где крыша под одно прикрыла комнаты, сарай, коровник; только одно окно призакрыто ставнями, это комната матери, ставшая без нее странно пустой.

Я, торопясь, запрягаю коров ехать свозить оставшееся в копнах сено.

— Иван Никитич! — кричит батюшка, — лезьте на телегу, а я подавать стану! — В широкополой шляпе, в русской белой рубашке, в штанах, подхваченных ремнем, он сильным ро́змахом мечет сено. Казак еле успевает подхватывать. — Вот оно как по-сибирски-то! — улыбается русский батюшка, светлолицый, косая сажень в плечах.

Он — сибиряк, сын протоиерея, юрист, военный, эмигрант, фабричный рабочий и наконец, православный священник на юге Франции, подвижнически путешествующий и в зной, и в дождь, и в невылазную грязь по русским фермам Жиронды и Гаскони, везде служа, крестя детей, венчая молодых, исповедуя старых, соборуя больных, отпевая умерших

С луга мы поднимаемся на изволок за поскрипывающим, покачивающимся возом.

— Где только я не побывал за этот год, — говорит священник, — недавно казакам служил всенощную прямо в лесу, да как хорошо было, составился хор, чудно пели, а погода была такая тихая, что в лесу со свечами стояли.

С подъема он оглядывается на пестреющую окрестность.

— Очень красиво, — говорит, — только нашей-то Сибири, конечно, не ровня. По сравнению с нашими-то просторами, это всё игрушки. Бывало, плывешь по Енисею домой из университета, что за красотища! С парохода, балуясь, кричим: «Хозяин дома?!». А эхо на весь Енисей несет: «Домааа!». И батюшка мягко улыбается воспоминанию. «А зимой, когда на лошадях ехали, — снега, просторы дикие. Везешь, бывало, с собой обязательный кулек замороженных щей... Да, наша сибирская-то мощь европейцам и во сне не приснится», — и вдруг батюшка смолкает, словно поняв, что Сибирь очень далека и не стоит бередить себя воспоминаниями.

На утро он торопится уйти еще до раскаленного жара. Высоченный, широкоплечий, в черной шляпе, с клеенчатым чемоданчиком, в котором уложены ряса, крест, скуфья, свечи, кадило, батюшка пошел к другим русским людям на фермах Гаскони.

А я выехал пахать.

X

Так я и живу в Гаскони и только иногда во сне хожу в Россию. Недавно видел себя мальчиком, будто я и старый сельский учитель Непогодкин идем на охоте по болотным Лапотковым лугам. Я в высоких сапогах,

они мне велики, я хлюпаю ими по болотцу, но вдруг всем телом вздрагиваю от внезапно фыркнувшего взлета чирков. Я сразу просыпаюсь: это трещит будильник, я в гасконской хате, с постели вижу, что земляной пол выкрошился, его надо набить; я — здешний мужик, это моя настоящая, не выдуманная жизнь и надо вставать задавать корм коровам.

Накинув пиджак, подрагивая от прохлады рассветающей ночи, в одних подштанниках, я иду в коровник. Заслышав меня, лежащие коровы с тяжелым крехтом поднимаются на колени, встают, от них пахнет приятным молочным теплом. В полутемноте правая ловит шершавым длинным языком полу моего пиджака и жует ее. Я похлопываю старую умную корову по тяжелому свислому подгрудку и тихо разговариваю с ней на коровье-гасконском языке; потом я задаю им сена. И вдруг опять это ощущение нежно-изливающейся теплоты. Оно до того телесно ощутимо, что я даже приостанавливаюсь: «что это!?». И тут же отвечаю: «ах, это мама, опять». Я чувствую, будто она не исчезла, а где-то вот здесь, за моим плечом, *только совсем в иной жизни*. И наполненный этим мягко-согревающим внутренним светом я ухожу из коровника.

После завтрака я выхожу на последний укос люцерны. Я работаю бездумно, но в это утро мне особенно хорошо: я люблю всё: и свою рыжую собаку «Моську», легшую неподалеку от меня, и сработанную ладную косу, под которой ровными рядами ложится трава, и щетку соседского мокрого жнива, и своих коров, и вспаханную дышащую землю, и свои начисто вымытые винные бочки, и деревья сада, согнувшиеся под урожаем яблоков, и высокое небо, и весь этот резкий воздух, которым я дышу и не надышусь.

Конечно, пословица верна, что мила та сторона, где пупок резан, и я, конечно, хотел бы сменить разлапые

фиговые деревья на играющую под ветром березу, а южное опаловое небо на наши тяжелые ветхозаветные облака. Но во мне есть и другое русское чувство, по которому вся земля — наша, вся Божья. И с моих пяти десятин в это утро я радостно встречаю и благодарю весь мир, за косьбой вспоминая изумительную молитву сеятеля: «Боже, устрой и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимоидущего и посягающего...».

Гасконь, 1938 — Париж, 1945 г.г.

КНИГИ РОМАНА ГУЛЯ

РОМАН ГУЛЬ. *Ледяной поход* (с Корниловым). Изд-во С. Ефрон. Берлин. 1921.

РОМАН ГУЛЬ. *В рассеяньи сущие*. Повесть. Изд-во Манфред. Берлин. 1923.

РОМАН ГУЛЬ. *Пол в творчестве*. (Разбор произведений А. Белого). Изд-во Манфред. 1923.

РОМАН ГУЛЬ. *Ледяной поход* (с Корниловым). Предисловие Н. Л. Мещерякова. Государственное издательство. Москва-Петроград. 1923.

РОМАН ГУЛЬ. *Жизнь на фукса*. Государственное изд-во. Москва. 1927.

РОМАН ГУЛЬ. *Белые по Черному*. Государственное изд-во. Москва. 1928.

РОМАН ГУЛЬ. *Генерал БО*. Роман в двух томах. Изд-во «Петрополис». Берлин. 1929.

РОМАН ГУЛЬ. *Генерал БО*. Роман. Второе издание в одном томе. Изд-во «Петрополис». Берлин. 1929.

ROMAN GUL. *Boris Sawinkow*. Der Roman eines Terroristen. Autorisierte Uebersetzung von F. Frisch. Paul Zsolnay Verlag. Berlin — Wien — Leipzig. 1930.

ROMAN GOUL. *Lanceurs de bombes. Azef*. Traduit par N. Guterman. Librairie Gallimard Paris. 1930.

ROMANS GULS. *Kaujas organizacijas generalis*. Romans. Ar autora atlauju tulkojis Valdis Grevins. A. Gulbia Romanu biblioteka. Riga. 1930.

ROMAN GUL. *General Bo*. Authorised Translation by L. Zarine. Edited by Stephen Graham. Ernest Benn Limt. London. 1930.

ROMAN GUL. *Provocateur*. A Historical Novel of the Russian Terror. Authorised Translation by L. Zarine. Edited with an Introduction by Stephen Graham. Harcourt, Brace and Company, New York. 1930.

ROMAN GOUL. *Los Lanzadores de bombas. Azef. Savinkov*. Traducido por Amando Lazaro y Ros. Zevs Editorial. Madrid. 1931.

R. GUL. *Sprogstancios bombos*. Romanas. Pirmoji Dalis. Verte P. Kezinaitis. Kaunas. 1932.

ROMAN GUL. *Generał BO. Powieść*. Przełożyła z rosyjskiego Halina Pilichowska. Towarzystwo Wydawnicze "Rój", Warszawa. 1933.

ROMAN GUL. *Generał BO. Powieść*. Przełożyła z rosyjskiego Halina Pilichowska. "Książka i Wiedza". Warszawa. 1958. (Переиздано без ведома и согласия автора).

РОМАН ГУЛЬ *Скиф*. (Бакунин и Николай I). Роман в двух томах. Изд-во «Петрополис». Берлин. 1931.

РОМАН ГУЛЬ. *Тухачевский, красный маршал*. Берлин. 1932.

РОМАН ГУЛЬ. *Красные маршалы*. Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский. Изд-во «Парабола». Берлин. 1933.

ROMAN GOUL. *Les Grands Chefs de l'Armée Soviétique*. Traduit du russe par J. Civel. Editions Berger-Levrault. Paris. 1935.

ROMAN GUL. *Die Roten Marschälle*. Obelisk Verlag. Berlin. 1933.

ROMAN GUL. *De Röda Marskalkarna*. Helsingfors. 1936.

ROMAN GUL. *Punaiset Marsalkat*. Suomentanut K. M. Wallenius. Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö. Otava. 1936.

ROMAN GUL. *Czerwoni Dowódcy*. "Rój". Warszawa. 1934.

ROMAN GUL. *Rudi Maršálové*. Přeložili Dr. V. Foch a Oleg Vojtišek. Zemědělské Knihkupectvi A. Neubert. V Praze. 1934.

РОМАН ГУЛЬ. *Дзержинский*. (Менжинский, Петерс, Лацис, Ягода). Изд-во «Дом Книги». Париж. 1936.

ROMAN GOUL. *Les Maîtres de la Tcheka*. Histoire de la terreur en URSS (1917-38). Les Editions de France. Paris. 1938.

РОМАН ГУЛЬ. *Ораниенбург*. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере. Изд-во «Дом Книги». Париж. 1937.

РОМАН ГУЛЬ. *Конь Рыжий*. Изд-во имени Чехова. Нью Иорк. 1952.

ROMAN GOUL. *El Caballo Rojo*. Traducción directa del ruso par Agustin Puig. Maestros Rusos. Editorial Planeta. Barcelona. 1961.

РОМАН ГУЛЬ. *Азеф*. Исторический роман. Третье переработанное издание. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1959.

ROMAN GOUL. *Azef*. Traduit du russe par N. Guterman. Gallimard. Paris. 1963.

ROMAN GOUL. *Azef*. Translated from the Russian by Mirra Ginsburg. Doubleday. New York. 1962.

ROMAN GOUL. *Azeff*. Translated from Russian into Japanese by Noboru Kanzaki. Kavado Shabo. Tokyo. 1960. (На японском языке в том же издательстве «Азеф» вышел двумя изданиями).

РОМАН ГУЛЬ. *Скиф в Европе*. (Бакунин и Николай I). Переработанное второе издание. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1958.

РОМАН ГУЛЬ И ВИКТОР ТРИВАС. Товарищ Иван. Пьеса в 3-х актах и 9 картинах. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1968.

РОМАН ГУЛЬ. *Читая «Август Четырнадцатого» А. И. Солженицына*. Изд-во Раузен Паблишерс. Нью Иорк. 1971.

РОМАН ГУЛЬ. *К вопросу об «автокефалии»*. Нью Иорк. 1972.

РОМАН ГУЛЬ. *Одвуконь*. Советская и эмигрантская литература. Изд-во «Мост». Нью Иорк. 1973.

РОМАН ГУЛЬ. *Азеф*. Исторический роман. Нью Иорк. 1974.

РОМАН ГУЛЬ. *Дзержинский*. Начало террора. Нью Иорк. 1974.

РОМАН ГУЛЬ. *Бакунин*. Историческая хроника. Нью Иорк. 1974.

РОМАН ГУЛЬ. *Конь рыжий*. Автобиография. Нью Иорк. 1975.

С конца 1959 года Роман Гуль — редактор «Нового Журнала». До 1975 года он выпустил 60 книг этого журнала.

В 1970 году за заслуги в области русской литературы за рубежом Роман Гуль получил от Славянского Отделения Нью Иоркского Университета звание "Writer in Residence of the Department of Slavic Languages and Literatures at New York University."